АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
X

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1961

СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. Поспелов (Москва). О некоторых закономерностях в развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX в. 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. А. Климов (Москва). Опыт сравнительно-исторической реконструкции системы склонения общекартвельского языка-основы 14
Э. А. Макаев (Москва). Передвижение согласных в армянском языке . 22
Г. С. Клычков (Москва). Об основных приемах лингвистической реконструкции 30
Р. Б. Лиз (Урбана, США). О переформулировании трансформационных грамматик 41
Б. А. Успенский (Москва). Типологическая классификация языков как основа языковых соответствий (Структура языка-эталона при типологической классификации языков). 51
Об общеславянском лингвистическом атласе 65

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Д. П. Богдан (Бухарест). Славянские надписи в Валахии, Молдове, Трансильвании и Добрудже 72
А. Н. Добромыслова (Москва). К интерпретации одного явления падежного синкретизма в древнем новгородском говоре 83
Е. Д. Панфилов (Ленинград). О синтаксической паронимии (На материале испанского языка) 90

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Ф. Пап (Дебрецен, Венгрия). Количественный анализ словарной структуры некоторых русских текстов 97

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. Г. Шприцин (Ленинград). Из материалов по языку ботокудов . . 101

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Р. Р. Гельгардт (Калинин). О стилистическом анализе языка писателей 108

Рецензии

В. М. Иллич-Свитыч (Москва). Сб. «Evidence for laryngeals» 117
Н. Д. Арутюнова (Москва). *W. E. Bull*. Time, tense, and the verb . . . 122

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Р. Г. Ахметьянов (Уфа). К вопросу о природе звуковых переходов в тюркских языках (о переходе $r \sim z$) 128

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Э. И. Гринавецкене, Ю. Ю. Сеннкус (Вильнюс). Собирание и исследование топонимики в Литовской ССР 130
Я. Бауэр (Брно). Конференция по славянскому синтаксису в Брно . . . 132
Хроникальные заметки 138
Книги, журналы, брошюры, поступившие в редакцию 141
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1961 году 142

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

П. С. ПОСПЕЛОВ

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В РАЗВИТИИ СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIX В.*

Задача настоящей статьи — указать на некоторые существенные для XIX в. закономерности развития структурных типов сложноподчиненного предложения. В понимании задач истории литературного языка в плане изучения синтаксиса я исхожу из следующих общих положений. Необходимо различать три аспекта изучения истории языка: а) в плане исторической лексикологии, исторической морфологии и исторического синтаксиса; б) в плане истории литературного языка; в) в плане истории языка художественной литературы. Каждый аспект в изучении истории языка имеет свои особенности.

Литературный язык в отличие от языка как предмета изучения с точки зрения исторической лексикологии и исторической грамматики, характеризуется нормотетическими по своей целенаправленности законами развития, действующими в определенное время с обязательностью общеязыковой нормы [1]. С другой стороны, в отличие от истории языка художественной литературы, «при воссоздании... истории литературного языка речевой материал художественной литературы используется не только для характеристики его грамматического строя, ...но также и для изучения изменений в нормах литературной речи и для изображения путей или тенденций дальнейшего развития литературного языка» [2]. Необходимо при этом подчеркнуть, что именно вторая задача вскрывает специфику истории литературного языка как выделившейся из истории языка самостоятельной научной дисциплины.

Историю литературного языка в целом характеризуют две общие, противоположные друг другу тенденции его развития: 1) стремление к сохранению и укреплению действующей в нем нормы и 2) стремление к преобразованию сложившейся нормы [3]. В силу решающего значения момента выбора в становлении и оформлении той или другой нормы литературного языка в его развитии большую роль играет отбор моделей, осуществляемый в процессе столкновения синонимических средств выражения того или иного лексического значения или грамматической функции. Вследствие специфической организованности литературного языка в противоположность спонтанности разговорной речи, как об этом хорошо сказал Л. В. Щерба, развитой литературный язык, являясь историческим результатом такого отбора, «представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе со

* Статья представляет собою обработку доклада «О развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX в.» (см. «Тезисы докладов на Совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени 27—30 июня 1960 г.», АН СССР, М., 1960, стр. 16—21).

[1] Ср. Б. Трнка и др., К дискуссии по вопросам структурализма, ВЯ, 1957, 3, стр. 44.

[2] См. В. В. Виноградов, Наука о языке художественной литературы и ее задачи (на материале русской литературы), М., 1958, стр. 5.

[3] Ср. B. Havránek, Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, «Actes du IV Congrès international des linguistes», Copenhague, 1938, стр. 154.

отнесенных друг с другом»[4]. В отличие от исторического синтаксиса[5], объектом изучения в истории синтаксического оформления литературного языка является не судьба отдельных конструкций и моделей в их исторических изменениях и взаимосвязях, а глубокие процессы структурного преобразования самих типов синтаксических конструкций в результате отбора синонимических моделей при установлении определенной нормы выражения того или другого синтаксического значения. Анализ синонимических соотношений при выражении синтаксическими конструкциями тех или иных значений, когда мы изучаем историю литературного языка, выступает как главное средство выяснения путей формирования синтаксических норм литературного языка. Поэтому и накопленные в описании истории отдельных конструкций материалы используются в истории литературного языка для синонимического сопоставления конструкций при исследовании путей становления и укрепления в литературном языке определенного периода тех или иных моделей в качестве складывающихся синтаксических норм литературного языка. В отличие от изучения истории языка художественной литературы объект изучения в истории литературного языка не является строго локализованным: при наличии той или иной авторской документации изучаемые материалы рассматриваются как факты общепринятого языка определенного исторического периода.

В направлении и характере внутренних изменений в строе сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX в. обнаруживаются две основные взаимосвязанные друг с другом тенденции его развития: 1) стремление к наиболее тесному объединению составляющих его частей и конденсации самих структурных типов и 2) тенденция к максимальной дифференциации структурных типов и моделей сложного предложения[6]. Эти тенденции различным образом проявляются в развитии каждого из двух основных структурных типов сложноподчиненного предложения.

В сложноподчиненных предложениях, выражающих то или иное функциональное соотношение между придаточной и главной частью (и поэтому имеющих более или менее расчлененную структуру), тяготение к интеграции частей и, одновременно, к дифференциации структурных типов проявляется в соотносительном развитии закрытых и открытых конструкций[7]. Закрытые конструкции (с препозицией придаточной части), выражающие билатеральные отношения частей, стабилизируются устойчивым употреблением соотносительных частиц. В процессе укрепления и развития в языке закрытых конструкций соотносительные частицы (и противительный союз в уступительных конструкциях) перестают быть обязательным элементом их построения, в силу чего реализуется возможность параллельного употребления открытых и закрытых конструкций с одними и теми же союзами[8].

Раскрывая на материале сложноподчиненного предложения второй по-

[4] Л. В. Щ е р б а, Современный русский литературный язык, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 121.

[5] Превосходным образцом разработки проблем исторического синтаксиса может служить книга Я. Бауэра (J. B a u e r, Vývoj českého souvětí, Praha, 1960).

[6] Ср. J. B a u e r, указ. соч., стр. 356—358, 372.

[7] Термин «закрытые» и «открытые» в применении к синтаксическим конструкциям употребляется нами не в традиционном смысле, идущем от Вундта (см. W. W u n d t, Völkerpsychologie, I, Th. 2, Leipzig, 1911), а в том значении, которое придал ему С. О. Карцевский, противопоставив конструкции типа *к/т* конструкциям типа *т/к*. Соотношение между закрытыми и открытыми конструкциями положено Карцевским в основу классификации сложноподчиненных предложений в статье «Asyndète et subordination en russe» (см. «Из неопубликованного наследства С. О. Карцевского», ВЯ, 1961, 2).

[8] О структурном противопоставлении закрытых и открытых конструкций в пределах отдельных функциональных типов сложноподчиненного предложения (в статическом плане) см. нашу статью «Сложноподчиненное предложение и его структурные типы» (ВЯ, 1959, 2. Ср. текст доклада под тем же заглавием в кн. «Jazykovedné štúdie», IV, Bratislava, 1959).

ловины XVII в., как связано с развитием подчинительных конструкций местоположение придаточного в структуре сложного предложения, Э. И. Каратаева правильно отметила в своей диссертации, что «растущая свобода размещения придаточных предложений представляет собою новую линию в развитии союзного сложноподчиненного предложения»[9]. Эта тенденция к свободе размещения придаточных предложений в составе сложного прежде всего проявляется в соотносительном развитии закрытых и открытых конструкций. Однако это развитие проходит неравномерно и имеет различную направленность в разных структурно-семантических типах сложноподчиненного предложения. По наблюдениям Э. И. Каратаевой, сделанным на материале русского литературного языка второй половины XVII в., «находиться в препозиции, постпозиции и включаться в состав главного могут легко и свободно только временные и условные придаточные»[10].

Особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что соотносительное развитие закрытых и открытых конструкций в сложноподчиненных предложениях, выражающих функциональные отношения между главной и придаточной частью, протекает различным образом и имеет различную направленность у конструкций условных, временных и уступительных, с одной стороны, и конструкций причинных, целевых и сравнительных, с другой. Для условных, уступительных и временных конструкций исходным местоположением частей является препозиция придаточной части по отношению к главной. В этих функциональных типах сложноподчиненного предложения в процессе их структурного развития осуществляется освоение открытых конструкций. Для причинных, целевых и сравнительных конструкций типическим оказывается положение придаточной части после главной. В этих типах сложного предложения в процессе их развития осваивается употребление закрытых конструкций — с препозицией придаточной части. Таким образом, в сложноподчиненных предложениях, выражающих условное, уступительное, временно́е соотношение, закрытым конструкциям (с препозицией придаточной части) противополагаются как генетически от них зависящие и синонимичные им открытые конструкции (с постпозицией придаточной части); в сложноподчиненных же предложениях, придаточная часть которых выражает отношение причины, цели, сравнения, наоборот, открытые конструкции противополагаются генетически от них зависимым и синонимичным им закрытым конструкциям. Поэтому самый процесс структурного развития конструкций условных, временны́х и уступительных, с одной стороны, и конструкций причинных, целевых и сравнительных, с другой, оказывается различным.

Временны́е, условные, уступительные предложения характеризуются в XIX в. бурным развитием многообразных моделей закрытых конструкций и в то же время относительно ограниченным (по моделям) развитием конструкций открытых (с постпозицией придаточной части). Конструкции причинные, целевые и сравнительные, наоборот, характеризуются бурным развитием средств связи, разнообразным моделированием в открытых конструкциях и сравнительно ограниченным развитием конструкций закрытых — с препозицией придаточной части. И в том и в другом случае в силу неравномерности развития закрытых и открытых конструкций соотношение между ними перестает быть синонимическим и становится асимметрическим, причем в предложениях временных, условных и уступительных сильным членом грамматической оппозиции оказываются конструкции закрытые, а в причинных, целевых и сравнительных в качестве сильного члена соотношения выступают конструкции открытые.

[9] Э. И. Каратаева, Союзное подчинение в литературном языке второй половины XVII столетия (Из истории образования сложного предложения в национальном русском литературном языке). Автореф. докт. диссерт., Л., 1951, стр. 22.

[10] Э. И. Каратаева, указ. соч., стр. 21.

При этом следует учитывать существенное различие в соотношении между придаточной и главной частью в закрытых и открытых конструкциях. В закрытых условных, уступительных и временны́х конструкциях при более тесной связи частей препозитивная придаточная часть, обусловливая так или иначе содержание главной части, имеет больший смысловой вес в структуре целого, чем главная часть. В закрытых причинных, целевых, сравнительных конструкциях препозитивная придаточная часть, относительно менее тесно связанная с главной частью, представляется менее весомой, чем в условных, временны́х и уступительных закрытых конструкциях, в силу чего в таких конструкциях и смысловой вес главной части оказывается соответственно более значимым. В самом деле, в предложении *Так как его не было дома, я не мог выполнить Вашей просьбы* основным, что я хочу сказать, будет то, что просьба не выполнена. Если же изменить порядок частей предложения и сказать: *Я не мог выполнить Вашей просьбы, потому что его не было дома*, то указание причины невыполнения просьбы передвинется в центр высказывания, а главное предложение окажется только исходным пунктом [11]. Иное соотношение частей по их смысловому весу в структуре целого складывается в условных и временны́х закрытых конструкциях. В предложении *Если его не будет дома, я не смогу выполнить Вашей просьбы* смысловой акцент удерживается на придаточной части — на указании условия. При обратном же местоположении частей: *Я не смогу выполнить Вашей просьбы, если его не будет дома* — смысловой акцент оказывается на главной части.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в условных конструкциях смысловой акцент всегда падает на ту часть, которая стоит в препозиции, а в причинных конструкциях — на ту, которая стоит в постпозиции. Открытые конструкции (с постпозицией придаточной части) в отличие от закрытых не выражают билатеральных (обоюдных) отношений и не имеют устойчивого конструктивного оформления: связь придаточной части с главной в таких конструкциях может быть и более и менее тесной, так что придаточная часть, вступая в присоединительные отношения с главной частью, может даже и отрываться от нее. Поэтому и развитие открытых конструкций в XIX в. имеет свои особенности, связанные с возможностями структурного обособления придаточной части.

В процессе соотносительного развития закрытых и открытых конструкций различных функциональных типов отмечаются и существенные различия в структурном осложнении средств связи придаточной части с главной. В закрытых временны́х конструкциях в связи с дифференциацией оттенков временно́го значения бурно развиваются в XIX в. разнообразные средства лексико-грамматического оформления; в закрытых условных конструкциях широко наблюдается структурное осложнение средств связи присоединением к условному союзу усилительных, выделительных, ограничительных частиц *и*, *уж*, *даже*, *только* и т. д. Характерно, что в закрытых причинно-следственных конструкциях все эти средства структурного осложнения связи почти не имеют места, но наблюдаются различные способы присоединения таких конструкций к предшествующему контексту при помощи сочинительных союзов *а*, *но*, *и*. В открытых причинных конструкциях структурное осложнение средств связи выражается в формировании сложных, расчлененных союзов, располагаемых на стыке главной и придаточной части, причем основная, «материальная» часть союза, вынесенная в главную часть, акцентируется ударением и присоединением ограничительных и уточняющих частиц (*только*, *именно* и т. п.).

В случаях утраты соотносительности между закрытыми и открытыми конструкциями одного значения на базе отдельных структурных типов, выражающих функциональные отношения, в литературном языке XIX в.

[11] Ср. V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt, Praha, 1947, стр. 360—366; ср. также В. Сланский, Грамматика — как она есть и как должна бы быть, СПб., 1887, стр. 142—144.

складывается особый структурный тип связанных, несвободных конструкций, части которых теряют мобильность, так что снимается самое противопоставление закрытых и открытых конструкций. В составе таких конструкций можно выделить конструкции, генетически восходящие к закрытым, с устойчивой препозицией придаточной части. Таковы, например, сопоставительные конструкции, образуемые по модели *если..., то...* В этих конструкциях стабилизирующая частица *то* становится частью сложного союза, полностью утрачивающего условное значение. Сюда же относятся и конструкции с выделительным значением, образуемые по модели *что касается..., (то)...*, также не допускающие перестановки частей.

Связанные конструкции, генетически восходящие к открытым конструкциям с постпозицией придаточной части, более многочисленны. Таковы фразеологизированные в первой их части конструкции, образуемые на базе временных и целевых конструкций с союзами *как* и *чтобы* по застывшим моделям: *не прошло..., как...*; *не успел..., как...*; *стоило..., как...*; *стоило..., чтобы...*; *достаточно..., чтобы...*; *слишком..., чтобы...*; *не проходило..., чтобы...* В таких конструкциях вопрос о том, какая их часть будет главной и какая — придаточной, по существу снимается в силу фразеологизации в оформлении их опорной части и очень тесной связи частей, не допускающей перестановки. Все эти конструкции, утратившие структурную гибкость, остаются, однако, подчинительными по своим формальным признакам. Функциональное соотношение частей таких конструкций определяется структурной схемой их модели, которая и становится средством выражения определенного значения (быстрой смены, необходимой связи событий).

Конструкции присубстантивно-определительные, изъяснительные, местоименно-соотносительные, придаточная часть которых прикреплена к какому-либо субстантивному, глагольному или местоименному члену главной части и распространяет его, имеют более тесную структуру, чем конструкции, выражающие определенное функциональное соотношение между главной и придаточной частью. При этом особенно важно подчеркнуть, что во всех этих «объемлющих», «одночленных» конструкциях придаточная часть развертывает не тот или иной член предложения главной части (в смысле традиционной грамматики), а грамматически отграниченную часть «главного предложения»— субстантивную, глагольную или местоименную. Это объясняется особенностью структуры таких предложений: они развиваются в недрах простого предложения на базе определенных лексико-грамматических разрядов слов, а не на базе «членов предложения». Самый процесс «распространения» имеет здесь характер семантико-синтаксический. Получают распространение местоимения и такие существительные или глаголы, очень общее значение которых и конкретизируется в формах синтаксического определения, дополнения или пояснения.

В конструкциях данных структурных типов отмечается в XIX в. стремление к опро́щению структуры, к деформации главной и придаточной части в составе единого предикативного построения. Процесс опро́щения структуры местоименно-соотносительных, изъяснительных, присубстантивно-относительных конструкций приводит к преобразованию сложных предложений в простые, не расчленяемые на отдельные предикативные части.

Многообразные случаи структурной деформации главной и придаточной части (преимущественно в изъяснительных, местоименно-соотносительных и — в меньшей мере — в присубстантивно-относительных сложноподчиненных предложениях, развертывающих тот или другой член главной части) приводит В. Н. Мигирин в своей докторской диссертации[12].

[12] В. Н. Мигирин, Разные виды трансформации придаточного и главного предложений в русском языке, «Изв. Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе», XIX. Кафедра русского языка, Симферополь, 1954

Но В. Н. Мигирин приводит примеры такой деформации в ее конечных результатах. Однако начальные моменты этой деформации легко вскрываются во многих случаях «нормального» построения таких конструкций, когда ни в придаточной, ни в главной частях не наблюдается никакой фразеологизации или морфологизации их состава. Вот некоторые примеры: «Я продал все, что имел, расплатился с кем мог, привел дела свои в возможный порядок...» (В. Соллогуб, Тарантас); «...Никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед начальниками» (Добролюбов, Что такое обломовщина?).

Таким образом, если в сложноподчиненных предложениях функциональных типов тенденция к конденсации частей выражается в соотносительном развитии закрытых и открытых конструкций и в образовании в отдельных случаях связанных конструкций, то в предложениях, выражающих собственно структурное соотношение частей, эта же тенденция приводит к опрóщению их структуры, выражающемуся в деформации главной и придаточной частей, и к постепенному преобразованию таких предложений из сложных в простые.

В ходе развития сложноподчиненных предложений присубстантивно-относительного типа в русском литературном языке XIX в. отчетливо разграничиваются в качестве двух главных структурно-смысловых разновидностей конструкции собственно-определительные и повествовательно-распространительные [13]. В развитии указанных разновидностей отмечается наличие двух разнонаправленных тенденций. В присубстантивно-атрибутивных конструкциях очень активно протекает процесс конденсации частей в тесное единство «одночленного» сложноподчиненного предложения. Этот процесс находит себе выражение в развитии широкой сети соотносительных слов в главной части, в локализации относительного слова *который* в положении непосредственно за тем словом, от которого оно формально зависит в составе придаточной части [«Оргия, коей я был невольным свидетелем...» (Пушкин).→ «Оргия, невольным свидетелем которой я был»], в более тесном объединении придаточной части с определяемым словом. В присубстантивных конструкциях собственно определительного значения устанавливается тесная связь между определяемым существительным (обычно очень общего, подчеркнуто нарицательного значения) и придаточной частью, образующими в составе предложения распространенное атрибутивное сочетание (*город, в котором я родился*; *дом, где мы жили*; *воздух, какой бывает только в горах*). Относительные местоимения и наречия в таких конструкциях, утрачивая функции отдельного члена предложения и сохраняя только местоименно-адъективное значение, обнаруживают тенденцию к переходу в служебно-связочные слова.

Вот некоторые примеры образования подобных распространенных атрибутивных словосочетаний внутри присубстантивно-определительных конструкций в результате установления более тесной связи между определяемым существительным и придаточной частью: «Есть люди, которые огорчаются чужою радостью, обижаются чужим успехам, больны чужим здоровьем» (П. Вяземский, Старая записная книжка); «На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы» (Гончаров, Обломов).

Присубстантивно-определительные конструкции развиваются параллельно с причастными атрибутивными конструкциями, вступая с ними в синонимические соотношения. Развитие в литературном языке XIX в.

[13] На необходимость разграничивать эти структурно-смысловые разновидности в составе присубстантивных конструкций указывали (на материале индоевропейских языков) Г. Паульь («Принципы истории языка», М., 1960, § 210), А. Сешеэ («Essai sur la structure logique de la phrase», Paris, 1926, Ch. X — Propositions subordonnées, § 1) и Ш. Балли («Общая лингвистика и вопросы французского языка», М., 1955, § 73); см. также нашу статью «О различиях в структуре сложноподчиненного предложения» («Исследования по синтаксису русского литературного языка. Сб. статей», М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 63—75).

присубстантивно-определительных сочетаний и соотносительных с ними причастных оборотов следует рассматривать как основную продуктивную линию развития конструкций присубстантивно-относительного типа. В присубстантивных конструкциях повествовательно-распространительной разновидности придаточная часть, оставаясь формально прикрепленной к какому-либо существительному главной части (чаще к имени собственному или названию лица), уже не определяет это существительное, а распространяет главную часть в целом и имеет свое, отдельное коммуникативное содержание [14]. В таких конструкциях относительные местоимения, сохраняя функцию отдельного члена предложения, имеют в силу своего анафорического употребления субстантивное значение.

Как показывают материалы, которыми мы располагаем, сосуществование обеих разновидностей присубстантивно-относительных конструкций, характерное для современного русского литературного языка, наблюдается в течение всего XIX в. и отмечается исследователями русского литературного языка и в XVIII в.[15] Но если присубстантивно-атрибутивные конструкции выступают в литературном языке в большом количестве разнообразных моделей [16] и имеют формальным признаком наличие или возможность употребления соотносительных слов в главной части, то повествовательно-распространительные конструкции характеризуются отсутствием соотносительных слов в главной части и являются в силу ограниченной возможности своего моделирования мало продуктивным способом образования присубстантивных конструкций. Примечательно, что современник Пушкина Греч со свойственным ему стремлением «нормализовать» живое употребление считал ошибкой построение присубстантивных конструкций с повествовательно-распространительной придаточной частью, «когда главному предложению подчиняется другое, долженствующее по своей важности сочиняться с оным», т. е. имеющее свое особое коммуникативное содержание, например: *Он получил известия о кончине своего брата, которое его вергло в жестокую болезнь*. По мнению Греча, в таких случаях допустимы только конструкции слитного предложения или предложения с деепричастным оборотом: *Он получил известие о кончине брата и впал от того в жестокую болезнь*, или: *Получив известие о кончине своего брата, он впал в жестокую болезнь*, или же: *Он впал в жестокую болезнь, получив известие о кончине своего брата* [17].

Однако пуристические рекомендации Греча явно расходились с живыми нормами литературного языка его времени. Вот характерные примеры употребления присубстантивных конструкций в повествовательно-рас-

[14] По формулировке В. Шмилауэра, в конструкциях с относительным местоимением *který* в подобных случаях гипотактически выражается «координация», например: Otevřela dveře do kuchyně, z kterých se vyvalilo mračno pary (V. Šmilauer, Novočeská skladba, Praha, 1947, стр. 40).

[15] См. Г. Н. Акимова, Относительное подчинение в научной прозе М. В. Ломоносова. Автореф. канд. диссерт., Л., 1955. В силу высказанных мною соображений о структурном единстве присубстантивно-определительных и присубстантивно-распространительных конструкций я не могу согласиться ни с мнением Я. Бауэра, включающего распространительные конструкции с относительным словом *который* в состав соединительных сочинительных конструкций (см. J. Bauer, Souřadné souvětí. Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české, II, Praha, 1961, стр. 320—322, 441), ни с мнением К. Габки, рассматривающего их в составе «weiterführenden Nebensätze» как конструкции присоединительные в одном ряду с конструкциями вторичного относительного подчинения (см. K. Gabka, Über die sogenannten «weiterführenden Nebensätze» im Russischen, ZfS, I, 4, 1956, стр. 75).

[16] Таковы, например, кроме конструкций с союзным словом *который*, конструкции с относительными местоимениями *чей, какой, что*, относительными наречиями *где, куда, откуда, когда* и т. п. Примечательно, однако, что в прозе Пушкина присубстантивные конструкции без соотносительных слов с местоименными наречиями *где, куда, откуда* имеют еще очень часто повествовательно-распространительную функцию. С другой стороны, наблюдения над прозой Чехова показывают, что у него присубстантивные конструкции с *где, куда, откуда* сравнительно редко имеют повествовательно-распространительную функцию.

[17] «Практическая русская грамматика, изданная Н. Гречем», СПб., 1834, стр. 376.

пространительной функции из художественной прозы Пушкина, в которых отчетливо раскрывается присущее этим конструкциям смысловое и структурное своеобразие: «Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула па брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы» («Арап Петра Великого»); «Герман вынул из кармана банковый билет, и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил па Германнову карту» («Пиковая дама»).

Так как связь между главной и придаточной частью становится в повествовательно-распространительных конструкциях менее тесной, такие конструкции получают отчетливо двучленное строение, что и открывает возможность выражения такими конструкциями временных отношений, как это имеет место в приведенных примерах, а также причинных, уступительных и других функциональных отношений. Несмотря на глубокие различия в своей внутренней структуре, присубстантивно-атрибутивные и присубстантивно-повествовательные конструкции по своему внешнему строению — по средствам связи и формальной прикрепленности придаточной части к субстантивному члену главной части — являются двумя асимметрическими разновидностями одного структурного типа присубстантивно-относительных конструкций.

В развитии структурных моделей сложноподчиненных предложений изъяснительного типа большую роль играет расширение круга опорных слов в главной части деепричастиями, причастиями, именами существительными, втягиваемыми в орбиту глагольных слов в широком смысле этого термина, а также словами категории состояния и краткими прилагательными, выступающими в функции глагола-сказуемого [18].

Имена существительные в качестве опорных слов главной части таких конструкций получают изъяснительное значение, в силу чего между ними и придаточной частью, раскрывающей их конкретное содержание, возникает своего рода «семантическая диффузия», например: «Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное» (Пушкин, Капитанская дочка) [19].

В оформлении изъяснительных конструкций отмечается постепенное устранение возможности построения их на основе безлично-предикативных слов модального значения, закрепляющихся в позиции вводных слов (*кажется*, *вероятно*, *может быть* и т. п.). В изъяснительных конструкциях, в процессе их развития, обнаруживаются глубокие различия, с одной стороны, в модальных значениях опорных слов главной части, а с другой, в модальном характере придаточной части, которая может оформляться при помощи модальных союзов-частиц (*будто*, *как будто*, *будто бы* и т. п.).

В процессе размежевания сложных предложений изъяснительного и местоименно-соотносительного типов наблюдается тенденция к устранению немотивированных местоименных коррелятов в главной части изъяснительных конструкций [20] и, наоборот, сокращение случаев отсутствия таких коррелятов в местоименно-соотносительных конструкциях. В составе местоименно-соотносительных конструкций в процессе их развития

[18] Ср. В а н Ф у - с я н, Сложные предложения с изъяснительной придаточной частью в современном русском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1959.

[19] В этом отличие присубстантивно-изъяснительных конструкций от конструкций присубстантивно-атрибутивных, в составе которых опорное существительное всегда имеет вполне устойчивое лексическое значение, а придаточная часть не «изъясняет» этого значения, а «определяет» его, т. е. так или иначе его дифференцирует.

[20] На необходимость так или иначе мотивировать наличие местоименных коррелятов в изъяснительных конструкциях указывает (на материале русского литературного языка XIX в.) А. Б. Ш а п и р о [см. его статью «Об одной синтаксической конструкции в русском языке (сложноподчиненное предложение с субстантивированным местоимением *то* в главном предложении и изъяснительным союзом в придаточном)», «Сб. статей по языкознанию. Профессору Московского ун-та акад. В. В. Виноградову», М., 1958, стр. 342—347].

отчетливо разграничиваются структуры, построенные по формуле *к/т* (с препозицией придаточной части) и построенные по формуле *т/к* (с постпозицией придаточной части)[21]. Конструкции *к/т* имеют более расчлененное строение, сохраняют в значительной мере свойственные им исторически условное или уступительное значение и являются по существу непродуктивным типом местоименно-соотносительных конструкций. Конструкции *т/к* широко употребляются в XIX в. в различных моделях относительного и союзного подчинения. При этом в построении местоименно-соотносительных конструкций заметна тенденция к морфологическому выравниванию средств связи главной и придаточной части путем устранения разноформенных и разнозначных сочетаний (*...тому..., когда...*; *того..., чтобы...*) и замены их устойчивыми сочетаниями местоимений или наречий одной грамматической формы (*того..., кто...*; *там...,где...*).

Активно протекает в литературном языке XIX в. процесс структурного разграничения временны́х и условных конструкций сложноподчиненного предложения. В закрытых условно-временны́х конструкциях с союзом *когда* в препозитивной придаточной части утрачивается значение обусловленности, чему содействовало устранение соотносительной частицы *то* в главной части. В литературном языке первой половины XIX в. мы обнаруживаем еще значительное распространение таких гибридных по своему значению конструкций. Вот некоторые примеры: «...когда, бывало, у графа Хвостова случится порядочный стих, то Ал. Фед. Воейков уверяет, что это он *промолвился*» (М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти); «Когда Уваров напечатает речь свою, то и ты ее получишь» [П.А. Вяземский и А. И. Тургенев, Переписка... (письмо 93), в кн. «Остафьевский архив кн. Вяземских», I, СПб., 1899].

В литературном языке второй половины XIX в. такие конструкции представляют собою единичные явления. Подобным же образом утрачивается значение обусловленности и у целого ряда условно-временны́х конструкций, обозначающих быструю смену действия придаточной части действием главной части (с союзами-частицами *едва, лишь, только, как только, только лишь, чуть* и т. п.) и временны́е соотношения между сказуемыми главной и придаточной части (с союзом *пока*). Все это приводит к широкому распространению в литературном языке второй половины XIX в. разнообразных моделей (свыше пятидесяти) конструкций собственно-временно́го значения, выражающих различные временны́е соотношения. В условных конструкциях наблюдается тенденция к нормализации их структурного оформления путем постепенного вывода из литературного языка конструкций, характерных для разговорной речи (с союзами *ежели, коли, как бы*), а также условных конструкций с союзами *когда* и *когда бы*, имевших широкое распространение в литературном языке 1-й половины XIX в. Несколько позже посредством конструкций с союзом *раз* устанавливается переход от условных к причинным конструкциям. Конструкции с препозитивным союзом *раз*, широкое распространение которых относится ко 2-й половине XIX в.[22], получили значение фактического основания.

В открытых временны́х и условных конструкциях процесс дифференциации протекает менее активно. В таких конструкциях, не передающих соотношения временно́й или модальной обусловленности, придаточная часть получает значение временно́го или модального ограничения более или менее автономного содержания главной части, а также используется для передачи пояснительной или присоединительной связи или, теряя функциональное назначение, служит для передачи изъяснительного оттенка. В силу этого такие сложные предложения оказываются своеобразными

[21] Эти формулы различаются последовательностью употребления в составе данных конструкций в качестве средств связи вопросительных и указательных местоименных формативов.

[22] См. Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, I, 5-е изд., Киев, 1952, стр. 362.

вариантами изъяснительных конструкций (*Я знаю, когда он вернется*; *Хорошо, если поездка эта состоится* и т. п.). На базе структурно-смыслового преобразования открытых временны́х конструкций формируются сопоставительные конструкции (с союзами *между тем как*; *тогда как* и др.).

В XIX в. формируется в русском литературном языке структурно законченная система выражения причинно-следственных отношений конструкциями сложноподчиненного предложения. В первую треть XIX в. в общелитературном языке еще не было в наличии нормативных средств оформления закрытой причинно-следственной конструкции сложного предложения (с препозицией придаточной части). Союз *понеже*, употреблявшийся в деловой речи и в случаях препозиции придаточной части, архаизировался, не проникнув в общелитературную речь; союз *поелику*, кроме канцелярского слога, ограниченно употребляется только в научных сочинениях. Союз *как*, выражая причинную связь на основе соотношения временно́й последовательности и употребляясь преимущественно в контекстах сложных синтаксических единств после сочинительных союзов, не мог быть средством формирования закрытой, самодовлеющей причинно-следственной конструкции. В результате дифференциации временны́х и причинных значений препозитивный союз *как* перестает употребляться в литературном языке в причинном значении, а его употребление во временно́м значении ограничивается контекстами диалогической речи. Союз *так как* в первую треть XIX в. еще не выходил за границы «простого слога» и только к исходу первой половины XIX в. постепенно укрепляется и в общелитературном языке в качестве препозитивного причинного союза. Любопытно свидетельство Греча о неосвоенности общелитературным языком его времени закрытых причинных конструкций: «Должно вообще заметить, что все союзы, предшествующие предыдущим причинным предложениям, в хорошем слоге малоупотребительны: пре́дложения сего рода превращаются в заключительные» [23]. Только в результате освоения литературным языком конструкций с союзом *так как* в качестве нормативного причинного союза, совмещавшего со значением реальной причины значение логического обоснования, реализовалась возможность выражения причинно-следственной связи как билатерального, обоюдного соотношения частей сложноподчиненного предложения.

Широкое распространение в общелитературном языке в случаях постпозиции придаточной части союз *так как* получает только во второй половине XIX в., в силу чего в общелитературном языке устанавливается противопоставление закрытых и открытых причинно-следственных конструкций с одним и тем же союзом, выступающих в качестве взаимосоответствующих коррелятов одного структурно-семантического типа сложноподчиненного предложения [24]. С другой стороны, в русском литературном языке XIX в., как это было отмечено В. А. Богородицким, устанавливается коррелятивное соотношение между сложноподчиненными предложениями со значением причины и со значением следствия, так как «каждое из таких предложений может быть видоизменено таким образом, что главное предложение послужит для выражения причины или следствия, а придаточное по смыслу как бы займет его первоначальное место, например *его похвалили, потому что он очень хорошо спел // он очень хорошо спел, так что его похвалили*» [25]. При этом в каждой из противополагаемых друг другу конструкций в случаях расчленения постпозитивных союзов (*потому, что*; *так, что*) возникают структурные варианты с более

[23] Н. Греч, указ. соч., стр. 363.

[24] Сводку наблюдений над употреблением закрытых и открытых причинных конструкций с союзом *так как* во 2-й половине XIX в. см. в работе А. М. Устинова «Причинные придаточные предложения с союзом *так как* (Из материалов диссерт.)» («Уч. зап. [Ивановск. гос. пед. ин-та]», XVII — Филол. науки, 5, ч. 1-я, 1958).

[25] В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд. М.— Л., 1935, стр. 237.

тесным соотношением между главной и придаточной частью: в первом случае с акцентированным значением причины, во втором — с ослабленным значением следствия. Сложные предложения с расчлененным союзом *так..., что...* наряду с функциональным отношением следствия выражают структурное соотношение меры и степени. Резюмирую кратко:

1. Главные тенденции развития сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX в.— стремление к наиболее тесному объединению частей и тенденция к максимальной дифференциации структурных типов и моделей — по-разному проявляются в развитии каждого из двух основных структурных типов сложноподчиненного предложения.

2. В сложноподчиненных предложениях, выражающих то или иное функциональное соотношение между придаточной и главной частью, тяготение к интеграции частей и, одновременно, к дифференциации структурных типов проявляется в соотносительном развитии закрытых и открытых конструкций, различным образом протекающем у конструкций условно-уступительных и временных, с одной стороны, и конструкций причинных, целевых, сравнительных, с другой.

3. В случаях утраты подвижности частей закрытых и открытых конструкций в литературном языке XIX в. складывается особый структурный тип связанных конструкций, так что снимается самое противопоставление закрытых и открытых конструкций.

4. В конструкциях, выражающих тесное структурное соотношение между главной и придаточной частью, стремление к максимальной интеграции частей приводит к опрóщению их структуры как сложного предложения и к постепенному преобразованию таких предложений в простые.

5. В параллельном развитии двух разновидностей сложноподчинённых предложений присубстантивно-относительного типа: конструкций определительных и повествовательно-распространительных — обнаруживаются разнонаправленные тенденции, приводящие к углублению структурных различий между этими разновидностями, причем в качестве продуктивного способа образования присубстантивных сложноподчиненных предложений выступают конструкции определительные.

6. В развитии изъяснительных и местоименно-соотносительных конструкций отмечается стремление к максимальному их размежеванию. В развитии изъяснительных конструкций отмечается тенденция к максимальной дифференциации в построении модальных планов главной и придаточной части. В процессе развития местоименно-соотносительных конструкций отчетливо разграничиваются конструкции, построенные по формуле *к/т*, исторически унаследованные в ограниченном количестве моделей, и конструкции, построенные по формуле *т/к*, широко употребляющиеся в литературном языке XIX в. в моделях относительного подчинения.

7. Активно протекающий в литературном языке XIX в. процесс разграничения временны́х и условны́х конструкций (преимущественно закрытых) приводит к утрате значения обусловленности временны́х конструкций и к образованию разнообразных моделей конструкций собственно временно́го значения, выражающих различные оттенки временны́х соотношений. В условных конструкциях наблюдается тенденция к нормализации их структурного оформления путем постепенного вывода из литературного языка конструкций, характерных для разговорной речи.

8. В результате освоения русским литературным языком XIX в. конструкций с союзом *так как* в составе препозитивной придаточной части, в связи с чем значение реальной причины было совмещено со значением логического обоснования, осуществляется возможность выражения причинно-следственной связи как билатерального (обоюдного) соотношения частей сложноподчиненного предложения. С другой стороны, вследствие возможности расчленения постпозитивных причинных и следственных союзов, в литературном языке укрепляются разнообразные варианты структурного выражения причинно-следственных отношений.

№ 6 1961

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. А. КЛИМОВ

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ СКЛОНЕНИЯ ОБЩЕКАРТВЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА-ОСНОВЫ

Сравнительно-историческая реконструкция системы склонения общекартвельского языка-основы является составной частью воссоздания морфологического строя непосредственного предшественника современных картвельских, или иберийских, языков — грузинского, занского, или мегрельско-чанского, и сванского и вместе с тем — вторым опытом системного подхода к общекартвельскому праязыковому состоянию на хронологическом уровне накануне его распада на самостоятельные языковые единицы [1].

Систематическое сопоставление формально-функциональных соответствий между моделями склонения современных картвельских языков при сравнительно-исторической реконструкции системы склонения на общекартвельском или, точнее, позднеобщекартвельском уровне приводит прежде всего к выводу, что это ни в коей мере не позволяет заглянуть в «органический» период возникновения картвельского склонения. В отличие от некоторых других конкретных отраслей компаративистики, например абхазско-адыгского языкознания, картвелистика реконструирует для праязыкового состояния хорошо развитую деклинационную систему того же суффиксального типа, уже относительно близко стоявшую к ее современным дифференцированным по языкам вариантам. Обычно здесь приходится констатировать допарадигматическое состояние отдельных современных морфем, функции которых ранее выполнялись другими морфемами, или их несколько иную функциональную нагрузку (здесь принимается схема исторической дифференциации картвельских языков, которая выдвинута Г. Дееторсом и в соответствии с которой сванский уже являлся вполне самостоятельным языком в то время, когда грузинско-занское языковое единство еще сохранялось [2]).

Сравнительно-историческое исследование картвельских языков уже давно позволило сделать вывод, что в этих языках методически важно усматривать два различных типа падежных морфем, обусловленных различием эпохи их становления, с одной стороны, и, возможно, различием материала, из которого они сложились,— с другой [3]. К первой группе картвельских падежных морфем относятся формативы объектного («дательного»), родительного, обстоятельственно-направительного (//морфа субъектного на *-d* в сванском), целевого, или дестинативного, и, возможно, творительного падежей, способных обычно во всех современных картвельских языках принимать так называемый эмфатический гласный *-a* или *-i/-ə/-u*. Эти формативы почти всегда обнаруживают по языкам четкие соответствия и в своих основных функциях восходят к соответствующим флексиям

[1] См. Г. А. Климов, Опыт реконструкции фонемного состава общекартвельского языка-основы, ИАН ОЛЯ, 1960, 1.

[2] См. G. Deeters, Das Kharthwelische Verbum, Leipzig, 1930, стр. 2—3.

[3] См. Арн. Чикобава, Два исторически различных морфологических типа падежей в древнегрузинском литературном языке, «Сообщения АН ГрузССР», III, 6, 1942 [на груз. яз.]; см. также: А. Г. Шанидзе, К этимологии *celicod-i*, «Целиндеули», I—II, Тбилиси, 1925, стр. 8 [на груз. яз.].

языка-основы: *-*s* для объектного, *-is_1 для родительного [4], *-*d* для обстоятельственно-направительного (случаи употребления морфемы -*d* для основ с согласными финалями отмечаются еще в ранних памятниках древнегрузинского языка: *Sion-d* «в Сион», *Jerusalem-d* «в Иерусалим» и т. д.[5]), *-is_1-*d* для целевого и, возможно, *-*it* для творительного падежа.

Необходимо отметить, что алломорфы показателя обстоятельственно-направительного падежа *-*da* (только для личных местоимений, ср. груз. *čem-da*/зан. *čkim-da* «ко мне») и *-*ad* реконструируются лишь для позднейшей эпохи грузинско-занского языкового единства и, по-видимому, не соотносимы с общекартвельским уровнем: немногочисленные и несколько сомнительные примеры употребления алломорфы обстоятельственно-направительного падежа *-*ad* в сванском типа *ži-ad* «вверх, наверх», *txum-ad* «до вершины, на вершину» в лучшем случае могут свидетельствовать о ее непродуктивности в праязыке. Хотя четко повторяющаяся модель склонения современных картвельских языков и заставляет думать, что такой грамматически важный падеж, как творительный (в первую очередь как падеж имени орудия действия), находил свое выражение в языке-основе, морфема *-*it* в инструментальной и некоторых других функциях является общей лишь для грузинско-занского, в то время как сванский язык имеет специфическое окончание -*šv* [6]; попытка Фр. Мюллера, поддержанная впоследствии Н. Я. Марром, генетически увязать с этим *-*it* сванскую флексию так называемого аппроксиматива на -*te*, например в *pil-te* «к берегу», *dec-te* «к небу» и т. п.[7], до сих пор недостаточно обоснована. Следует подчеркнуть, что сложность форманта целевого падежа в картвельских языках (груз.-*is-ad*, зан.-*iš-o*^{r}*t*^{1} и сван.-*iš-d*), возможно, не являющегося полноценным ингредиентом общекартвельского склонения и восходящего к сочетанию аффиксов родительного и обстоятельственного падежей *-is_1 и *-*d*, отнюдь не свидетельствует о его возникновении лишь в ходе позднейшего параллельного развития деклинационных систем уже взаимно обособившихся картвельских языков [8]; наоборот, другие производные от родительного падежа в занском, исходный на -*iš-e* и направительный на -*iš-a*, являются скорее занскими новообразованиями (впрочем последнее окончание находит соответствие в древнегрузинском направительном на -*is-a*, например: *m-is-a* «к нему», *tv-is-a* «к себе», *Giorg-is-a* «к Георгию» и т. п., имевшем очень ограниченную сферу употребления и не получившем в дальнейшем развития).

Происхождение всех этих древних формантов, являвшихся судя по всему уже на общекартвельском уровне вполне сложившимися падежными морфемами, к настоящему времени настолько затемнено, что пока не допускает их достоверной этимологизации. В специальной литературе, с одной стороны, высказывалось мнение о том, что согласные элементы этих флексий могут восходить к экспонентам грамматических классов, наличие которых в древнейшей картвельской языковой структуре предполагается

[4] Сомнения А. Дирра в архаичности родительного на -*iš* для сванского ничем не мотивированы (см. A. D i r r, Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, Leipzig, 1928, стр. 114; ср. также: П. Ч а р а я, Об отношении абхазского языка к яфетическим, СПб., 1912, стр. 60).

[5] См. А. С. Ч и к о б а в а, Сравнительно-исторические очерки картвельских языков. I — Об образовании, значении и истории направительного (трансформативного) падежа в грузинском языке, «Изв. Ин-та языка, истории и материальн. культуры [ИЯИМК] [АН ГрузССР]», I, Тбилиси, 1937, стр. 17—19 [на груз. яз.].

[6] Высказывалось мнение о производности этого форманта от показателя родительного падежа -*iš* (см. В. Т. Т о п у р и а, К системе склонения сванского языка в сравнении с склонением других картвельских языков, «Сообщения АН ГрузССР», V, 3, 1944, стр. 344).

[7] См.: F r. M ü l l e r, Grundriss der Sprachwissenschaft, III, 2, Wien, 1885, стр. 192, а также см. Н. Я. М а р р, Непочатый источник истории Кавказского мира, «Изв. Росс. Акад. наук», Серия VI, XI, 1917, стр. 309.

[8] Ср. В. Т. Т о л у р и а, К генезису некоторых падежей в мегрело-чанском языке, «Изв. ИЯИМК», I. Если в мегрельском диалекте занского языка окончание -*iš-o*^{r}*t*^{1} хорошо известно, то в чанском оно засвидетельствовано в текстах лишь однажды (см. А. Ч и к о б а в а, Чанские тексты, I — Хопский говор, Тбилиси, 1929, стр. 109_{13}).

большинством исследователей, а с другой стороны, сделана предварительная попытка сопоставления этих формантов с соответствующими величинами дагестанских языков [9]. Однако и тот и другой способы решения проблемы требуют уже выхода за пределы реконструируемого общекартвельского уровня и поэтому здесь специально не рассматриваются.

К группе относительно молодых падежных окончаний в картвельских языках принято причислять формативы субъектно-объектного («именительного») и субъектного («эргативного») падежей за исключением субъектного на *-d* в сванском. Вместе с тем вряд ли имеются серьезные основания сомневаться в существовании на общекартвельском языковом уровне самих падежных категорий «номинатива» и «эргатива», как известно, передающих в языках так называемого эргативного строя основные субъектно-объектные отношения. Такой взгляд подтверждается фактами исторической типологии склонения как такового в целом: типологическое сопоставление самых различных языков эргативного строя показывает, что обе эти категории взаимно противопоставляются даже при наличии элементарно представленного склонения бинарного типа [10]. Характерно, что именно такую бинарную модель обнаруживает древнегрузинское склонение имен с суффиксом множественного числа *-n*, в котором форме субъектно-объектного падежа на *-i* противопоставляется лишь форма эргативно-косвенного падежа на *-t(a)*. Аналогичным образом в иносистемных языках основные субъектно-объектные падежи — именительный и винительный, — с одной стороны, выявляют исконное противопоставление [11], а с другой, сохраняют его до окончательного исчезновения склонения [12].

Специальное оформление субъектно-объектного («именительного») падежа в общекартвельском языке-основе, возможно, еще не имело вполне сложившегося характера и могло иметь какое-либо ограниченное употребление: такое сосуществование маркированной и немаркированной форм одного и того же падежа засвидетельствовано во многих современных языках [13]. Пережиточное отражение древнейшего неоформленного номинатива некоторые картвелисты усматривают в древнегрузинских сложных глаголах типа *ɣaɣad-go* «закричал» (буквально: «вопль сделал»). В то же время так называемый «неоформленный падеж» древнегрузинского языка, не относящийся, как выяснено в специальной литературе, к категории па-

[9] См.: А р н. Ч и к о б а в а, Категория грамматических классов и генезис падежных окончаний в грузинском языке, «Сообщения АН Груз.ССР», VII, 1—2, 1946; с т о ж е, О лингвистических чертах картвельских языков, ИАН ОЛЯ, 1948, 1, стр. 30; К. Д о н д у а, Морфологическое выражение активного (эргативного) строя в адыгейской и картвельской группах кавказских языков, там же, 3, стр. 219. Действительно, даже при поверхностном сопоставлении формантов есть соблазн генетически отождествить картвельский субъектный падеж на **-d* с общедагестанским на *-d*, картвельский объектный на **-s* с общелезгинским и даргинским на *-s* / *-z* и картвельский генитив на **is*$_1$ с генитивом или суффиксом полных форм прилагательных *-ss* ряда дагестанских языков.

[10] См. об этом: W. J o c h e l s o n, The Aleut language and its relation to the Eskimo dialects, отд. оттиск из: «Proceedings of the XVIII International congress of americanists», London, б. г., стр. 97; Н. Я к о в л е в, Д. А ш х а м а ф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., 1941, стр. 381—383 и 385—392; К. К. К у р д о е в, Грамматика курдского языка (курманджи), М.— Л., 1957, стр. 56—66; ср. также: С. Л. Б ы х о в с к а я, К вопросу о происхождении склонения, ИАН СССР. Серия VII, Отд-ние гуманит. наук, 1930, 4.

[11] См. об этом, например: Fr. S p e c h t, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Neudruck, Göttingen, 1947, стр. 353; Э. Б е к е, Возникновение падежей в индоевропейских и финно-угорских языках, «Acta antiqua», IV, 1—4, Budapest, 1956, стр. 10—14.

[12] См. A. M e i l l e t, La méthode comparative en linguistique historique, Oslo, 1925, стр. 14 (русский перевод: А. М е й е, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 20—21). В романистике эти падежи называются субъектным и объектным (см. Э. Б у р с ь е, Основы романского языкознания, М., 1952, стр. 192 и сл.).

[13] См., например: V. T a u l i, Bemerkungen zum Ursprung der uralischen Kasussystem, «Ural-altaische Jahrbücher», XXIV, 3—4, 1952; см. также: J. v. F a r k a s, Der Genitiv und der Akkusativ in der uralischen Grundsprache, там же, XXVIII, 1—2, 1956, стр. 13—14.

дежа в собственном смысле слова [14], по крайней мере функционально не может отражать «номинатива» языка-основы. С другой стороны, не отражают последнего и случаи неоформленных «номинативов» современных картвельских языков, например груз. *γobe-* «плетень», зан. *baγu-* «житница», сван. *zisx-* «кровь» и т. п., так как они сложились в результате позднейшей тенденции к утрате суффиксального показателя субъектно-объектного падежа; эта тенденция оказывается неравномерно реализованной к настоящему времени по отдельным языкам (показатель субъектно-объектного падежа утрачен в сванском и лучше всего сохраняется в грузинском); этим объясняется, между прочим, тот факт, что ранние исследователи долго не замечали маркированного «номинатива» в картвельских языках вообще [15].

Аффиксы субъектно-объектного падежа окончательно сложились, по-видимому, лишь в более позднюю эпоху в каждом языке независимо друг от друга, однако все же на базе более или менее общего местоименного материала, чем и объясняется их сходный внешний облик: груз. *-i*, зан. *-e*, *-i* (в чанском диалекте последний полностью реинтерпретирован в гласный исхода основы) и сван. *-i*, *-e*(?). Показательно, что в древнегрузинских текстах собственные имена нередко еще не оформлялись суффиксом *-i* [16]. Из двух занских алломорф «номинатива» *-e* и *-i* более древней кажется первая [17], имеющаяся в настоящее время лишь в чанском диалекте, где за исключением единичных уже реинтерпретированных форм (например, *osur-e* «девушка», *izmoǯ-e* «сон», *kučx-e* «нога») она представлена только в формах множественного числа (*koč-ep-e* «люди», *kua-ep-e* «камни» и т. п.); возможно, с бытованием алломорфы *-e* в прошлом также в мегрельском диалекте связана странная идентичность огласовки занского суффикса плюралиса *-ep* с соответствующим ему груз. *-eb*. Что же касается сванского языка, то здесь прослеживается лишь пережиточное окончание «номинатива» *-i* (ср. *jor-i* «два», *sem-i* «три»), а возможно и *-e* (ср. *qan-ar-e* «быки») [18].

Не может быть особых сомнений в наличии субъектного («эргативного») падежа на общекартвельском языковом уровне. Однако засвидетельствованные в современных картвельских языках его показатели груз. *-man* > *-m*|*a*|, зан. *-k* и сван. *-m* (гласный + *m*?), по-видимому, не сводимы друг к другу исторически (подобие грузинского *-m*|*a*| сванскому *-m*, замеченное, как известно, еще Г. Шухардтом [19], объясняется, возможно, все же их происхождением из вполне аналогичного материала) и складываются по отдельным языкам в эпоху их обособленного существования. Так, например, согласно мнению проф. А. С. Чикобава, в грузинском языке субъект-

[14] См. об этом: Арн. Чикобава, Древнейший показатель субъекта третьего лица в картвельских языках, «Изв. ИЯИМК», V–VI, 1940, стр. 13; также см.: H. Vogt, Le système des cas en géorgien ancien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XIV, Oslo, 1947, стр. 101—103.

[15] См., например: А. А. Цагарели, Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков, СПб., 1872, стр. 31 [литограф. изд.] (2-е изд. в приложении к «Трудам Тбилисск. ун-та», LXVII, 1957, стр. 24); G. Rosen, Über die Sprache der Lazen, Berlin, 1844, стр. 4; Hr. Adjarian, Étude sur la langue laze, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», X, 6, Paris, 1898, стр. 406; Th. Kluge, Beiträge zur mingrelischen Grammatik, Berlin — Stuttgart — Leipzig, 1916, стр. 4.

[16] См. Арн. Чикобава, К генезису повествовательного падежа (эргатива) в картвельских языках, «Труды Тбилисск. ун-та», X, 1939, стр. 175[на груз. яз.].

[17] См. Н. Марр, Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматией и словарем, СПб., 1910, стр. 9—10; также см. Арн. Чикобава, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта, Тбилиси, 1936, стр. 49—50 [на груз. яз.].

[18] См. А. Г. Шанидзе, Умлаут в сванском языке, сб. «Арили», Тбилиси, 1925, стр. 219 [на груз. яз.].

[19] См. H. Schuchardt, Über den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen, «Sitzungsberichte der Akad. der Wissenschaften in Wien», Philosoph.-hist. Classe, CXXXIII, 1, 1895, стр. 61 [русск. перевод: Г. Шухардт, О пассивном характере переходного глагола в кавказских языках, в сб. «Эргативная конструкция предложения» (сост. Е. А. Бокарев), М., 1950, стр. 51]; ср., однако: G. Deeters, указ. соч., стр. 96.

ный падеж на *-man* не был вполне парадигматичным еще в IX в. н. э.[20]. Об относительной молодости этих формативов свидетельствует, например, то, что др.-груз. *-man*, полностью совпадающее с самостоятельным местоимением 3-го лица *man*, и сван. *-m* еще не принимаются собственными именами и, в свою очередь, сами не присоединяют к себе эмфатического гласного [21]. В специальной литературе выяснено, что генетически они сводимы к функционирующим и в настоящее время в картвельских языках местоименным основам *-m-* и *-g-* [22].

На роль показателя субъектного падежа на общекартвельском языковом уровне скорее всего может претендовать сванская морфа субъектного, а также обстоятельственного падежа *-d*, совпадающая с окончанием обстоятельственного падежа других картвельских языков и имевшая, должно быть, эргативно-косвенное значение. Формальное единство «эргатива» с одним из «косвенных» падежей в языках эргативного строя является, конечно, не случайным: здесь нередко встречаются факты совмещения в одной морфеме функций субъектного и какого-либо «косвенного» падежа, перехода значения субъектного падежа к отдельным формантам «косвенных» падежей и, наконец, тот факт, что «эргатив» получает специальное средство выражения вторичного происхождения [23]. В формах множественного числа самой древней грузинской парадигмы склонения типа pl^n субъектный падеж по форме совпадает с «общекосвенным» на *-t(a)*: им. падеж *kac-n-i* «люди», но «эргат.», объектн., род. падежи *kac-t(a)* «люди, людям, людей». Вместе с тем необоснованным представляется мнение Н. Я. Марра о том, что субъектный, или, по его терминологии, «дательный местоименный» падеж картвельских языков исторически является дательным [24].

История субъектно-объектного и субъектного падежей в картвельских языках лишний раз подтверждает теорию местоименного происхождения некоторых падежных окончаний [25]. В этой связи необходимо лишь отметить, что в истории грузинского языка «номинативное» *-i* стало парадигматическим окончанием, по-видимому, несколько раньше, чем эргативное *-man*. Во-первых, это видно из сопоставления обеих морфем с исходными для них местоименными основами *igi* и *man*. Во-вторых, об этом косвенным образом свидетельствуют древнегрузинские контексты, в которых имя в субъектно-объектном падеже способно иметь оформление, а в субъектном выступает неоформленным, например *Abia šva Asap-i...* «Авия родил Асу...» (Мф. I_7С), но *Asap šva Iosapat...* «Аса родил Иосафата...» (Мф. I_8С), или *Manase šva Amon-i...* «Манассия родил Амона...» (Мф.I_{10}С), но *Amon šva Iosia...* «Амон родил Иосию...» (Мф. I_{10}С), что отражает более чувствовавшуюся в древнегрузинском указательную семантику субъектного *-man* [26]. Отдельные факты системы склоне-

[20] Arn. Tschikobawa, Die ibero kaukasischen Gebirgssprachen und der heutige Stand ihrer Erforschung in Georgien, «Acta orientalia», IX, 2, Budapest, 1959.

[21] См. N. Marr, M. Brière, La langue géorgienne, Paris, 1931, стр. 268.

[22] См. об этом: Арн. Чикобава, К генезису повествовательного падежа (эргатива) в картвельских языках; Г. Деетерсу, однако, представлялось загадочным происхождение занского окончания эргатива *-k* (G. Deeters, указ. соч., стр. 95.)

[23] См. об этом: Арн. Чикобава, Проблема эргативной конструкции в кавказских языках: стабильный и лабильный варианты этой конструкции, «Изв. ИЯИМК», XII, 1942, стр. 222—223; К. Д. Дондуа, Адыгейского типа эргатив в сванском языке (К проблеме морфологического заимствования), «Иберийско-кавказское языковедение», I, Тбилиси, 1946, стр. 185—186 [на груз. яз.]; Е. А. Бокарев, Выражение субъектно-объектных отношений в дагестанских языках, ИАН ОЛЯ, 1948, 1; его же, Цезские (дидойские) языки Дагестана, М., 1959, стр. 269—274.

[24] См.: Н. Марр, Грамматика чанского (лазского) языка..., стр. 11—12; его же, Грамматика древнелитературного грузинского языка, Л., 1925, стр. 25. Ср. также: П. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматией и словарем, СПб., 1914, стр. 021—022.

[25] См. G. Deeters, Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen, «Bedi Karthlisa», 23 (N. S.), Paris, 1957, стр. 14.

[26] Ср. С. Чхенкели, Склонение собственных имен в «Книгах Царей» Ошкской рукописи 978 г., «Труды Тбилисск. ун-та», XXV, 1943, стр. 164.

ния современных картвельских языков, лучше всего представленные, по-видимому, в сванском, обнаруживают элементы серийности группы локативных падежей; однако в настоящее время затруднительно дать какую-либо историческую интерпретацию этому явлению.

Таким образом, на основании сравнительно-исторического анализа формантного состава довольно ясно повторяющейся по современным картвельским языкам деклинационной модели следует заключить, что в общекартвельском языке-основе накануне его распада на самостоятельные языковые единицы существовала вполне развитая система склонения примерно в составе шести-семи взаимно противопоставленных падежных форм. Если исключить распространенную в настоящее время в разной степени в различных сванских диалектах, по-видимому, артикулированную парадигму склонения с элементом *-m* (т. е. аналогичную парадигме с суффигированным определенным артиклем определенного склонения некоторых балканских языков [27]), называемую в картвелистике обычно «адыгейской системой» и рассматриваемую чаще как новообразование сванского [28], во всех современных картвельских языках налицо по существу единый тип склонения, которому следуют все склоняемые основы [29]. Такой единый тип характеризовал, возможно, и общекартвельский язык-основу на реконструируемом здесь хронологическом уровне.

Вместе с историческим развитием структуры картвельского склонения не осталась без изменения, очевидно, и функциональная нагрузка падежных морфем, постоянно подвергающаяся перераспределению [30]. Ввиду того что реконструкция значений конкретных падежных окончаний на общекартвельском языковом уровне по понятным причинам представляет область наибольших трудностей, пока приходится ограничиться лишь самой общей их характеристикой. Вместе с тем должна быть совершенно очевидной некоторая условность названий реконструированных падежей (для удобства эти названия выдержаны в основном в традиционном духе).

В целом функциональная модель общекартвельского склонения во многом близка современной. Субъектно-объектный падеж, как и ныне, должен был являться падежом подлежащего при непереходном глаголе и прямого дополнения при переходном, употребленном в аористной группе времен. Падеж на **-d*, как и в современном сванском, должен был совмещать значения субъектного и обстоятельственно-направительного падежей: отличаясь, по-видимому, своей полифункциональностью, он являлся одной из важнейших единиц общекартвельской падежной иерархии. В некоторой степени близким ему по значению должен был быть целевой падеж на **-is$_1$-d*, непосредственно включавший в себя морфу **-d* в направительной функции. «Датив» на **-s* с функциональной точки зрения следовало бы скорее охарактеризовать как объектный (подобно тому, как он именуется в ранней терминологии Г. Деетерса [31]), так как им оформлялись в первую очередь различные прямые и косвенные дополнения. Вместе с тем он является исконным падежом логического подлежащего при инверсивных глаголах чувственного восприятия и обладания

[27] См. G. Valentini, La declinazione determinata e indeterminata in albanese, II, «Ricerche linguistiche», III, Roma, 1954; I. Iordan, Gramatica limbii române, 2-е изд., Bucureşti, 1946, стр. 58 (русск. перевод: И. Иордан, Грамматика румынского языка, М., 1950, стр. 68—72).

[28] См. об этом: С. Н. Джанашиа, Сванско-адыгейские (черкесские) языковые встречи (Картвельско-адыгейские параллели, I), «Изв. ИЯИМК», XII; В. Т. Топурия, К системе склонения сванского языка в сравнении с склонением других картвельских языков, стр. 342—345; ср., однако: К. Д. Дондуа, Адыгейского типа эргатив в сванском языке, стр. 171—175.

[29] См. Арн. Чикобава, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта, стр. 214.

[30] См. L. Hjelmslev, La catégorie des cas, «Acta jutlandica», VII, 1, 1935.

[31] Ср. G. Deeters, Armenisch und Südkaukasisch. Ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung, «Caucasica», IV, Leipzig, 1927, стр. 22, 24.

(типа *любить, ненавидеть, иметь*)[32]. Родительный падеж на **-is*$_1$ принимали известные категории определений. Некоторые особенности функционирования этого падежа в современных картвельских языках, как, например, наличие конструкции так называемого «родительного с отношением» типа груз. *saxl-sa mam-isa-sa* «дому отца», которую впервые заметил и по существу правильно объяснил еще Ф. Бопп [33], образование производных падежных окончаний путем присоединения к этому **-is*$_1$ других падежных морфем (ср. груз. *-is-ad*/зан. *-iš-o't'* или груз. *-is-a*/зан. *-iš-a*), а также участие *-is*$_1$ в топонимическом словообразовании (ср. груз. *Tbil-is-i* «Тбилиси», зан. *ǯixa-iš-i* «Джихаиши», сван. *Ṭv-iš-i* «Твиши»[34] и т. п.), позволяют предполагать, что форманту генитива **-is*$_1$ на уровне общекартвельского языка-основы в определенной степени был присущ и словообразовательный характер. Наконец, исходя из общих структурных соображений на рассматриваемом общекартвельском уровне надо принять наличие падежа и с инструментальной функцией — творительного.

Как видно из сказанного выше, в целом общекартвельское состояние системы склонения лучше всего отражается сванским языком. Здесь в качестве архаических черт можно рассматривать, в частности, наличие общей морфы субъектного и обстоятельственного падежа *-d* и известное многообразие отдельных падежных окончаний (такого рода морфемная альтернация, как известно, встречается во многих агглютинативных языках); в других картвельских языках былое многообразие падежных окончаний сохранилось главным образом пережиточно [35], поскольку в этих языках появилась тенденция так называемого морфологического обобщения [36]. Наоборот, наиболее удалившейся от древнего типа деклинационной модели представляется система склонения в занском языке. В последнем, как известно, существенно изменилась исконная сфера употребления субъектного и — соответственно — субъектно-объектного падежей. Так, в чанском диалекте занского языка субъектный падеж ныне является единственным падежом подлежащего при сказуемом — переходном глаголе во всех группах времен [37], в мегрельском же диалекте вследствие деградации эргативной конструкции предложения «эргативный» падеж как таковой отсутствует, а его былой формант *-k*, оформляющий подлежащее при сказуемом — переходном или непереходном глаголе в форме времен группы аориста второй группы, целесообразно называть субъектным. В результате этих изменений в занском установилась в целом наиболее стандартизованная модель парадигмы [38] и почти вытеснен собственно занский показатель «номинатива» *-e*. Итоги предпринятого опыта реконструкции системы склонения в общекартвельском языке-основе сведены в таблицу.

---

[32] См. Арн. Чикобава, Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, I, Тбилиси, 1948, стр. 5.

[33] См. F. Bopp, Die kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstamms, Berlin, 1847, стр. 19; см. также: К. Д. Дондуа, К вопросу о родительном эмфатическом в древнелитературном грузинском языке, ИАН СССР, Серия VII, Отд-ние гуманит. наук, 1930, 3.

[34] См. М. Калдани, К вопросу о суффиксе *-iš(/-s)* в грузинской географической номенклатуре, «XVIII Научн. сессия Ин-та языкознания [АН ГрузССР]. План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1959, стр. 18—20.

[35] См. об этом: В. Т. Топурия, К вопросу о слоях *n* и *s* в картвельских языках, «Сообщения АН ГрузССР», II, 1—2, 1941 [на груз. яз.]; А. Г. Шанидзе, Основы грузинской грамматики, I — Морфология, Тбилиси, 1953, стр. 76—77 [на груз. яз.]; Т. С. Шарадзенидзе, К классификации склонений в сванском языке, «Иберийско-кавказское языкознание», VII, Тбилиси, 1955, стр. 127 [на груз. яз.].

[36] См. V. Tauli, The structural tendencies of languages, Helsinki, 1958, стр. 159.

[37] См. А. С. Чикобава, Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, I, стр. 1—5 и 132.

[38] См. об этом: J. Reby, La declinaison des substantifs dans les langues caucasiques du Sud, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», XVIII, 3, Paris, 1913, стр. 223—224; см. также: Арн. Чикобава, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта, стр. 217.

Падежи	Груз	Зан	Сван.	Общекартв.
Субъектно-объектный	-i/0	-e -i/0	⌜i⌝/-⌜e⌝/0	*0/-i (?)
Субъектный	-ma⌜n⌝	-k	-d/-m	*-d/-m (?)
Обстоятельственно-направительный	-d/-ad/-da	-t'-o⌜t⌝/-da	-d/-ad(?)	*-d/-ad (?)
Объектный	-s	-s	-s/-a/-am/-w	*-s
Родительный	-is	-⌜i⌝š	-iš/-eš/-äš	*-is₁
Целевой	-is-ad	-⌜i⌝š-o⌜t⌝	-iš-d	*-is₁-d
Направительный	-⌜is-a⌝	-⌜i⌝š-a	—	—
Исходный	—	-⌜i⌝š-e	—	—
Творительный	-it	-⌜i⌝t-⌜e⌝	-šv	*-it (?)

Из таблицы совершенно очевидна особенная близость грузинского и занского склонения, а сванское склонение стоит более обособленно.

Обнаруживаемые по отдельным современным картвельским языкам особенности в системе склонения своим возникновением большей частью обязаны эпохе их уже обособленного существования; некоторое исключение скорее всего могут представлять собой факты архаичного в целом сванского языка. Наоборот, большинство общих черт в склонении, например неизменяемость форм личных местоимений 1-го и 2-го лиц, использование эмфатической формы падежных окончаний и т. д., соотносимо, очевидно, еще с общекартвельским языковым уровнем. Меньшая часть таких общих явлений, в их числе характерное для занского и сванского распространение показателя субъектно-объектного падежа на всю парадигму склонения (это значит, что морфемы «косвенных» падежей суффигируются уже не на чистую основу имени, а на основу, сращенную с показателем субъектно-объектного падежа, ср. зан. *ḳoč-i* «человек» — субъектно-объектный падеж, но *ḳoč-i-s* «человеку» — объектный[39]), представляет результат параллельного развития этих родственных языков[40].

Накопленный в последнее время картвелистикой материал свидетельствует об ошибочности известного мнения Н. Я. Марра о широком заимствовании падежных морфем из одних картвельских языков в другие, основанного на переоценке Н. Я. Марром процессов межъязыкового заимствования и смешения. Наибольшие возражения вызывает как фактически, так и методологически неоправданное утверждение Марра о полностью заимствованном характере современного сванского склонения[41]. С другой стороны, вопреки мнению Н. Я. Марра, не приходится говорить о каких-либо сванизмах в грузинском и сколько-нибудь значительных грузинизмах в занском склонении[42]. Не более оправданной является ныне теория Н. С. Джанашиа об усвоении сванским языком из адыгских аффикса важнейшего из субъектно-объектных падежей — «эргатива» на-*m* — теория, до сих пор разделяемая некоторыми картвелистами[43].

[39] См.: Н. Марр, К вопросу о ближайшем сродстве армянского языка с иверским, ЗВО РАО, XIX, 1, СПб., 1909, стр. 069—070; его же, Грамматика чанского (лазского) языка..., стр. 15; В. Т. Топурия, К системе склонения сванского языка в сравнении с склонением других картвельских языков, стр. 342—343.

[40] По мнению А. С. Чикобава, в чанском это явление новое даже по сравнению со склонением в мегрельском диалекте (см. Арн. Чикобава, Один вариант сванского эргативного падежа в связи с принципом «двух основ» в склонении имен некоторых кавказских языков, «Труды Тбилисск. ун-та», XVIII, 1941, стр. 56); специально вопросам параллельного развития грамматического строя картвельских языков посвящена статья: В. Т. Топурия, К вопросу об общности грамматических новообразований в картвельских языках, «Иберийско-кавказское языкознание», VI, Тбилиси, 1954, стр. 448.

[41] См. Н. Я. Марр, Где сохранилось сванское склонение?, «Изв. Имп. Акад. наук», Серия VI, V, 17, 1911, стр. 1199.

[42] Ср. Н. Марр, Грамматика чанского (лазского) языка..., стр. 12.

[43] С. Н. Джанашиа, указ. соч., стр. 205—206.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

Э. А. МАКАЕВ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СОГЛАСНЫХ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

§ 1. Дискуссия по вопросам армянского консонантизма, открывшаяся на страницах «Вопросов языкознания» статьей А. С. Гарибяна [1] и вызвавшая живой отклик со стороны советских и зарубежных языковедов, имеет значение, далеко выходящее за рамки собственно арменистики. В центре внимания оказались вопросы, связанные с классификацией армянских диалектов, с соотношением современных диалектов и древнеармянского литературного языка — грабара, с соотношением приемов моделирования в области консонантизма в общеиндоевропейском, грабаре и в современных армянских диалектах, с соотношением армянского и германского передвижения согласных, наконец с фонетической и фонологической интерпретацией системы смычных согласных и самого понятия передвижения согласных.

Дискуссия ясно показала, что несмотря на огромную работу, проделанную советскими арменистами, и несмотря на накопленный материал исключительной ценности, многие вопросы истории армянского языка как в его отдаленном прошлом, так и в его современном состоянии остаются неясными или требуют совершенно иной постановки. Несомненной заслугой А. С. Гарибяна является то, что в его статье внимание было обращено именно на эту сторону и была предпринята попытка принципиально нового решения комплекса проблем, о которых речь была выше. Гипотеза А. С. Гарибяна встретила серьезные возражения со стороны многих участников дискуссии, и для того, чтобы можно было убедиться в правоте аргументации А. С. Гарибяна, а также представителей традиционной точки зрения, отраженной в работах классиков армянского и индоевропейского языкознания, необходимо выяснить направление, какое приняла дискуссия, а также то, в какой мере состояние современной арменистики позволяет сделать выводы, к которым пришел А. С. Гарибян.

§ 2. Не подлежит сомнению, что проблема передвижения согласных в армянском языке связана с проблемой соотношения грабара и современных армянских диалектов. Однако для более плодотворного решения, с одной стороны, вопроса о сущности армянского передвижения согласных, о соотношении армянского и индоевропейского консонантизма, а с другой — вопроса о том, в какой мере некоторые современные армянские диалекты могут рассматриваться в отношении консонантизма как более древние, чем система консонантизма грабара, представляется целесообразным раздельное рассмотрение этих двух комплексов проблем. К сожалению, эти два вопроса в дискуссии оказались настолько смешанными и перепутанными, что в ряде случаев проблема армянского передвижения согласных оказалась по сути дела подмененной проблемой классификации армянских диалектов и проблемой соотношения современных диалектов и грабара. Предметом данной статьи является вопрос о передвижении согласных в армянском языке, о соотношении армянского и германского передвижения согласных и о соотношении армянских и индоевропейских приемов моделирования в области согласных.

§ 3. Проблема классификации армянских диалектов, а также соотношения современных диалектов и грабара может быть предметом рассмот-

[1] А. С. Гарибян, Об армянском консонантизме, ВЯ, 1959, 5.

рения лишь со стороны армянистов — специалистов в области армянской диалектологии и истории языка. Компаративист-индоевропеист не в состоянии разрешить данную проблему. В то же время нам представляется возможным и необходимым указать на некоторые слабые звенья в аргументации А. С. Гарибяна. Несомненного внимания заслуживает гипотеза А. С. Гарибяна о том, что система согласных некоторых армянских диалектов обнаруживает более древнее состояние, чем консонантизм грабара, но из этого положения с несомненностью следует, что наряду с грабаром должны были существовать и иные системы консонантизма.

Для доказательства этого положения необходимо произвести внутреннюю реконструкцию тех современных армянских диалектов, которые, по мнению А. С. Гарибяна, являются продолжением диалектов с системой консонантизма, отличной от системы грабара. Только внутренняя реконструкция данных диалектов позволит с определенностью установить, существуют ли какие-либо основания для принятия других систем консонантизма помимо грабара. Э. Бенвенист несомненно прав, указывая на то, что «в современных диалектах мы не наблюдаем никаких фонетических особенностей в системах согласных, которые были бы несовместимы с фактами, характерными для фонетической системы древнеармянского языка. Таким образом, вряд ли нужно постулировать две или несколько систем согласных в древнеармянском; до сих пор никто этого не доказал» [2]. Таким образом, без внутренней реконструкции соответствующих армянских диалектов указанное положение А. С. Гарибяна лишено доказательной силы и ни к чему не обязывает.

Данный вопрос связан с постулатом, что во всяком случае некоторые современные армянские диалекты могут консервировать элементы общеиндоевропейского состояния. В принципе не приходится возражать против этого; в подтверждение этого положения можно привести примеры из различных индоевропейских языков. Достаточно указать на современный исландский и на кафирские языки. Но необходимо сразу сделать следующую оговорку: консервирование весьма архаичных черт в современных языках и диалектах наблюдается там, где соответствующий язык или диалект и его носители оказываются в историческом и географическом отношении в известной изоляции, в своеобразном естественном резервате, классическим примером чего являются кафирские языки; в отношении диалектов можно указать на алеманнский диалект в Швейцарии или на шведские диалекты в Даларна. При этом консервирование архаических черт непременно связано с весьма длительным пребыванием носителей того или иного языка или диалекта на данной территории.

Представители ареальной лингвистики уже давно обратили внимание на то, что именно на периферии индоевропейской языковой общности наблюдается консервирование ряда архаичных черт общеиндоевропейского языка, в то время как в центральном ареале индоевропейских языков обнаруживается значительное количество инноваций. Ж. Фурке, указывая на значение армянского языка при анализе эволюции индоевропейской системы согласных, особо оговаривает центральное положение армянского языка в индоевропейском ареале [3]. Весьма значительная пространственная распыленность армянского языка вместе с его носителями, неоднократно имевшие место миграции населения, чередование на одной и той же территории армянского и неармянского населения с возможными последствиями в виде билингвизма — все это вместе взятое было идеальным состоянием для создания комплекса инноваций, а не для консервирования архаических черт общеиндоевропейского языка. Ян Отрембский справедливо указывает: «Имея дело с явлениями армянского языка, не следует никогда забывать, что это язык, значительно отошедший от индо-

[2] Э. Бенвенист, Проблемы армянского консонантизма, ВЯ, 1961, 3, стр. 39.
[3] Жан Фурке, Генезис системы согласных в армянском языке (опыт диахронной фонологии), ВЯ, 1959, 6, стр. 77.

европейского языка-основы...»[4]. В свете изложенного становится более чем сомнительным положение о том, что некоторые современные армянские диалекты в отношении консонантизма не только древнее грабара, но по сей день консервируют приемы моделирования системы согласных индоевропейского праязыка. Но для решения вопроса о соотношении армянских и индоевропейских приемов моделирования системы согласных необходимо уточнить понятие передвижения согласных.

§ 4. В сравнительной грамматике индоевропейских и германских языков, особенно после работ А. Мейе, стало обычным сопоставление первого, или общегерманского, передвижения согласных в германских языках и армянского передвижения согласных. Основанием для такого сопоставления служило то, что индоевропейским трем рядам смычных: **dh* : *d* : *t* в германских и в армянском языках продолжали соответствовать три ряда согласных. В германских языках три ряда индоевропейских смычных в антропофоническом отношении претерпели значительные видоизменения, но фонологическая релевантность трех рядов была сохранена. Дело в том, что первое, или общегерманское, передвижение согласных повлекло за собой видоизменение способа образования индоевропейских смычных без изменения места их образования, и тем самым общеиндоевропейские принципы моделирования корреляций согласных фонем были сохранены. Три ряда смычных согласных индоевропейского праязыка в общегерманском оказались частично смещенными спирантами, но конфигурация трех рядов и — что весьма важно в структурном отношении (на это впервые обратил внимание У. Туодел [5]) — принцип дистантности между всеми тремя рядами продолжал по-прежнему сохраняться в германских языках. Именно в этом и только в этом смысле оправдано соположение германского и армянского передвижения согласных, ибо в армянском языке принцип дистантности между тремя рядами смычных был сохранен, как и в германских языках, но антропофонически частично на иных основаниях.

Лишь подобные структурные изменения рядов или серий согласных фонем могут называться передвижением согласных; многочисленные преобразования отдельных звеньев и, тем более, отдельных членов системы консонантизма в различных индоевропейских языках (например, переход индоевропейских звонких придыхательных в глухие придыхательные в греческом языке, озвончение *p*, *t*, *k* в интервокальной позиции с последующей спирантизацией в западном ареале романских языков [6], синкретизм **bh*, *dh*, *gh* и **b*, *d*, *g* в различных ареалах индоевропейских языков и т. п.) не могут и не должны рассматриваться в том же ряду, что передвижение согласных.

§ 5. В связи с указанной интерпретацией термина «передвижение согласных» следует остановиться на I группе армянских диалектов А. С. Гарибяна: «К I группе можно отнести те диалекты, которые по сравнению с индоевропейским консонантизмом производят лишь передвижение одних чистых глухих в ряд глухих придыхательных»[7]. В согласии с изложенными соображениями (в том случае, если фонологическая интерпретация консонантизма I группы диалектов, отсутствующая в статье А. С. Гарибяна, подтвердит правильность чисто фонетического объясне-

---

[4] Я и Отрембский, По поводу армянского консонантизма, ВЯ, 1961, 3, стр. 44.

[5] W. F. Twaddell, On defining the phoneme, Baltimore, 1935, стр. 60—61 («Language monographs published by the Linguistic Society of America», XVI); его же, The inner chronology of Germanic consonant shift, «Journ. of English and Germanic philology», XXXVIII, 4, 1939. См. также: W. P. Lehmann, The conservatism of Germanic phonology, «Journ. of English and Germanic philology», LII, 2, 1953, стр. 146—147.

[6] См. H. Weinrich, Phonologische Studien zur romanischen Sprachgeschichte, Münster, 1958.

[7] А. С. Гарибян, указ. соч., стр. 82.

ния, предложенного А. С. Гарибяном) придется признать, что в I группе диалектов передвижение согласных вообще отсутствовало. Уточнения требует также следующее: в статье А. С. Гарибяна в качестве исходного индоевропейского состояния принимаются традиционно четыре ряда смычных — звонкие придыхательные, звонкие, глухие, глухие придыхательные. А. С. Гарибян указывает на то, что «в древнеармянском языке индоевропейские чистые глухие превратились в глухие придыхательные... Индоевропейские глухие придыхательные сохранены без изменения»[8]. В данном заявлении два следующих положения вызывают возражения.

1. В настоящее время нет никаких оснований для постулирования четырех рядов смычных в общеиндоевропейском. Ряд глухих придыхательных отсутствовал в общеиндоевропейском и является ареальной инновацией позднего происхождения [9]. Тем самым проблема консервации армянским языком «индоевропейских» глухих придыхательных требует новой постановки. Следует также оговорить, что статус глухих придыхательных *ph*, *th*, *kh* в древнеармянском не может рассматриваться как окончательно установленный; древнеармянские *ph*, *th*, *kh* допускают интерпретацию как в терминах смычных, так и в терминах спирантов [10]. Из этого с несомненностью следует, что решению вопроса о соотношении консонантизма грабара и современных диалектов должно предшествовать подробное фонологическое описание системы согласных грабара с точным указанием дистрибуции фонем и их аллофонов; то же требование относится и к современным армянским диалектам.

2. Второе возражение касается положения о том, что индоевропейские чистые глухие в древнеармянском превратились в глухие придыхательные. На самом деле индоевропейские *p* и *t* в древнеармянском развивались в спиранты и в дальнейшем или сохранялись как спиранты, или исчезали. По формуле В. Пизани:

$$p > f > \begin{cases} h > 0 \\ \text{-}v\text{-} \end{cases} \quad \text{-}t\text{-} > \text{-}d\text{-} > \text{-}đ\text{-} > \begin{cases} \text{-}y\text{-} \\ \text{-}v\text{-} \end{cases}$$ [11]

Следует иметь в виду, что *p* развивалось в древнеармянском в спирант в любой позиции, *t* развивалось в спирант в интервокальной позиции и лишь в начале слова *t*>*th*; древнеармянское *kh* имело различное происхождение: др.-арм. *kh*<**q*$^{u}_{\circ}$, ср. греч. ἔλιπε, арм. *elikh* «он оставил», индоевропейский корень *leiq*$^{u}_{\circ}$ «оставлять»; др.-арм. *kh*<*su̯* в начале слова: ср. др.-инд. *svasā*, арм. *khoyr* «сестра», др.-инд. *svápnas*, арм. *khun* «сон». На основании данного анализа приходится целиком согласиться с резонным доводом Г. Фогта: «Таблицы А. С. Гарибяна создают неправильное впечатление о судьбе простых глухих. В таблицах указывается, что эти фонемы превращаются в аспирированные и затем сливаются с древним индоевропейским аспирированным, что в общем не соответствует действительности» [12].

---

[8] А. С. Гарибян, указ. соч., стр. 81.

[9] Современное состояние изучения вопроса о глухих придыхательных см. в работах: J. Wackernagel, Altindische Grammatik, I, Göttingen, 1957; J. Kuryłowicz, L'apophonie en indo-européen, Wrócław, 1956, стр. 375—382; T. Burrow, The Sanskrit language, London, 1955, стр. 71—72; Вяч. В. Иванов, В. Н. Топоров, Санскрит, М., 1960, стр. 67.

[10] Древнеармянские *ph*, *th*, *kh* рассматриваются как смычные Г. Иензеном (см. H. Jensen, Die altarmenische Aussprache der Buchstaben *kh*, *ph*, *th*, в сб. «Aus der byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik», I, Berlin, 1957, стр. 27—38; его же, Altarmenische Grammatik, Heidelberg, 1959, стр. 17); *ph*, *th*, *kh* рассматриваются как спиранты У. Уинтером (см. W. Winter, Problems in Armenian phonology I, «Language», XXX, 2, 1954).

[11] См.: V. Pisani, Studi sulla fonetica dell'armeno, V — La «rotazione consonantica» armena, «Ricerche linguistiche», II, Roma, 1951, стр. 68—74, где приводится обширный материал; O. Szemerényi, Studies in the Indo-European system of numerals, Heidelberg, 1960, стр. 19—20.

[12] Г. Фогт, Заметки по армянскому консонантизму, ВЯ, 1961, 3, стр. 41.

§ 6. В традиционной арменистике для грабара постулируется три ряда смычных: звонкие, глухие, глухие придыхательные. Между данными тремя рядами смычных можно установить две корреляции: а) корреляцию по звонкости, б) корреляцию по придыхательности. В данной фонологической системе поражает удивительное сходство как с фонологической системой древнегреческого языка, так и с некоторыми иранскими языками (особенно с курдским) и с южнокавказскими языками (грузинский язык). В древнегреческом представлены следующие корреляции смычных:

$$\begin{array}{ccc} \ulcorner\beta\urcorner & \ulcorner\delta\urcorner & \ulcorner\gamma\urcorner \\ \pi - \varphi & \tau - \vartheta & \varkappa - \chi \end{array}$$

В отношении фонологического строя курдского языка Ч. Х. Бакаев замечает: «Характерной особенностью курдского консонантизма является противопоставление двух рядов глухих смычных. Наряду с простыми глухими согласными *п*, *т*, *к*, *ч* имеются придыхательные глухие *п'*, *т'*, *к'*, *ч'*» [13]. Таким образом, можно установить для курдских смычных следующую схему:

$$\begin{array}{cccccc} \ulcorner & б & \urcorner & \ulcorner & д & \urcorner & \ulcorner & г & \urcorner \\ п & & п' & т & & т' & к & & к' \end{array}$$

В отношении грузинского Г. Фогт указывает на то, что в данном языке представлены три ряда смычных: звонкие, глухие придыхательные и глухие глоттализованные. Схематически это можно представить следующим образом:

$$\begin{array}{cccccccc} \ulcorner & b & \urcorner & \ulcorner & d & \urcorner & \ulcorner & g & \urcorner \\ \underset{\cdot}{p} & & p & \underset{\cdot}{t} & & t & \underset{\cdot}{k} & & k \end{array}$$ [14]

В другой работе Г. Фогт также подчеркивает, что для фонологического строя южнокавказских языков характерно наличие простого звонкого, глоттализованного глухого и глухого придыхательного [15]. Кроме того, в армянском, курдском и грузинском корреляция по придыхательности распространяется и на аффрикаты, например *ч/ч'*; хотя набор аффрикат в указанных языках не одинаков, важно то обстоятельство, что во всех перечисленных языках присутствует корреляция по придыхательности как в системе смычных, так и в системе аффрикат.

На основании изложенного можно заключить, что в древнеармянском действительно имело место передвижение согласных, причем так же, как и в германских языках, приемы индоевропейского моделирования в области трех рядов смычных были сохранены, но на иных основаниях и антропофонически в иных терминах. Хотя и в смещенном виде, корреляции по звонкости и по придыхательности были утверждены в фонологическом строе древнеармянского языка, и, как уже отмечалось, корреляция по придыхательности распространилась и на аффрикаты. Есть известные основания усматривать в подобной модификации общеиндоевропейской системы консонантизма в древнеармянском (при сохранении общих приемов моделирования индоевропейской системы смычных) наличие изоглосс — если и не входящих в языковой союз, то во всяком случае образующих языковую структурную общность южнокавказских, армянского и некоторых иранских языков.

Не случайными оказываются и приемы моделирования смычных, объединяющие армянский и древнегреческий языки: наличие значительного количества армяно-греческих общих изоглосс неоднократно отмечалось в специальной литературе [16]. Тем самым для консонантизма грабара,

---

[13] Ч. Х. Бакаев, Краткий очерк грамматики курдского языка (приложение к «Курдско-русскому словарю» того же автора), М., 1957, стр. 513.

[14] H. Vogt, Structure phonémique du géorgien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, Oslo, 1958, стр. 9—10 и 88.

[15] Г. Фогт, Заметки по армянскому консонантизму, стр. 40.

[16] См. E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, München, 1953, стр. 57.

особенно для системы смычных, в такой же мере типичными оказываются как элементы консервации исконных индоевропейских конститутивных особенностей, так и ряд инноваций, большинство из которых своим происхождением обязано, по всей вероятности, контактированию армянского языка с географически близкими родственными и не родственными языками. В этой связи значительный интерес представляет вопрос о судьбе индоевропейских звонких придыхательных в армянском языке.

§ 7. В дискуссии по вопросам армянского консонантизма и передвижения согласных в армянском языке центральное место заняла проблема отражения индоевропейских *bh*, *dh*, *gh* в древнеармянском и в современных армянских диалектах. Поэтому представляется желательным рассмотреть вопрос об отражении индоевропейских звонких придыхательных в нескольких аспектах. Возможность сохранения тем или иным современным диалектом весьма древних черт или структурных особенностей, могущих восходить к общеиндоевропейской эпохе, не подлежит никакому сомнению. Взвешивая возможность происхождения хеттского *ḫ* из ларингального и отмечая, что из всех индоевропейских языков данная фонема представлена лишь в одном хеттском языке, Ф. Зоммер оговаривал, что подобное могло иметь место в истории индоевропейских языков, и указывал на современный английский язык, в котором, по мнению Ф. Зоммера, сохранился общеиндоевропейский сонант *w* [17].

Пример Ф. Зоммера весьма поучителен; не говоря уже о том, что *w* представлено не только в английском, но и в ряде современных иранских языков, например в курдском, данный пример с непреложностью обнаруживает всю слабость подобной аргументации. Дело в том, что место сонанта *w* в общеиндоевропейском и в современном английском языке было совершенно иным. В общеиндоевропейском *w*, как и всякий другой сонант, могло иметь слогообразующую и неслогообразующую функцию, что в английском языке невозможно. Напротив, в английском языке *w* может находиться в оппозиции с щелевым *v*, что в общеиндоевропейском было невозможно, и т. д. Следовательно, сохранение в современном английском языке некоторых антропофонических особенностей общеиндоевропейского сонанта *w* еще ничего не доказывает, ибо не говорит о месте *w* в фонологической системе.

Теперь обратимся к отражению индоевропейских звонких придыхательных в армянском языке. Общеиндоевропейские звонкие придыхательные также занимали определенное место в системе согласных фонем. Достаточно указать на то, что при наличии **bh*, **dh*, **gh* в общеиндоевропейском отсутствовала фарингальная фонема /h/, но, возможно, были представлены ларингальные. Вопросом первостепенной важности является определение места, какое звонкие придыхательные могли занимать в фонологической системе грабара и какое место они занимают в фонологической системе некоторых современных диалектов. Обращает на себя внимание то, что в графике грабара, как и в большинстве графических систем древних индоевропейских языков, были отражены глухие придыхательные, находившиеся в корреляции с простыми глухими, но никакого отражения не получили звонкие придыхательные, предполагаемые некоторыми исследователями для древнеармянского [18].

Следует предполагать, что в том случае, если бы в древнеармянском постулируемые звонкие придыхательные были наделены дифференциальными признаками, если бы они образовывали класс самостоятельных фонем, как то имело место в общеиндоевропейском, они рано или поздно должны были бы получить графическое отображение. Г. Б. Джаукян справедливо обращает внимание на то, что наличие звонких придыха-

[17] F. Sommer, Hethiter und Hethitisch, Stuttgart, 1947, стр. 79.

[18] О древнеармянской графике см. обстоятельную монографию А. Г. Абрамяна «История армянского письма и письменности», Ереван, 1959 [на арм. яз.].

тельных в некоторых современных армянских диалектах было отмечено еще в конце XIX века Э. Зиверсом и Р. Ачаряном, «однако ни Э. Зиверс, ни тем более Р. Ачарян не сделали отсюда выводов о большей древности консонантизма некоторых современных армянских диалектов по сравнению с консонантизмом грабара» [19]. Фонологический статус звонких придыхательных в современных диалектах вообще неизвестен, что совершенно необходимо для решения вопроса о соотношении грабара и современных диалектов и на что с полным основанием указывает Ж. Фурке [20]. Действительно, только описание всех фонологических особенностей (если они вообще имеются?) звонких придыхательных, прежде всего установление корреляций, какие они образуют, определение позиции нейтрализации, установление их аллофонов и их описание в терминах дистрибутивной фонологии позволит сделать определенные выводы и в отношении древнеармянского.

До произведения подобного анализа всякие выводы в отношении звонких придыхательных как в древнеармянском, так и в современных диалектах будут необязательными и бездоказательными. Фонологическое описание необходимо произвести до включения в анализ и до осмысления — при всех прочих условиях — исключительно ценного материала заимствований в армянский язык в разные периоды его истории, что было блестяще продемонстрировано в статье Э. Б. Агаяна [21], именно потому, что это позволит в отношении заимствованных слов определить, имеем ли мы дело с фонологическим преобразованием системы или речь идет о субституции фонем того языка, откуда происходит заимствование, что весьма часто наблюдается именно при заимствованиях и что может оказаться роковым при фонематическом описании древнего периода того или иного языка.

В этой связи следует обратить внимание на то, что пример, приводимый в статье Г. Фогта «Заметки по армянскому консонантизму» [арм. *t'šnami* «враг»<перс. *dušman*<*dhušman* «враг»] в подтверждение того, что в древнеармянском не было простых звонких и что вторичный звонкий смычный должен был подвергнуться ассимиляции, допускает и иную интерпретацию: возможно, что *t'* было армянской субституцией персидского *d*, ибо в армянском и персидском *d* могло иметь разную степень звонкости, что могло явиться основанием для подобной субституции. Следует указать также на то, что объяснение др.-арм. *k'san* «двадцать»<**ghsan*< <**ghisan* < и.-е. *wīkṃtī* «двадцать», впервые предложенное Х. Педерсеном и принятое Г. Фогтом как доказательство наличия в грабаре звонких придыхательных [22], лишено доказательной силы, ибо, как совершенно справедливо замечает О. Семереньи [23], переход /w/ > /g/ является обычным, а переход /w/>/gh/ в индоевропейских языках является беспримерным. О. Семереньи объясняет /kh/ в *k'san* так же, как и В. Пизани [24]: после спиранты /i/ в **gisan* /g/ подверглось оглушению и аспирации перед /s/. Во всяком случае, описание консонантизма современных диалектов в терминах дистрибутивной фонологии позволит выяснить вопрос о том, является ли противопоставление звонких и звонких придыхательных фонологически релевантным, как то имело место в общеиндоевропейском, или звонкие придыхательные в некоторых современных армянских диалектах предстают таковыми лишь антропофонически, являясь аллофо-

[19] Г. Б. Джаукян, К вопросу о происхождении консонантизма армянских диалектов, ВЯ, 1960, 6, стр. 39.

[20] Жан Фурке, указ. соч., стр. 72 и 77.

[21] Э. Б. Агаян, О генезисе армянского консонантизма, ВЯ, 1960, 4.

[22] См. H. Vogt, Les occlusives de l'arménien, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVIII, стр. 152.

[23] O. Szemerényi, указ. соч., стр. 126, примеч. 51.

[24] См. V. Pisani, Lezioni di Armeno [tenuto nell'anno academico 1945—1946 a cura di Clementina Gatti e Lydia Pighetti], Milano, б. г.

нами соответствующих звонких/глухих фонем [25]. Кроме того, при анализе соотношения корреляции по придыхательности и корреляции по звонкости как в древнеармянском, так и в современных диалектах, позволяющем прийти к выводу о том, что фонологически релевантной была корреляция по придыхательности, а корреляция по звонкости была лишь сопутствующим моментом, ибо наличие/отсутствие звонкости могло рассматриваться как избыточность [26],— необходимы экспериментальные исследования соотношения глухих/звонких и напряженных/ ненапряженных в современных диалектах. Не исключена возможность, что не в корреляции по придыхательности, а в корреляции по признаку fortes/lenes следует усматривать ту модификацию системы консонантизма грабара, которая характерна для среднеармянского и для некоторых современных диалектов и получила наименование второго передвижения согласных в армянском языке.

Не меньшее значение при анализе звонких придыхательных в современных диалектах и при постулировании звонких придыхательных для древнеармянского языка имеет привлечение материала новоиндийских языков. Ж. Блок, указывая на то, что в новоиндийских языках наблюдается: или 1) сохранение звонких придыхательных, или 2) дезаспирация придыхательных, или 3) оглушение звонких придыхательных, делает важное замечание относительно того, что придыхание в классе звонких придыхательных обладает относительной независимостью по отношению к смычке и что слабым звеном в звонких придыхательных в санскрите была смычка, а не придыхание [27]. Подобное структурно-типологическое описание звонких придыхательных в новоиндийских языках и в современных армянских диалектах принципиально важно для выяснения вопроса о том, идет ли речь при наличии звонких придыхательных в некоторых современных армянских диалектах о консервации ряда особенностей общеиндоевропейской системы консонантизма или об инновации, восходящей лишь к среднеармянскому и, естественно, более поздней, чем система консонантизма грабара.

Материал, находящийся в распоряжении как армянистов, так и индоевропеистов, в настоящее время не позволяет прийти к более определенным выводам в отношении генезиса армянского консонантизма. Для подобных, если и не окончательных, то во всяком случае более решительных и более обоснованных выводов, свободных от бездоказательности и беспочвенной фантастики, необходимо иметь: экспериментальные исследования фонетического строя (как с точки зрения органо-генетики, так и акустики) современных армянских диалектов, описание фонологического строя армянских диалектов (особенно тех, где представлены звонкие придыхательные), описание фонологического строя грабара и описание развития армянского языка в терминах диахронической фонологии, структурно-типологическое описание класса звонких придыхательных в новоиндийских языках и в некоторых современных армянских диалектах.

Таковы результаты и такова перспектива дискуссии по вопросам армянского консонантизма, имеющей большое значение для компаративистов, историков языка, диалектологов и фонетистов.

---

[25] См. Г. Б. Джаукян, Армянская диалектология и вопрос о происхождении армянских диалектов, «Историко-филологич. журнал», 2—3, 1959, стр. 318 [на арм. яз.].

[26] См. H. Vogt, Les occlusives de l'arménien, стр. 151—152.

[27] J. Bloch, L'indo-aryen du Véda aux temps modernes, Paris, 1934, стр. 59—62.

№ 6 1961

Г. С. КЛЫЧКОВ

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЕМАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Сравнительно-историческое изучение языков с разными степенями генетической близости предполагает применение целого комплекса различных приемов. Любой элемент языковой системы может встречаться как в двух [1] сравниваемых языках, так и в праязыке (обозначим их соответственно через A, B и P), но может и отсутствовать в каком-нибудь из них. Допустим, что в сравниваемых языках A и B существуют только такие единицы, которые были в праязыке P (т. е. исключим возможность нововведений). В таком случае все возможные варианты распределения родственных единиц в языках A и B можно выразить в таблице, где знаком + обозначается наличие, а знаком — отсутствие (табл. 1).

Таблица 1

A	B	P	
+	+	+	. . . . a
+	—	+	. . . . b
—	+	+	 c
—	—	+	. . . . d

Через a мы обозначили множество единиц, общих для языков A и B, через b и c — множество единиц, общих только одному из них, через d — единицы, отсутствующие в обоих языках. Выражением для P будет:

$$P = a + b + c + d.$$

Условимся называть приемом реконструкции [2] восстановление множества a, приемом фономорфологического анализа — восстановление множеств b и c, приемом внутренней реконструкции — восстановление множества d. Реконструкция предполагает восстановление единиц на основании соположения единиц родственных языков. Имеется в виду основной и наиболее распространенный прием классического сравнительного языкознания. С точки зрения проф. А. И. Смирницкого, этим приемом исчерпывается сравнительно-исторический метод. Фономорфологический анализ предполагает сравнение единиц внутри системы одного языка, изучаемого нами непосредственно через устную или письменную форму речи. Внутренняя реконструкция — это системный анализ восстановленных фактов праязыка, позволяющий произвести новую реконструкцию еще более древнего состояния.

Выше мы сделали допущение, что все факты, которые имеются в языках A и B, происходят из P. Допустим теперь, что в языках A и B имеются не только унаследованные элементы, но и нововведения. В таком случае таблица возможного распределения единиц примет такой вид, как указано на табл. 2.

Здесь мы имеем множество a_1 — нововведений, общих для языков A и B, множества b_1 и c_1 — нововведений, различающих языки A и B, и множество d_1 — черт, не имеющихся ни в праязыке, ни в языках A и B, но

[1] Сравнение n-го числа языков теоретически сводимо к сравнению двух языков.

[2] Под сравнительно-историческим методом понимается совокупность этих, а также ряда других приемов сравнительного изучения группы родственных языков, которые используются, когда нет необходимости в реконструкции. Ср. А. И. Смирницкий, К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, ВЯ, 1952, 4.

возможных в какой-либо другой языковой системе. Очевидно, что d_1 равно бесконечности. Эти множества являются объектом не сравнительного, а сопоставительного метода в языкознании. В сравнительном языкознании появление множества a_1 часто заставляет исследователей восстанавливать в праязыке такие факты, которые являются нововведениями поздней эпохи, общими для сравниваемых языков. Примером такой ложной реконструкции может служить восстановление младограмматиками категории будущего времени в праязыке.

Таблица 2

A	B	P	
+	+	—	. . . a_1
+	—	—	. . . b_1
—	+	—	. . . c_1
—	—	—	. . . d_1

Среди единиц, образующих множества a_1, b_1 и c_1, следует выделить такие, которые п р и ч и н н о обусловлены фактами, имевшимися в системе языка P. Сравнение таких фактов позволит нам реконструировать причину их возникновения в праязыке и тем самым лучше познать структуру последнего. Такой анализ можно назвать г е н е т и к о - т и п о л о г и ч е с к и м. Примером может служить анализ сдвига праязыковой фонемы /s/ в придыхание, велярный спирант или шипящий в исторических индоевропейских языках [3]. В том случае, если мы признаем, что причиной этих изменений и, соответственно, причиной возникновения фонем типа /š/, /h/, /x/ было падение ларингальных, мы должны сделать вывод, что в праязыке фонема /s/ и ларингальный находились в привативной корреляции. Сравнение более чем двух языков сводимо к сравнению их попарно. Так, например, если у нас есть три языка A, B и C, то соположение языков A и B с применением метода реконструкции, фономорфологического анализа и внутренней реконструкции даст нам язык P, с которым затем сравнивается язык C.

Если период времени t, отделяющий эпоху сравниваемых языков A и B от эпохи праязыка P, невелик, то основным и наиболее эффективным приемом сравнительно-исторического метода будет реконструкция. Это определяется тем, что при небольших значениях t множество a единиц, общих двум сравниваемым языкам и имевшихся в праязыке, значительно больше множеств b, c и d. При увеличении t возрастает множество d единиц, имевшихся в праязыке и не сохранившихся ни в одном из сравниваемых языков. Одновременно возрастают множества b и c по отношению к множеству a. Следовательно, чем глубже мы удаляемся от эпохи письменной фиксации языков, тем больше возрастает роль фономорфологического анализа и внутренней реконструкции по сравнению с реконструкцией. Одновременно с течением времени возрастают множества единиц a_1, b_1, c_1, не унаследованных от предыдущих эпох. Поэтому чем дальше мы углубляемся в прошлое языковой семьи, тем более возрастает роль генетико-типологического метода. На определенном этапе реконструкции возникает логическая возможность возникновения сходства между рассматриваемыми языками в результате сосуществования неродственных языков на смежных территориях; при этом мы должны трезво отдать себе отчет в том, что дальнейшее углубление в предысторию будет опираться лишь на догадки и гипотезы.

Г. Фербэнкс подсчитал, что вероятность совпадения начала слова в двух определенных североиндейских языках равна $\frac{1}{25}$, т. е. на тысячу следует ожидать 40 случайно совпавших единиц [4]. Далее он определил количество слов, которые совпадают во всех согласных фонемах, если за

[3] Г. С. К л ы ч к о в, Индоевропейская фонема *s как коррелят ларингальных, ВЯ, 1959, 1.

[4] G. H. F a i r b a n k s, A note on glottochronology, «International journal of American linguistics», XXI, 2, 1955.

совпадение считать различие не более чем в один дифференциальный признак. Подсчеты проводились на индоевропейском материале по списку М. Суодеша в 215 единиц. Получены были следующие результаты (табл. 3):

Таблица 3

Пары сополагаемых языков	Общее число родственных слов	Процент родственных слов	Число слов, совпадающих фонетически	Процент слов, совпадающих фонетически	Число родственных слов, несовпадающих фонетически	Число неродственных слов, совпадающих фонетически
Чешско-русский	160	74	162	75	1	3
Англо-немецкий	128	60	129	60	4	5
Англо-чешский	54	25	39	18	24	9
Англо-французский	51	24	53	25	17	19
Французско-русский	49	23	38	18	22	10
Русско-армянский	38	18	36	17	14	13
Англо-армянский	36	17	32	15	17	13
Французско-армянский	36	17	36	17	13	13

Несмотря на несовершенство исходного списка [5], данные Г. Фербэнкса указывают на важную объективную закономерность. Чем меньше степень родства между сополагаемыми языками, тем больше вероятность случайного совпадения единиц, занимающих одно и то же положение в системе языка. При возникновении сравнительного метода фонетическое сходство принималось за признак родства, если одновременно совпадало значение единиц. Однако вскоре было открыто, что иногда совпадение является доказательством неродственности единиц. Так, совпадение русск. *вопить* и гот. *wopjan* «кричать» доказывает их нетождественность, ибо гот. /p/ не может соответствовать и.-е./p/.

Родство языков можно условно измерить вероятностью нахождения созвучной единицы в том же месте языковой системы. Чем ближе родство языков, тем эта вероятность больше, тем меньше неопределенность, энтропия. Чем дальше родство языков, больше время их разделения, тем неопределенность больше. Последняя выражается в фонетическом расхождении родственных единиц и в совпадении неродственных. На каком-то определенном уровне языкового родства фонетически совпадающие единицы равновероятно либо могут быть результатом случайности, либо могут происходить от одной и той же единицы, быть генетически тождественными. В этом случае сравнительно-историческое их изучение становится невозможным.

*

Хотя сравнительно-историческое языкознание со времен А. Шлейхера занимается реконструкцией праязыковых явлений, сам процесс этот недостаточно изучен. Наиболее точное описание его принадлежит Х. Хенигсвальду [6]. Допустим, что мы отобрали из двух языков *A* и *B* некоторое количество корреспонденций, т. е. таких морфем или слов, у которых совпадает и звучание и значение. Понимать «совпадение звучания» следует таким образом: если в корреспондентах каждая пара фонем или отличается не более чем одним фонологическим признаком, или отличается не этими признаками, а теми, которые обусловлены позиционно, или вовсе не различается, то такие единицы мы считаем за совпавшие по звучанию. В тех случаях, когда две фонемы двух разных языков отличаются по ме-

[5] См. сб. «Новое в лингвистике», М., 1960.

[6] H. M. Hoenigswald, The principal step in comparative grammar, «Language», XXVI, 3, 1950; перепечатано в сб. «Readings in linguistics», Washington, 1957. (Более подробно см. в книге того же автора: «Language change and linguistic reconstruction», Chicago, 1960.)

сту образования, за совпавшие мы будем принимать только такие фонемы, которые отличаются смежными артикуляциями. Так, например, хотя фонемы /p/ и /k/ отличаются одним дифференциальным признаком, мы не будем считать их сходными, так как губная и заднеязычная артикуляция не смежны [7]. После того как мы нашли достаточное количество корреспондентов, устанавливаются закономерные звуковые соответствия. Допустим теперь, что нами сравниваются древнеиндийский и готский языки.

Таблица 4

Др.-инд.	/t/	/t/	/t/	/d/	/d/	/dh/
Гот.	/t/	/d/	/þ/	/d/	/t/	/d/
Др.-инд. пример	*asti*	*pitár*	*bhrátar*	*duhita*	*veda*	*madhọ*
Гот. пример	*ist*	*fadar*	*broþar*	*dauhtar*	*wait*	*midjis*
Значение	«есть»	«отец»	«брат»	«дочь»	«знать»	«середина»
Позиция в соседстве с корреспонденцией /s/ = /s/	+	—	—	—	—	—
Позиция после безударного слога в др.-индийском	±	+	—	±	±	±
Позиция перед придыхательным в др.-индийском	±	±	±	+	±	—

Эти пары корреспондентов могут быть сходными друг с другом; так, корреспонденции 2 и 3 имеют общий древнеиндийский элемент, а корреспонденции 2, 4 имеют общий готский элемент. Каждую корреспонденцию можно рассматривать как единицу и исследовать ее дистрибуцию. Основное правило реконструкции фонологической системы заключается в том, что сходные корреспонденции, находящиеся в дополнительной дистрибуции, являются указанием на одну и ту же фонему в реконструируемой системе; так, корреспонденция /d/ = /d/ встречается только тогда, когда следующий слог начинается корреспонденцией /h/ = /g/, /dh/ = /d/. Корреспонденция /t/ = /t/ встречается только в соседстве с корреспонденцией /s/ = /s/ и т. д.

Проведя анализ всех корреспонденций, мы восстановим три праязыковые фонемы /t/, /d/, /dh/. Таким образом, принцип системного анализа звуковой системы заложен в методике реконструкции. Наиболее сложная задача при реконструкции возникает тогда, когда фонетические условия, определяющие дистрибуцию одной из корреспонденций, могут быть вскрыты только в одном языке и никак не поддаются анализу в другом. В нашем примере такой случай возникает в корреспонденции /t/ = /d/, которая встречается только после безударного слога (закон Вернера), что можно увидеть лишь из анализа древнеиндийского материала. Применение анализа по позициям к корреспонденциям предполагает также использование понятий маркированности и немаркированности. Позиции корреспонденций 3, 5 и 6 отличаются немаркированностью; они характеризуются отсутствием какого-либо фонетического фактора. Позиции корреспонденций 1, 2, 4 маркированы и характеризуются наличием определенного фонетиче-

[7] Более точное определение понятия «совпадение в звучании» требует анализа дифференциальных признаков не только с фонологической и артикуляторной, но и с акустической точки зрения. Ср.: Р. Г. Пиотровский, Еще раз о дифференциальных признаках фонемы, ВЯ, 1960, 6; W. M. Austin, Criteria for phonetic similarity, «Language», XXXIII, 4, 1957.

ского фактора. Выпишем все сходные корреспонденции попарно: I (1—2); II (1—3); III (2—3); IV (4—5); V (2—4); VI (2—6); VII(4—6); VIII(1—5).

Из этих восьми пар, очевидно, IV и VI не находятся в дополнительной дистрибуции, так как корреспонденции 4—5 и 2—6 встречаются в одинаковых позициях. Пара 2—4 не может быть исключена, так как корреспонденция 4 встречается в начальной позиции, корреспонденция 2 встречается после безударной гласной, т. е. в неначальной позиции. Остается, следовательно, шесть пар: I, II, III, V, VII, VIII, где корреспонденции находятся в дополнительной дистрибуции и могут быть отражением одной фонемы. Однако, если мы восстановим здесь шесть фонем, это будет ошибкой. При восстановлении шести фонем корреспонденция 2 будет отражением фонем I, III, V, и это будет означать, что три праязыковые фонемы в одной позиции полностью совпали в двух разных языках. Такое решение мало вероятно. Отметим, что пары I—III выражают связь одной немаркированной корреспонденции 3 с двумя маркированными 1 и 2, а также связь двух последних. Из этого следует, что сами пары I, II, III находятся в дополнительной дистрибуции.

Очевидно также, что маркированная корреспонденция 2 должна быть отнесена к немаркированной на основе того же признака корреспонденции 3, а не корреспонденции 4, которая оказывается в дополнительной дистрибуции с корреспонденцией 2 только потому, что позиция после безударной гласной и позиция в начале слова перед придыхательным в следующем слоге логически несовместимы. Поэтому корреспонденцию 4 мы отнесем в пару к соответственно немаркированной корреспонденции 6, т. е. мы признáем, что именно пара VII, а не пара V является продолжением праязыковой фонемы. Особого рассмотрения требует пара VIII. Корреспонденция 5 встречается и после корреспонденции «нуль с удлинением предшествующего гласного —*s*» (например, др.-инд. *īḍe*, гот. *asts* «сук»), а корреспонденция /d/, /dh/ = /d/ встречается после корреспонденции «нуль с удлинением —*z*» (например, др.-инд. *mīḍham*, гот. *mizdo* «выкуп»). Отметим, что корреспонденция /s/ = /s/ не маркирована (она не встречается ни перед /d/ = /t/, ни перед /dh/ = /d/ и т. д.), т. е. корреспонденции *А* (/s/ = /s/), *Б* (ноль = /s/), *В* (ноль = /z/) являются продолжением одной фонемы, так как *А* — не маркировано, *Б* осуществляется перед /d/ = /t/, а *В* — перед /dh/ = /d/.

Следовательно, в паре VIII не корреспонденции 1 и 5 зависят от корреспонденций, куда входит *s*, а наоборот. Отсюда корреспонденцию 1 следует сгруппировать с корреспонденцией не 5, а 2 и 3, что уже было сделано ранее. Отсюда же мы имеем реконструкцию трех праязыковых фонем, которые определяются соответствиями 1—3—2, 4—6, 5. Праязыковые реконструированные фонемы группируются вокруг корреспонденций, осуществляющихся в немаркированных позициях. Из этого выводим правило: к о р р е с п о н д е н ц и я, н е з а в и с я щ а я о т п о з и ц и и, в с е г д а я в л я е т с я п р о д о л ж е н и е м п р а я з ы к о в о й ф о н е м ы.

Сравним теперь группы корреспонденций 1—2—3, 4—6 и 5. 4—6 зависит от придыхания, а 5 не зависит; следовательно, соответствующие фонемы, по-видимому, отличаются признаком придыхательности. Сравнивая корреспонденции 3 и 5, мы видим, что данные праязыковые фонемы отличались либо по способу образования, либо по признаку глухости — звонкости. Проведя аналогичный анализ всех корреспонденций двух данных языков, мы выясним, что в вышеприведенных корреспонденциях 1—6 чаще, чем в других, встречаются признаки взрывности (по способу образования) и зубной артикуляции (по месту образования), а в других группах корреспонденций, где преобладает признак взрывности, он сопровождается признаком не зубной артикуляции, а губной или заднеязычной; отсюда на основании групп корреспонденций 1—2—3, 5, 4—6 восстанавливаются фонемы /t/, /d/, /dh/.

Точная фонетическая характеристика этих фонем нам неизвестна. Так, мы не знаем, было ли индоевропейское /t/ апикальным или дорсальным, но мы его описываем как фонему, противопоставленную /p/ и /k/, с одной стороны, и /d/ и /dh/ — с другой. Гораздо более вероятным оказывается восстановление фонетического облика праязыковых фонем при сравнении многих языков. Так, на месте праязыковой фонемы, определяемой корреспонденциями *A*, *Б*, *В*, в разных индоевропейских языках мы можем найти /s/, /š/, /h/, /x/, /z/, /r/, а в отдельных случаях даже /f/, /j/, /k/, /l/. Но так как отражение ее в качестве сибилянта /s/ — гораздо чаще других рефлексов, причем почти в каждом письменно зафиксированном языке отражение ее как зубного сибилянта находится в объяснимом историческом чередовании с другими ее рефлексами (эти последние обусловлены позицией), то сравнительная грамматика делает вывод, что эта фонема была глухим сибилянтом /s/.

Дальнейшее уточнение фонетической природы реконструируемой фонемы возможно при учете ассимилятивно-диссимилятивных процессов. Так, ассимиляция индоевропейской группы согласных /m/ + /s/ и диссимиляция /n/ + /s/[8] показывают, что место образования *s* по крайней мере то же, что и сонанта /n/ в консонантной функции.

Исследование процессов ассимиляции позволяет уточнить также и фонетическую природу фонем /t/, /d/, /dh/. Е. Курилович на основании анализа ассимиляции /t/ + /dh/ в индо-иранском делает вывод, что /dh/ (а также /bh, /gh/) нейтральны с точки зрения корреляции по глухости—звонкости, так же как и сонорные [9], т. е. что /dh/ было и не глухим и не звонким. В индоевропейском праязыке не восстанавливаются корни типа **bheut* или **teubh*, хотя корни типа **bheudh* и **bheud* возможны; равным образом, нет корней, которые начинались бы и оканчивались бы на смычную звонкую непридыхательную (корень типа **geud* невозможен [10], а **gheud* возможен).

Данное явление можно объяснить процессами превентивной диссимиляции в праязыке. Для этого необходимо ввести корреляцию по напряженности—ненапряженности; известно, что процессы ослабления артикуляции играют большую роль в развитии консонантизма индоевропейских языков [11]. Следующая система может объяснить диссимилятивные процессы в индоевропейском корне (см. рис. на стр. 36).

Диссимиляция по напряженности /bh/ — /t/ и по звонкости /b/ — /d/ дает /bh/ — /d/, так как /bh/ и /d/ противопоставлены в системе наилучшим образом.

Для определения природы индоевропейских «глухих придыхательных» большое значение имеют армянские диалекты [12]. Даже если признать, что звонкие придыхательные армянских диалектов вторичны, как это считает Г. Б. Джаукян [13], их существование является серьезным доводом в пользу реконструкции «звонких придыхательных», поскольку сторонники спирантного характера /bh/, /dh/, /gh/ утверждали, что эти фонемы типологически чужды индоевропейским языкам [14].

---

[8] См. W. Brandenstein, Die idg. Lautgruppen *ms* und *ns* («Studien zur indogermanischen Grundsprache»), Wien, 1952.

[9] См.: E. Kuryłowicz, Études indoeuropéennes, Kraków, 1935, стр. 46—56; W. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1955, стр. 80.

[10] См. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 191.

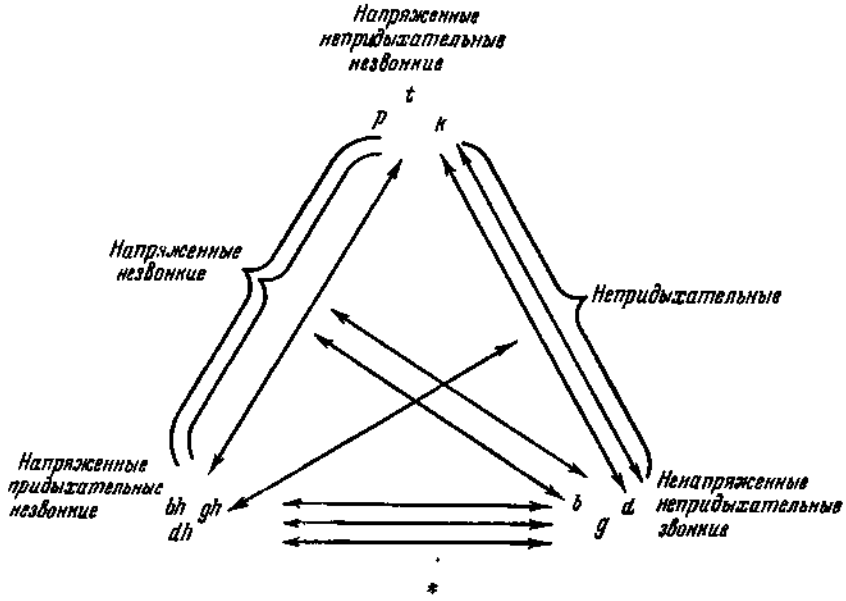
[11] См.: J. Fourquet, Les mutations consonantiques du germanique. Essai de position des problèmes, Paris, 1960; A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Berne, 1955, стр. 326—349.

[12] А. С. Гарибян, Новая группа диалектов армянского языка, ВЯ, 1958, 6; его же, Об армянском консонантизме, ВЯ, 1959, 5.

[13] Г. Б. Джаукян, К вопросу о происхождении консонантизма армянских диалектов, ВЯ, 1960, 6.

[14] Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 29.

Когда произведена реконструкция праязыковой фонологической системы, при восстановлении единиц высших уровней, мы опираемся на реконструированные фонемы. В сопоставляемых словах или морфемах сравниваются фонемы, стоящие на том же месте от начала слова. Так как каждой фонологической корреспонденции уже соответствует определенная фонема в реконструируемом языке, то она и восстанавливается на соответствующем месте.



Фономорфологический анализ, как и реконструкция, предполагает установление фонетических соответствий. Исходный постулат фономорфологического анализа заключается в признании того, что все алломорфы одной и той же морфемы родственны. Супплетивные образования принимаются за исключение из правила и должны быть заранее исключены из исследуемого материала. Когда сопоставляются алломорфы одних и тех же морфем отдельного языка, устанавливаются регулярные корреспонденции между фонемами. Сходные корреспонденции, находящиеся в дополнительной дистрибуции, принимаются за отражение одной и той же восстанавливаемой фонемы, а корреспонденции, не обусловленные позиционно, реализуемые в немаркированной позиции, принимаются за непосредственное продолжение данной фонемы. На основании этих правил производится реконструкция фонологического состава данного языка на более древнем этапе его развития [15]. Результаты реконструкции сопоставляются с данными, полученными от сравнения нескольких языков. Так, например, в германских языках в алломорфах одних и тех же морфем наблюдается чередование гласных /i/, /u/ с сонорными /j/, /w/ соответственно. Эти корреспонденции находятся в дополнительной дистрибуции, условия которой определяются по так называемому закону Зиверса. Фономорфологический анализ дает здесь реконструкцию двух фонем /u̯/ и /i̯/, которые совпадают с фонемами, восстановленными методом реконструкции при сравнении нескольких индоевропейских языков.

Таким образом, метод фономорфологического анализа предполагает проецирование системных отношений одного из данных нам непосредст-

[15] См.: H. M. Hoenigswald, указ. соч.; J. W. Marchand, Internal reconstruction of phonemic split, «Language», XXXII, 2 (pt. 1), 1956; W. Chafe, Internal reconstruction in Seneca, «Language», XXXV, 3, 1959.

венно языков в праязык. В качестве другого примера такой реконструкции можно привести восстановление индоевропейской акцентной системы Е. Куриловичем на основании только фактов ведического санскрита. Акцентная система греческого и балто-славянского при этой реконструкции не учитывается и принимается за нововведение [16].

Метод внутренней реконструкции, который обычно не отличают от фономорфологического анализа, заключается в применении тех же приемов к уже реконструированному материалу праязыка: устанавливаются соответствия фонем в алломорфах одной морфемы, выделяются корреспонденции, находящиеся в дополнительной дистрибуции, и на основании тех корреспонденций, которые не обусловлены позиционно, производится реконструкция фонем, существовавших на более древнем этапе развития языка. В качестве примера такого анализа можно привести восстановление К. Боргстремом гласной фонемы /ä/ в индоевропейском языке эпохи до возникновения чередований гласных [17]. Реконструкция дает нам в протоиндоевропейском корни типа **pérk-*, **sénu-*, с одной стороны, и **prék-*, **snéu-* — с другой. Э. Бенвенист объяснил такие формы корней как разные состояния одной основы [18]. Состояния этой основы являются алломорфами, в которых чередуются /e/ и 0 в зависимости от ударения. К. Боргстрем делал предположение, что и /e/, и 0 являются отражением одной фонемы /ä/, а соответствующие основы на более древнем этапе развития имели вид **päräkä* и **sänäwä*. Метод внутренней реконструкции дает очень гипотетичные результаты, опираться на которые можно только при наличии аналогичных выводов, полученных другим путем. Таким подтверждением результатов внутренней реконструкции явилось открытие консонантических рефлексов тех элементов праязыковой фонологической системы, которые в 1878 г. были восстановлены Ф. де Соссюром на основании внутренней реконструкции и получили условное название ларингальных.

*

Реконструкция смысловой структуры единиц остается пока одним из самых сложных вопросов сравнительного языкознания. Обычно смысловая сторона восстанавливаемой единицы рассматривается условно, обобщенно, только лишь как основание для реконструкции ее фонетического облика. Какое значение имела восстановленная праформа — точно сказать нельзя; нельзя с достаточной степенью достоверности приписать ей одно из значений, которые зафиксированы в сравниваемых языках, так же как и восстановить систему значений полисемантического индоевропейского слова.

«Просматривая этимологический словарь,— писал А. Мейе,—мы получаем такое впечатление, будто индоевропейский язык обладал словами и корнями абстрактного и общего значения, между тем как каждый из индоевропейских говоров надо представлять себе вроде какого-нибудь современного литовского говора, бедного общими понятиями и изобилующего точными названиями конкретных действий и мелочей домашнего обихода» [19]. Существовала теория, что празначение должно всегда быть конкретно и в праязыке не было абстрактных понятий. Э. Бенвенистом была показана ошибочность как этой, так и противоположной точек зрения [20].

В рамках обычной методики сравнительно-исторической реконструкции невозможность восстановления внутренней стороны лингвистического

[16] J. Kuryłowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, Kraków, 1952.

[17] C. H. Borgstrøm, Internal reconstruction of Pre-Indo-European word-forms, «Word», X, 2—3, 1954; его же, Tonkawa and Indo-European vowel gradation, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XVII, Oslo, 1954.

[18] Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

[19] А. Мейе, указ. соч., стр. 385.

[20] E. Benveniste, Problèmes sémantiques de la reconstruction, «Word», X, 2—3, 1954.

знака вполне закономерна. Нельзя думать, что сравнительно-исторический метод позволяет нам восстановить праязыковое слово как реальную единицу в ее единстве значения и звучания. Определить с одинаковой точностью и звучание и значение индоевропейского слова или корня так же невозможно, как в математике невозможно решить одно уравнение с двумя неизвестными. Стремясь к фонетической строгости реконструкции, мы не можем не поступиться семантикой восстанавливаемого архетипа. Сближая значения сопоставляемых единиц в сравниваемых языках, мы невольно приписываем восстанавливаемому слову расплывчатое абстрактное значение, которое обычно и приводится как празначение в словаре Вальде — Покорного.

Сопоставление значений, совпадающих у родственных слов в различных языках, дает основу для восстановления фонетического облика архетипа, а не его значения. «...при сопоставлении слов различных языков приходится рассматривать, что́ в них есть общего, и потому устранять смысловые оттенки, развившиеся в каждом отдельном языке: после этого остается одна а б с т р а к ц и я, к о т о р а я д а е т с р е д с т в о д л я о п р а в д а н и я с о п о с т а в л е н и я (разрядка моя.— *Г. К.*), но не для установления первоначального значения слова» [21].

Представляется, однако, что семантическая реконструкция теоретически возможна, но при известной модификации методики исследования. Прежде всего необходимо точное определение как логического объема, так и функциональной значимости сопоставляемых слов. Это невозможно без тщательного филологического анализа употребления слова в исторически засвидетельствованных текстах. Отсутствие филологической обработки компаративистского материала может привести к далеко идущим ошибкам. Так, в сравнительной грамматике долгое время считалось, что и.-е. **porḱo*, лат. *porcus* и т. д. имело значение «домашняя свинья» в отличие от и.-е **sus* «дикая свинья». Так как первое слово считалось не общеиндоевропейским, делался вывод о распадении праязыка в эпоху до возникновения свиноводства.

Анализ, проведенный Э. Бенвенистом, показал, что как лат. *porcus*, так и другие родственные слова означают «поросенок», и, следовательно, все построение ложно [22]. Итак, непременное условие семасиологической реконструкции — это точный филологический анализ полисемии сравниваемых единиц. Далее, как условие, оправдывающее сопоставление, надо брать совпадение не значений, а звучаний реально зафиксированных в индоевропейских языках лексем в пределах определенной формулы соответствий. Обычно при сопоставлении лексем разных языков смежность или тождественность значений считается самоочевидной, а фонетический облик праязыковой единицы рассматривается как искомое. Уровень наших знаний о закономерных соответствиях фонетического строя индоевропейских языков позволяет нам теперь выделять в этих языках группы слов, звуковой состав которых соответствует одной и той же праформе. Мы можем, основываясь только на историко-фонетическом принципе, дать перечень слов в индоевропейских языках, которые совпадают в своей корневой части и м о г у т восходить к общему архетипу. Этот архетип можно принять за данное, а его празначения — за искомое. В процессе сравнения сополагаются не звуковые оболочки слов различных языков, а их смысловые структуры, значения и употребления.

Естественно, что, как при обычном анализе мы отвлекаемся от полисемии сравниваемых единиц, так здесь мы должны отвлечься от вариантности звуковой оболочки. Фонетическая реконструкция основывается на принципе закономерности изменений. В области фонетических соответ-

[21] А. М е й е, указ. соч., стр. 385.
[22] E. B e n v e n i s t e, Noms d'animaux en indoeuropéen, BSLP, XLV, 1, 1949.

ствий мы можем утверждать, что если в одном слове в определенной позиции осуществляется определенная корреспонденция, то и в другом слове в той же позиции она будет иметь место. Это объясняется тем, что фонетическое изменение охватывает теоретически все единицы языка, в которых встречается данная фонема в данной позиции в данный период времени. В области же семантических изменений таких строгих закономерностей установить не удалось: семантические изменения по преимуществу конкретны в каждом отдельном слове и только иногда совпадают в какой-либо группе слов, образующих семантическое поле. Поэтому для реконструкции значения недостаточно привести пример семантического изменения, аналогичного тому, которое связывает данное и реконструируемое значения в исследуемом случае. Объективных критериев смежности и сходства значения нет, так как одни и те же значения в разных языках объединяются или не объединяются в одной лексеме в зависимости от ряда причин, полностью не поддающихся учету, но из которых основной и решающей являются системные отношения и связи данного слова с другими словами в словарном составе языка.

Семасиологическая реконструкция не может опираться на принцип закономерности изменений, она должна опираться, следовательно, на совершенно иной принцип. В области фонетики после того, как изменение осуществилось, представлен, как правило, только его конечный продукт, а исходное состояние исчезает в результате самого изменения. Варианты, в которых сохраняются исходное и конечное состояние фонетического изменения типа др.-исл. *gull* и *goll* с отсутствием и наличием перегласовки на *-a-*, являются исключением. В области семантики такой случай является правилом, здесь всегда исходное и производное значения определенное время сосуществуют в системе значений одного слова. Поэтому объективным критерием семантического изменения какого-либо слова может служить другое однокорневое слово, фонетически соответствующее первому, где произошло такое же семантическое изменение и соответствующая пара значений объединена одной звуковой оболочкой. Так, если у нас есть слово X_1 со значениями *a* и мы предполагаем, что у него было еще одно значение *c*, то доказательством этого может служить слово X_2, фонетически соответствующее первому, где действительно имеются значения *abc*. Единственным объективным критерием при восстановлении прошлого семантического изменения может быть сосуществование исходного и производного значения в смысловой структуре этимологически соответствующего слова. Предположим, что в разных родственных языках существуют лексемы со звуковыми оболочками: $X_1\ X_2\ X_3 \ldots\ldots\ldots X_n$, причем все эти слова на основании уже известных нам звуковых соответствий сводимы к одному архетипу *X*. Предположим, что у этих лексем зафиксированы лексические значения *a*, *b*, *c*, *d* . . . . . *n*. Из этих значений определенное количество *a*, *b*, *c*, *d* . . . . . *k* представляются нам близкими, смежными, объединенными, так что *b* развивается из *a*, *c* развивается из *b* и т. д. Эта гипотеза означает, что некоторое количество лексем из числа X_1, X_2 . . X_n действительно восходит к праязыковому слову X_k. Для доказательства этой гипотезы следует найти такие лексемы со звуковыми оболочками X_1, X_2, X_3 и т. д., чтобы для каждой пары значений *ab*, *bc*, *cd* и т. д. была лексема, в которой они объединены, т. е. X_1 «ab», X_2 «bc», X_3 «cd» . . . . . X_k «ik».

Для полного анализа необходимо также из каждого языка, где встречаются X_1, X_2, X_3 и т. д., найти такие контексты, где значения *ab*, *bc* и *cd* нейтрализуются. Мы ограничимся одним примером. За архетип *X* мы примем форму **Heu-ei-n-d*, где оба гласных по допущению могут чередоваться с /o/ или с 0, однако оба сразу выступать в нулевой степени не могут, инфикс *-n-* может отсутствовать. В дальнейшем за тождественные с историко-фонологической точки зрения будут приниматься все формы как разных индоевропейских языков, так и одного и того же языка, если они фо-

нетически закономерно соответствуют этому архетипу с учетом перечисленных выше вариантов. Значения рассматриваются следующие: *a* «течь», *b* «идти», «двигаться», *c* «поворачиваться», *d* «быть обращенным к чему-либо», *e* «замечать, видеть», *f* «знать».

X_1 «a» др.-исл. *veita* «течь», например *veitir vatn til sjovar* «текут реки к морю»
X_1 «b» др.-исл. *vita* архаич. «идти», *vit* «посещение»
X_1 «c» др.-исл. *vita* «повернуться», например *vita moti solu* «повернуться к солнцу»
X_1 «d» др.-исл. *vita* «быть обращенным куда-либо», например *vita til nordaettar* «быть обращенным на север»
X_1 «e» др.-исл. *vita* «видеть»
X_1 «f» др.-исл. *vita* «знать», например *engi vissi skapara sinn* «никто не знал его творца»
X_2 «e» гот. *witaida* «наблюдал, видел»
X_2 «f» гот. *wait* «знал»
X_2 «b» др.-англ. *gewitan* «отправляться, идти»
X_3 «e» др.-англ. *bewitian* «наблюдать»
X_3 «f» др.-англ. *gewiste* «узнал»
X_4 «a» греч. οἰδέω «волноваться» (о море), οἴδμα «волны»
X_4 «b» греч. εἶδω «появляться», например εἶσατο δεξιός «показался справа»
X_4 «ef» греч. οἶδα «смотреть, видеть, познавать»
X_5 «ce» др.-инд. *vindati* «повернуться, найти»
X_5 «e» др.-инд. *vedmi* «вижу, различаю», например *vedmi manuśyam deveśu* «вижу человека среди богов»
X_5 «f» *vedmi* «знать», *etad icchami veditum* «хочу знать это»

Результаты можно обобщить следующим образом:

X_1 . . . . . *a b c d e f*
X_2 . . . . . *e f*
X_3 . . . . . *b e f*
X_4 . . . . . *a b e f*
X_5 . . . . . *c e f*

Выделение наиболее древних значений из числа значений *a b c d e f* должно опираться на типологию семантических изменений. Так, типологическое исследование развитых значений глаголов движения в различных языках показывает [23], что значение движения часто развивается в значение умственного восприятия, но не наоборот. Отсюда можно сделать вывод, что значения *ef* производные и развились в более позднюю эпоху. Аналогичным образом следует проанализировать и другие значения с целью выделить из их числа наиболее древние, непроизводные значения. Изложенный метод допускает проверку полученных результатов. Из таблицы видно, что связь любой пары исследуемых значений может быть условно охарактеризована числом случаев, когда они объединяются в смысловой структуре одного слова. Так, связь значений *ef* по данным пяти единиц, приведенных выше, характеризуется числом 5, а связь значений *ab* — числом 2. Проверить надежность вывода о связи этих значений именно с данным фонетическим комплексом можно, подставив в таблицу вместо слов, возводимых к архетипу X, любые слова различных языков, синонимичные значениям *a b c d e f*. Число, характеризующее связь каждой пары значений, должно быть значительно меньше того, которое получено от сопоставления слов, сводимых к одной и той же праформе (разумеется, число сравниваемых единиц должно быть одинаковым в обоих случаях).

[23] K. H. Collitz, Verbs of motion in their semantic divergence («Language monographs published by the Linguistic Society of America», 8), Philadelphia, 1931.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

Р. Б. ЛИЗ

О ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ГРАММАТИК

Ввиду того что так называемая «трансформационная грамматика» (ТГ) Н. А. Хомского не дает никакого очевидного алгоритма для определения грамматического анализа [под этим термином обычно понимают анализ структур по непосредственно составляющим (НС-анализ)] отдельных предложений, и, может быть, потому, что именно этот анализ в понимании некоторых лингвистов является одним из основных требований, предъявляемых к практической программе для машинного перевода, время от времени высказывалось предположение, что ТГ может быть переформулирована таким образом, чтобы она могла исполнить свою главную задачу [1], т. е. перечисление всех предложений данного языка исклю-

[1] См., например: F. W. Householder, On linguistic primes, «Word», XV, 2, 1959. В этой работе некоторые грамматические правила английского языка, требующие иных — по сравнению с деривационным распространением составляющих — процессов (перестановок, эллипсисов и т. д.), описываются в целях иллюстрации как простые правила «переписки», имеющие место в сфере различных последовательностей. Поскольку Ф. Хаузхолдер не придерживается точки зрения, согласно которой трансформационные правила не являются внутренне обязательными, формулирование им данных иллюстративных правил служит хорошим примером гипотетичной формы грамматик того типа, при котором трансформационные характеристики приписываются — пусть даже непреднамеренно — правилам расширения для анализа по составляющим. По-видимому, наиболее определенными в этом направлении являются два отдельных заявления Ч. Хоккета. В своей статье «Грамматика для слушателя» («Proceedings of the Twelfth symposium [of the American mathematical society] in applied mathematics. Structure of language and its mathematical aspects», ed. by R. Jakobson, Providence, 1961, стр. 220—236) он заявляет, что доказал следующее положение: ТГ в общих чертах может быть сведена в систему (он называет эту систему phrase-grammar) при помощи так называемой «конструкционной грамматики» («construction grammar»). Однако надо заметить, что так называемая «нормальная система комбинаций» может быть легко представлена в качестве ТГ, а каждый рекурсивно исчисляемый ряд порождается известной нормальной системой (см. M. Davis, Computability and unsolvability, New York, 1958, стр. 100, theorem 5. 2). Таким образом, ТГ равносильна универсальной машине Тьюринга. Кроме того, грамматика НС [т. е. 1-й или 2-й тип структурной грамматики, описанной, скажем, Н. А. Хомским в его «On certain formal properties of grammars» («Information and control», II, 1959, стр. 137—167] является разрешимой системой, так как она порождает только цепочки бесконечно увеличивающейся длины. Поэтому ясно, что ТГ не может быть эквивалентна грамматике НС. Следовательно, или Хоккет допустил еще не обнаруженную ошибку, или же он употреблял понятия «трансформационная грамматика» и «phrase grammar» в том смысле, в каком они не соответствуют ТГ и грамматике НС.

Вторая гипотеза выдвинута Ч. Хоккетом в статье «Языковые элементы и их отношения» («Language», XXXVII, 1, 1961). Хоккет утверждает, что трансформационные правила, или, по крайней мере, наиболее характерные из них, могут быть всегда заменены введением в грамматику НС другой морфемы вместе с обязательными морфофонематическими правилами. Однако Хоккет, как и многие другие лингвисты, обсуждавшие недавно грамматические трансформации, ошибается, принимая отдельные трансформации типа трансформации пассива или трансформации вопроса в английском языке за типичные трансформационные правила. В действительности, конечно, возможно, значительно усложнив грамматику, переформулировать эти правила в терминах новых морфем (или формативов) и некоторых дополнительных обязательных правил (как, например, сделано мной в случае английского отрицания). Однако такое переформулирование невозможно не только в отношении правил эллипсиса, но — что гораздо более важно — и в отношении наиболее характерных для грамматики правил, как, например, в случае, когда одно целое предложение необходимо вставить в качестве компонента в другое. Так называемые «обобщенные» трансформации —

чительно при помощи грамматических правил типа «расширение по НС». Основной причиной, обусловливающей такое требование, является, быть может, нежелание (или неумение) этой части авторов отказаться от классического для лингвистики требования описания процедур анализа, а также от чересчур упрощенного описания того, как порождаемые предложения понимаются слушающим.

Во всяком случае, как я постараюсь показать далее, сама идея свести трансформационный компонент грамматики к более или менее расширенному количеству правил анализа по НС с последующим добавлением более сложных правил морфофонемики (правил МФ) или без этих последних, а также идея свести трансформационную грамматику к некоторому множеству параллельных правил расширения по НС [2], основывается на непонимании тех мотивов, по которым Хомский расширил грамматику НС до ТГ, на непонимании внутреннего различия математических возможностей грамматики НС и ТГ и непонимании специфики тех путей, по которым эти грамматики формализуют черты грамматической структуры языка, представляющие интерес для лингвистики.

Вряд ли имеет смысл говорить здесь о деталях, поскольку все эти точки зрения достаточно подробно анализировались в существующей по этому вопросу литературе [3]. Поэтому мне хочется остановиться только на одном вопросе, анализ которого требует особого рода иллюстраций, не приводившихся в упомянутых мной источниках [4]. После многих лет изучения грамматики лингвисты сошлись на том, что грамматическая структура предложения в качестве несводимого далее минимума должна включать структуру непосредственно составляющих, представляющую

это те, которые определяют реальную продуцирующую, или порождающую, способность грамматики. Итак, предложение Ч. Хоккета о переформулировке, поскольку оно относится только к трансформациям от единственного источника, не имеет смысла, так как сводится лишь к простой перемене формы записи; что же касается применения его к вводным трансформациям, то оно просто неприемлемо. В. Х. Ингве, С. М. Лемб, Ч. Хоккет, Хейс и другие не раз предлагали отказаться от трансформаций в пользу исключительно правил расширения.

[2] Как это делается, например, в программе описания языка по «тагмемам», предложенной К. Л. Пайком, или, возможно, в «стратификационной» модели структуры предложения С. М. Лемба.

[3] См. особенно: N. A. Chomsky, The logical structure of linguistic theory, Massachusetts Institute of technology, 1955 [мимеогр.]; его же, Syntactic structures, 's-Gravenhage, 1957; его же, Three models for the description of language, «I. R. E. transactions on information theory», IT-2, 3, Sept., 1956; его же, On certain formal properties of grammars, «Information and control», II, 1959; его же, On the notion «rule of grammars», «Proceedings of the Symposium of the American mathematical society on the structure of language and its mathematical aspects», XII, 1960; его же, Explanatory models in linguistics, «Proceedings of the International congress for logic, methodology and philosophy of science», Stanford university, 1960; его же, Some methodological remarks on generative grammar, «Word», XVII, 2, 1961; R. B. Lees, The grammar of English nominalizations, [Bloomington], 1960; его же, Что такое трансформация?, ВЯ, 1961, 3.

В интересном и подробном обзоре работ Харриса и Хомского Т. М. Николаева (ВЯ, 1960, 1) трактует понятие трансформации почти исключительно в том смысле, в каком оно было развито Харрисом [в частности, в его «Co-occurence and transformation in linguistic structure» («Language», XXX, 3, 1957)], т. е. как отношение между некоторыми уже существующими высказываниями. При этом она не пытается объяснить понятие «правила грамматической трансформации» как предполагаемый элемент порождающей грамматики — т. е. так, как это развивалось в работах Хомского и в настоящей работе. Эти два понятия, для обозначения которых, к несчастью, используется одно и то же название («трансформации») из-за их одинакового употребления в исследованиях Харриса по анализу речи, абсолютно различны и не должны смешиваться. В других, более поздних ссылках на «трансформации» Т. М. Николаева, к сожалению, допускает смешение специальных правил грамматической трансформации и общих грамматических правил. В том, что предложения могут быть порождены посредством формальных правил деривации, никто не сомневается, но только дальнейшие лингвистические исследования могут показать, обладают ли некоторые из этих правил сверх того трансформационными возможностями.

[4] Этот вопрос совсем недавно был затронут мною в статье «Что такое трансформация?».

грамматический разбор этого предложения в виде иерархии его компонентов, организованных в виде скобок и соответствующим образом обозначенных [5]. Если под теорией предложения, или грамматикой, понимается умение правильно описать все грамматические структуры языка и только эти структуры и в то же самое время умение приписывать автоматически верный НС-анализ каждой порождаемой цепочке, тогда эта теория должна включать в себя некоторое подмножество правил (по всей вероятности — хотя и необязательно — меньшее, чем само множество), которое удовлетворяло бы какому-то общему формальному требованию, обеспечивающему автоматическое правильное, единообразное и универсальное приписывание этой НС-структуры. Иначе говоря, мы хотим, чтобы эти правила были сформулированы таким образом, что благодаря одному их применению всякая перечисленная цепочка была бы правильно разбита на скобки и это осуществлялось бы единообразно для всех порождаемых цепочек [6].

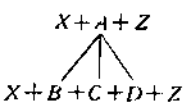
Отсюда нетрудно видеть, какого именно типа правила могут обеспечить правильную формализацию этой идеи разбора по НС или записывания в виде скобок ветвящейся диаграммы или порождаемого дерева, поскольку тот же самый тип внутренней структуры характеризует алгебраические или логические высказывания, а также системы рекурсивной энумерации, формализующие в виде скобок структуру цепочек, связанных причинной связью [7]. По причинам, не относящимся к настоящему исследованию, Хомский показал, что хотя автоматическое устройство с конечным числом состояний и может формализовать скобочную структуру такого

[5] В научной литературе существуют разногласия по поводу того, что следует понимать под термином НС-анализ. Так, например, на основе доводов, представленных Р. Е. Лонгакром [см. его «String constituent analysis» («Language», XXXVI, 1, 1960)], а также Б. Элсоном и В. Пиккетом («Beginning morphology and syntax». Summer Institute of linguistics, Santa Ana, 1960, стр. 35—36), может показаться, что защитники предложенной Пайком «тагмемной» основы лингвистического описания понимают под НС-анализом попарную группировку элементов предложения, а тагмемику считают введением «грамматической функции» в эту модель группировок. Если я понял их правильно, это равносильно добавлению некоторых «ярлыков» к скобочному разбору (и, кроме того, предпочтительному употреблению не-бинарной скобочной записи). Но при традиционном анализе предложения или грамматическом разборе уже имело место подобное наклеивание «ярлыков» при группировке; так, например, английское предложение *Birds sing* не только разбивалось на два элемента, но первый элемент обозначался при этом как субъект, а второй — как предикат, и т. п. Хоккет [см. его «Two models of grammatical description»(«Word», X, 2—3, 1954, стр. 210—234)] не только подчеркивал независимость группировки от порядка и формы элементов, но и пытался также отличить группировку по НС от того, что он называл конструкцией, т. е. (опять-таки если я понял правильно) скобочный анализ без приписанной грамматической структуры от скобочного анализа с обозначенной структурой. В настоящей статье я использую термин «НС-анализ» для репрезентации синтаксической структуры как грамматически обозначенной скобочной структуры линейно расположенных элементов предложения. При этом я и не предполагаю, что подобный грамматический разбор распространяется только на бинарные структуры (или на любые n-структуры для любого n).

[6] Или, иначе говоря: адекватная теория языка должна в числе других своих функций не только дать спецификацию различных форм грамматик, т. е. перечислить все возможные грамматики и все возможные типы предложений, но также и должна давать функцию $Фц\ (i, j)$, которая для всякого предложения $Прд_i$, порождаемого грамматикой $Грм_j$, дает правильное описание той структуры, которую $Грм_j$ приписывает $Прд_i$. Объяснение принятых здесь сокращений см. в нашей статье «Что такое трансформация?». Кроме того, принимаем следующие сокращения: *Грм* — грамматика, *Прд* — предложение, *Скз* — сказуемое, *Пдл* — подлежащее, *Аф* — аффикс, *Медч* — морфема ед. числа, *Аг* — агент, *Фц* — функция.

[7] См.: N. A. Chomsky, Three models...; N. Chomsky, G. A. Miller, Finite state languages, «Information and control», I, 2, 1958; M. O. Rabin, D. Scott, Finite automata and their decision problems, «IBM journal of research and development», 3, 1959; Y. Bar-Hillel, E. Shamir, Finite state languages: formal representations and adequacy problems, «Bull. of the Research council of Israel». Section F. Mathematics and physics, 8F, 3, Febr., 1960; Y. Bar-Hillel, C. Gaifman, E. Shamir, On categorial and phrase-structure grammars, там же, 9F, 1, June, 1960 и др.

рода[8], однако для порождения предложений естественного языка оно не годится, поскольку каждое такое предложение может в принципе содержать бесконечно большое количество элементов, последовательно входящих друг в друга. Однако, если эти ограничения будут ослаблены введением правил типа $XAZ \rightarrow XYZ$ (обозначающих, что A в контексте $X - Z$ расширяется до последовательности Y), тогда НС-структура предложений в естественных языках будет правильно формализована (за некоторыми важными исключениями, о которых будет сказано ниже). Эта формализация состоит в том, что отношение лингвистической «репрезентации» автоматически характеризуется в простой и единообразной форме. Это значит, что для некоторой цепочки на основе порождающих ее грамматических правил (при условии, что в данных правилах составляющая A всякий раз представлена только одним символом) существует простой алгоритм для построения дерева НС. Проще говоря, мы можем сказать, что в пределах правила $XAZ \rightarrow XYZ$ последовательность Y «есть некоторое A», а ответвление этого Y может быть связано с узлом A:



где $Y = B + C + D$.

Поскольку первое правило грамматики имеет вид $\neq Прд \neq \rightarrow X$, все порождаемые предложения связываются с узловой структурой $\neq Прд \neq$ (обозначающей «предложение»), а если существует некоторая подчиненная цепочка, отходящая от узла N, то она «является N»[9].

Рассмотрим в качестве иллюстрации один из случаев несоответствий, которые возникают при таком способе формализации структуры предложения, а именно: какого типа конъюнкции порождаются грамматикой НС? Согласно определению, конъюнкция есть такая последовательность элементов, в которой все НС, следующие друг за другом, являются ответвлениями от одного и того же узла (и в некотором, пока еще не определенном значении, все эти элементы имеют одну и ту же «внутреннюю» структуру НС). Как уже отмечалось [10], традиционный анализ по НС всегда дает неправильный грамматический анализ конъюнкции, поскольку он неизбежно создает иерархический порядок с последовательными компонентами внутри предыдущих (отсчитывая их вправо или влево — в зависимости от типа выбранного анализа), а не равноправные, рядом стоящие элементы. Рассмотрим, какого типа правила при заданном виде $XAZ \rightarrow XYZ$ будут универсальным образом порождать конъюнкции любой требуемой длины [11], после чего заметим, какие НС-структуры будут ими неизбежно приписываться, согласно нашим условиям, для порождения деревьев по этим правилам (как это требуется и в других, не связанных с этим, случаях анализа по НС). Например, предположим, что нами выбраны правила следующего типа:

(1) $Прд \rightarrow A$
(2) $A \rightarrow A + Прд$

---

[8] Или формализовать ее точные эквиваленты — сеть нервных клеток, ориентированный граф или же грамматику, состоящую из правил типа $A \rightarrow Bn$ или $A \rightarrow m$ (где A, B суть неконечные последовательности, n, m — конечные последовательности, а A — единственный символ) (см. N. A. Chomsky, G. A. Miller, указ. соч.).

[9] В настоящей работе не будут подвергаться обсуждению практические причины, по которым нельзя ввести ограничения для каждого правила $XAZ \rightarrow XYZ$; согласно этим правилам, из двух цепочек X и Z по крайней мере одна должна свестись к нулю. См. по этому поводу: N. Chomsky, On certain formal properties of grammar.

[10] См., например: R. E. Longacre, String constituent analysis, «Language», XXXVI, 1, 1960.

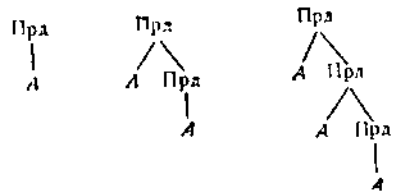
[11] Эта грамматика должна быть итеративной в любом случае — не только для конъюнкций, но и для предложений в целом, поскольку самого длинного предложения не существует.

Посредством повторного применения этих двух правил в последовательности 1—2—2—2—...—2—1 могут порождаться по желанию цепочки типа:

(3) A
$A + A$
$A + A + A$

Однако заметим, что НС-структура этих цепочек дается деревьями:

(4)



Это значит, что они имеют следующий вид анализа по НС:

(5) (A)
$(A\,(A))$
$(A(A(A)))$

Однако те структуры, которые мы хотели бы получить, имеют вид:

(6) (A)
$(A)\,(A)$
$(A)(A)(A)$[12]
... ...

Единственный путь получить именно такую скобочную запись для всех конъюнкций любой длины — это иметь отдельное правило для каждой длины, т. е. практически иметь грамматику с бесконечным числом правил.

Здесь часто выдвигается довольно очевидное требование ввести род «счетчика» в автомат, порождающий предложения, употребив для этого правило типа:

(7) $Прд \rightarrow A^n$,

где n означает «повторение составляющей A n раз», дающее цепочки типа (3): A, $A + A$, $A + A + A$,... Однако в таком случае мы должны добавить к нашей теории языка новое правило интерпретации НС-анализа для цепочек типа (6): (A), $(A)(A)$, $(A)(A)(A)$, ..., поскольку правило интерпретации, используемое обычно, в данном случае неприменимо. В целом и этот способ не является о б щ и м решением проблемы, так как он пригоден только для конъюнкций с идентичными составляющими и совершенно непригоден для многих других случаев простых распространенных НС-структур, для которых обычный НС-анализ неправильно выводит иерархию подчинения. Например, в случае простых вопросов типа:

(8) *Has John eaten*?,
(9) *Will John eat*?,

которые, как мы это интуитивно чувствуем, имеют идентичные соподчиненные элементы, правила НС приписывают или иерархическую организацию скобок, противоречащую обычной интуиции, как, например:

(10) (*Has*) (*John* (*eat*) (*en*)),

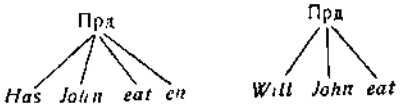
[12] Ф. Хауахолдер в частной беседе указал, что для порождения конъюнкций можно было бы принять правила типа $Прд \rightarrow A$, $A \rightarrow A + A$ и т. д., утверждая, что те символы, которые находятся по правую сторону формул, могут быть интерпретированы как новые символы, не идентичные тем A, которые находятся на левой стороне. (Если принять, что одно из правых A идентично исходному левому A, эта деривация смогла бы представлять ту же иерархическую структуру составляющих, как и при правилах 1 и 2.) Но в таком случае данное правило есть двусмысленный знаковый вариант правила $A \rightarrow B + B$, и для таких вариантов иерархический уровень деривации для B несомненно будет располагаться на дереве ниже, чем уровень для A, и таким образом мы снова будем иметь подчиненную структуру вместо сочиненной.

или такую:

(11) (*Has John*) (*eat en*) и т. п.

Для того чтобы построить правильные НС-деревья, такие предложения должны быть подвергнуты анализу по НС ad hoc индивидуально:

(12)



Таким образом, добавление «счетчиков» (показателей степеней для повторяемых составляющих) не обеспечивает верного направления использования грамматики непосредственно составляющих [13]. Решать проблемы такого рода, наряду с прочим, предназначена именно трансформационная грамматика. По правилам трансформации, из подчиненных НС-деревьев порождаются новые деревья, а дополнительные общие условия, требуемые при таком порождении, весьма просты: а) замещающая конструкция имеет ту же самую НС-структуру, что и заменяемая, а также: б) если какое-либо ответвление от дерева бывает при подстановке разорвано, оно присоединяется к новому дереву в ближайшем узле более высокого уровня. Последнее общее условие дает желаемый результат, а именно: по мере все большей и большей «трансформации» предложения получается все большее «стирание» иерархической структуры предложения; в результате для сложных предложений получается правильный, простой «анализ составляющих цепочек» (если использовать термин Лонгакра). Например, в английском языке (по разным формальным причинам) вопросительные предложения порождаются следующим образом [14]:

Правила НС:

(13) 1) $Прд \rightarrow Пдл + Скв$
2) $Скв \rightarrow Гвсп + Ггл$
3) $Гвсп \rightarrow Мвр \begin{Bmatrix} will \\ have + en \end{Bmatrix}$
4) $Пдл \rightarrow John$
5) $Ггл \rightarrow eat$
6) $Мвр \rightarrow Медч$

Трансформация вопроса:

(14) $Пдл + Мвр \begin{bmatrix} will \\ have \end{bmatrix} X \rightarrow Мвр \begin{bmatrix} will \\ have \end{bmatrix} Пдл + X$

Обязательная трансформация (МФ):

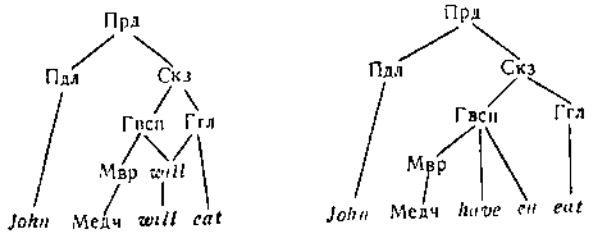
(15) $Аф + Г \rightarrow Г + Аф$ (где $Аф = en$, $Медч$, . . . и $Гвсп = will$, $have$, $Ггл$, . . .)

[13] М. П. Шутценбергер в своей неопубликованной работе показал, что порождающие устройства с конечным числом состояний (по Маркову) и с конечным множеством бесконечных счетчиков не могут порождать так называемый «язык зеркального отображения», в котором каждое из предложений имеет форму XX', где X есть некоторая произвольная цепочка неких a и b, а X' — та же цепочка с обратным порядком элементов. Поскольку такой язык порождается грамматикой, не ограниченной контекстом, последняя не эквивалентна грамматике счетчиков. Однако еще неизвестно, может ли эта не ограниченная контекстом грамматика породить язык со счетчиками (см., в частности, N. A. Chomsky, On certain formal properties). Проблема, затрагиваемая в настоящей статье, более сложна с другой точки зрения, поскольку существует концепция, согласно которой трансформационная грамматика в целом может быть переформулирована как грамматика НС с ограниченным контекстом, обладающая конечным числом счетчиков. В таком случае было бы возможно ввести обозначения неграмматических формативов для указания связи между конъюнктами. Эта идея не была еще должным образом изучена. Такое переформулирование грамматики, если оно возможно, основывалось бы на эмпирических фактах языка, а не на формальных характеристиках ТГ и ограниченной контекстом грамматики НС со счетчиками, поскольку последняя является разрешимой (по тем же причинам грамматика без счетчиков первого типа, по Хомскому, также разрешима), в то время как ТГ — не разрешима.

[14] В целях наглядности мы здесь упрощаем изложение, вводя правила, сходные с теми, которые описываются в нашей работе «The grammar...» [см. особенно правила (1), (2), (37) — (39), (41), (T4), (T16*) и (T36*)].

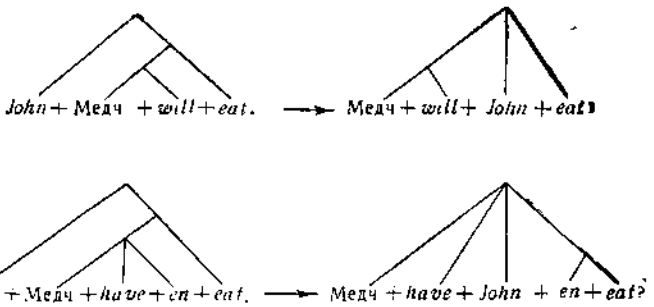
Деривации

Ядерные структуры:



[по правилам: (13) — 1, кончая (13) — 6].

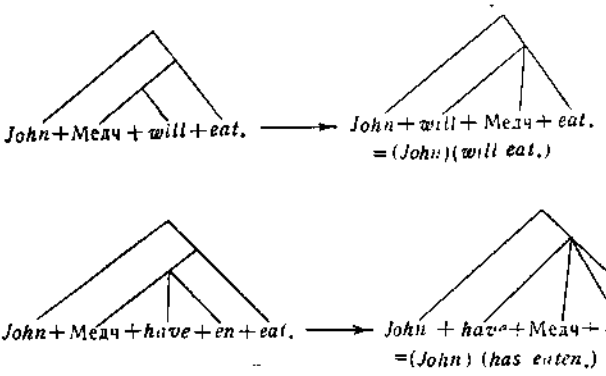
Трансформация вопроса.



[по правилу (14)].

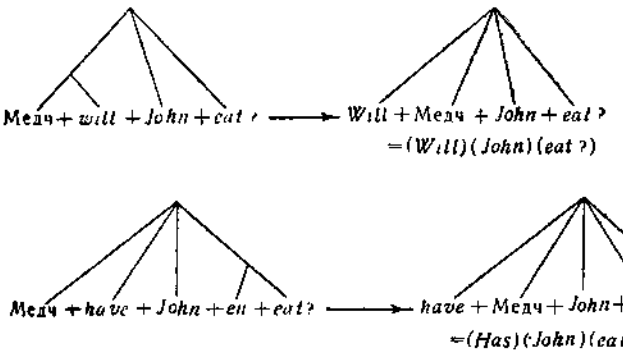
МФ трансформации (обязательные)

Утверждения:



[по правилу (15) производятся операции над конечными последовательностями ядерных структур].

Вопросительные структуры:



(конечные цепочки вопросительных предложений в соответствии с правилом 15).

При использовании тех же самых общих условий могут сходным образом быть сформулированы и конъюнкции (снова с некоторыми упрощениями деталей):

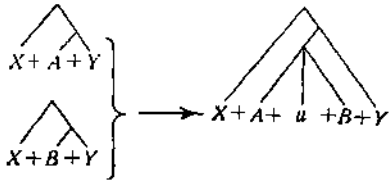
(16) Правило конъюнкции: $\left.\begin{matrix} X+A+Y \\ X+B+Y \end{matrix}\right\} \rightarrow X+A+\text{и}+B+Y$

Предположим теперь, что в некотором специфическом случае последовательность $X+A+Y$ имеет следующую НС-структуру:

(17)

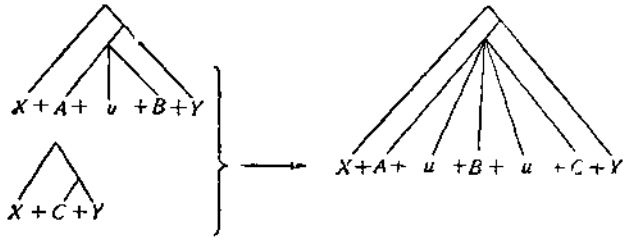
такую же структуру НС должна иметь также и последовательность $X+B+Y$, (чтобы можно было применить правило конъюнкции). Тогда порождаемая конъюнкция будет иметь следующий вид:

(18)



Наконец, при добавлении третьего конъюнкта (разумеется, с той же НС-структурой) мы получим:

(19)



Таким образом, мы видим, что все конъюнкции любой длины получают требуемую сочиненную структуру вместо подчиненной, обычно получаемой при грамматике НС; достигается это посредством тех же самых общих универсальных условий для порождаемой НС-структуры, которые дают правильные результаты при скобочном анализе вопросительных предложений, так же как и всех других известных нам типов предложений.

Уже было отмечено (и не только Лембом [15]), что некоторые трансформации, происходящие от единственного источника, например трансформация пассива в английском языке, являются в известном отношении ad hoc, так как они приписывают предложениям определенные НС-структуры произвольно, без применения общих правил для подчиненных им НС-деревьев. Так, например, при трансформации пассива прежний субъект превращается в «агента» внутри предложной конструкции с предлогом *by*, однако при этом далеко не ясно ни то, как автоматически приписать

[15] См. его работу «The strata of linguistic structure» [«Annual Meeting of the Linguistic society of America», Hartford (Conn.), 1960].

такую НС-структуру (т. е. «предложную конструкцию»), ни то, как эта предложная конструкция связана с остальной частью предложения в пассиве. Лемб предположил, что эта конструкция с *by* тождественна конструкции, получаемой при номинализации *the shooting of the tigers* ***by the hunters*** (а может быть, и другим каким-либо конструкциям). Эта оценка фактов, касающихся английского языка, равносильна обобщению для некоторых предложных конструкций в английском языке, однако в целом она нисколько не противоречит трансформационной модели языковой структуры. Если принять эту точку зрения, нужно только слегка переформулировать трансформацию пассива:

(20) *Пдл* + *Гвсп* + *Ггл* + *Добъ* → *Добъ* + *Гвсп* + *be* + *en* + *Ггл* + *Аг* + *Пдл*,

где категория агента (*Аг*) при последующем применении морфофонематических (*МФ*) правил становится предложным компонентом *by*, либо какой-нибудь другой морфемой (скажем, морфемой *of*), либо даже последовательностью морфем в других конструкциях [16]. Заметим, однако, что идея использовать форматив категории агента в пассивных предложениях не дает нам возможности отказаться от применения грамматической трансформации при порождении пассивных конструкций. Конструкции с *by* приписывается структура составляющих путем обычного применения правил экспансии; однако при этом объект, входящий в конструкцию с *by*, должен получиться путем подстановки от прежнего субъекта, расширять же новый компонент в именительном падеже нельзя, иначе форматив «агента» может произвести неграмматические конструкции типа:

John noticed the cheese (*Passive*)
The cheese was noticed + *Аг*
**The cheese was noticed by velocities*

Иначе говоря, единственный возможный путь переформулировать трансформацию пассива — это допустить факультативный выбор в грамматике составляющих «пассивного» форматива в случае, если мы имеем дело с предложениями с любым переходным глаголом; этот форматив представляется в виде конструкции, состоящей из части вспомогательного глагола и части агентивной. Затем далее в результате применения обязательной грамматической трансформации вспомогательная часть представляется в виде конструкции *be* + *en*, примыкающей к обычным связочным

[16] Терминологическое различие между морфемой и «гиперморфемой», которое вводит в этой связи Лемб, так же как и внимание, концентрируемое им на специфике разных типов отношений [класс — член, единство — вариант («эма» — «алло...»), конструкция — составляющая и т. д.], могут быть очень полезны тем ученым, чьи идеи относительно грамматической структуры до сих пор еще определяются тенденцией к поиску алгоритма для сегментации и классификации элементов предложения, преобладавшей в последней четверти века. Но для интересующего нас вопроса, а именно вопроса о том, как лучше сформулировать теорию, объясняющую большую моделирующую способность носителя языка, его понимание «хорошей» формы предложения, его понимание синтаксической формы, эта постановка вопроса не добавляет ничего нового. Между прочим упоминавшиеся выше различия были уже по большей части описаны В. Е. Тводлом в 1935 г. в его классической монографии «Об определении фонемы».

До настоящего времени мне неясно, в какой степени упрощается грамматика английского языка, если все предложения или по крайней мере предложения с переходным глаголом рассматривать как содержащие грамматическую категорию «агента» [которая в обычной утвердительной фразе в активе манифестируется нулем, в пассивных предложениях манифестируется конструкцией с *by* (см. нашу работу «The grammar...», правило T70*), в иных случаях — конструкцией с *of* и т. д.]. Грамматическое соотношение между «агентом» после *by* в производном предложении и соответствующим субъектом задается фразовой структурой выражения с «агентом», которое показатель T (или трансформационная история) производимого предложения возводит к соответствующему субъекту. При так называемой «гиперморфеме агента» упомянутые выше конструкции с *by* и *of* используются просто как примеры одной и той же категории. Это возможная точка зрения на английский синтаксис, которая может быть проверена только сопоставлением двух грамматик, из которых одна содержит это эмпирическое обобщение, а другая (как в нашей указанной выше работе) рассматривает конструкции с *by* в индивидуальном порядке.

элементам всего предложения. Агентивная часть становится наречной конструкцией с *by*, в которой объект является прежним субъектом, а новый субъект в предложении — это прежний объект при переходном глаголе. Поскольку все эти операции в принципе могут быть выполнены посредством грамматики фразовых структур, ограниченных контекстом, грамматика такого типа несомненно окажется сложной.

В заключение мы должны сказать, что нам представляются иллюзией попытки тех, кто старается доказать, что результаты, получаемые трансформационными правилами ТГ (в какой бы форме они ни были представлены), могут быть достигнуты при помощи более или менее сложного ряда НС-правил расширения. При этом можно не отказываться от одного — или даже больше чем одного — из тех важных требований, которые вначале привели к идее грамматических трансформаций. До сих пор, насколько мне известно, никто еще не предложил приемлемой системы, могущей действительно заменить ТГ. Однако нет сомнения, что ТГ в том виде, в котором она теперь сформулирована, неправильна; причины этого хорошо известны тем, кто считает ТГ в настоящее время возможной моделью языка. При этом небезынтересно заметить, что один из известных недостатков ТГ находится внутри НС компонента, а не внутри трансформационного компонента грамматики (как это часто утверждают критики ТГ) [17]. Как только кто-нибудь сформулирует новую модель грамматик, отвечающую всем требованиям, которым в настоящее время удовлетворяет только ТГ, сторонники последней первыми признают преимущество лучшей модели.

Перевела с английского *Т. М. Николаева*

---

[17] Этот упоминаемый Хомским недостаток (см. его «On certain formal properties», стр. 148) просто состоит в том, что НС-грамматика с правилами, ограниченными контекстом (согласно его классификации, грамматика первого типа), допускает деривацию перестановок (например, типа $AB \Rightarrow BA$), поскольку лемма I (доказанная Н. А. Хомским на стр. 144–145) читается так: «Предположим, что *Грм* есть грамматика первого типа, а X, B суть частные цепочки от *Грм*. Пусть *Грм'* есть грамматика, образованная добавлением $XB \rightarrow BX$ к *Грм*. Тогда существует грамматика первого типа *Грм**, эквивалентная *Грм'*». Это означает, что если грамматика некоторого естественного языка есть грамматика первого типа, то в этом случае не существует никакой формальной причины, препятствующей порождению посредством перестановок многих новых типов предложений. Однако это, в свою очередь, означает, что при предполагаемой интерпретации производных, согласно этой грамматике, могут приписываться структуры составляющих, которые сильно противоречат интуиции. Например, если считать английское предложение *Can birds sing?* порожденным посредством перестановки из *Birds can sing*, то дерево НС, приписанное в результате деривации порожденной последовательности, покажет, что *can* выведено из существительного *Birds* (поскольку внутри дерева оно соответствует *birds*), а *birds* есть модальная вспомогательная связка. Для многих случаев кажется существенно необходимым расширить грамматики НС посредством разрешения использовать контекстные ограничения правил, т. е. используя правила типа $XAZ \rightarrow XYZ$ (в которых X и Z не могут быть оба сведены к нулю). Однако это расширение еще не было точно сформулировано, поскольку добавление контекстных ограничений правил само по себе, к сожалению, неизбежно связано с разрешением перестановок в деривациях, что является нежелательным.

Возможное решение этой проблемы см.: R. J. Parikh, Language generating devices, «Research Laboratory of electronics [of the Massachussets Institute of technology]. Quarterly progress report», Sec. XXI — Linguistics, 1961, стр. 199—212. Наряду с прочими интересными результатами Р. Парих показывает, что внутри грамматики первого типа (по Хомскому) существует некоторое самостоятельное множество правил, среди которых нет правил типа $XAZ \rightarrow XBZ$, где A и B — единичные неконечные формативы. Это множество включает собственно грамматику второго типа и не позволяет осуществлять подстановки.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

Б. А. УСПЕНСКИЙ

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ

(Структура языка-эталона при типологической классификации языков)

Типологические методы на современном этапе обычно страдают от некоординированности исследований, от отсутствия связующей идеи или общей направленности описания типологического инвентаря. Отсюда — несоответствие в терминологии и в принципах описания различных явлений или уровней. Необходим конкретный критерий оценки. Идея инвариантности лежит в основе всякого сравнения языков (как и вообще в основе всякого сопоставления). Нужен некоторый язык-эталон (метаязык [1]), от которого отталкиваются при описании разных языков. Все типологические классификации более или менее интуитивно строились относительно некоего подразумеваемого языка (предполагаемой «нормы»). Однако этот язык точно не постулировался; можно показать, что этим в большой степени объясняются недостатки существующих классификаций. Присутствие метаязыка неизбежно при сравнительном анализе; он всегда используется, но обычно расплывчато. Четкое его выделение способствует успеху анализа.

Вообще в качестве метаязыка может быть использован любой язык. Это и делается обычно в учебниках иностранных языков, когда при описании иностранного языка в качестве эталона используется родной язык учащегося, или при описании диалектов, когда диалекты описываются как отклонения от литературного языка; нередко это наблюдается и при описании неизвестных языков, если эталоном служит язык исследователя (но если исследователь обладает знанием языков разных систем, эталон-метаязык меняется). Очевидно, это не самый удачный, хотя и достаточно последовательный способ описания языка. Иногда метаязык строится специально как некоторая система символов, удобная для того, чтобы описать объект с той или иной точки зрения. При этом объектом описания могут быть самые разные уровни и аспекты языка. Так, дифференциальные признаки Р. О. Якобсона можно рассматривать как метаязык для фонологии, семантические поля и семантические множители — как метаязык для лексики. Язык-посредник представляет метаязык перевода. Праязык все чаще понимается как метаязык, т. е. чисто логическая система, вопрос о реальности которой не ставится.

Типологическую классификацию можно построить, определив язык-эталон (метаязык) и трансформации перехода от метаязыка к конкретным языкам и обратно (для разных уровней). В настоящей статье подобная задача ставится для грамматического уровня. Структура языка-эталона (метаструктура) определяется в уточненных терминах традиционной морфологической классификации; языки различаются по степени близости к языку-эталону — т. е. по числу трансформаций перехода от языка-эталона к данному языку (трансформации описываются). При этом делается попытка показать структурное соотношение разных типов языков путем внутриязыковых операций.

[1] Термин «метаязык» заимствован, по-видимому, в лингвистике из логики (работы Р. Карнапа). Приставка «мета-» употребляется для обозначения языка или теории, в символах которых описывается другой язык или теория.

Явления языка рассматриваются на эмическом уровне (по терминологии К. Пайка) — т. е. предполагается предварительное осуществление дистрибутивного анализа, восстановление и дополнение случаев эллипсиса, замена семантически и статистически выделяющихся слов аномальной структуры их структурными эквивалентами.

0. Система терминов и допущений

Принимается, что мы обладаем некоторой информацией о сравниваемых языках; эта информация может быть описана через введение нижеследующих понятий.

0.1. Грамматическая правильность[2]. Считается, что, зная язык, мы всегда можем определить, правильно или нет данное предложение грамматически (ср. эксперимент Л. В. Щербы с «глокой куздрой»). При этом разрешаются любые семантические аномалии; тем самым обеспечивается право и возможность абсолютной субституции. В самом деле, мы можем рассматривать систему языка как бесконечное количество возможных сочетаний, на которые наложены некоторые ограничивающие правила, из данного числа элементов. Мы можем различать слой семантических, стилистических, грамматических и других ограничений. Для решения вопроса о грамматике языка целесообразно устранить все ограничения, кроме грамматических.

0.2. Элемент. Предложение любого языка можно разбить на элементы. Под элементом понимается минимальная продуктивная морфема (или минимальное и продуктивное несвободное сочетание морфем). Минимальная — т. е. не членимая на элементы. Продуктивная — т. е. обладающая свободой вхождения в различные структурные сочетания. Если сочетаемость какой-нибудь морфемы нельзя определить перечислением отдельных морфем [3], она считается продуктивной (например, англ. *good*, *-ly*). Если имеются два элемента, из которых один составляет часть другого (например, *plentiful* и *plenty*), то остаток, получаемый в результате вычитания (*-ful*), оказывается непродуктивной морфемой [4].

0.2.1. Из числа элементов можно выделить служебные. Тогда элементы разных языков делятся на две группы: группа I (корневые): элементы, которые нельзя задать списком; группа II (служебные): элементы, которые можно задать списком; по признаку взаимозаменяемости последние могут распадаться в языке на классы — тогда говорится, что они выражают какую-то категорию (например, класс элементов, выражающих категорию числа). Пример служебных элементов: флексия *-а* в русском *стол-а*, огласовка и структура породы в арабском *yakūnu*, элемент редупликации в индонезийском *orang-orang* и т. д.

Таким образом, служебные элементы маркированы в языке. Различение корневых и служебных элементов определяется задачей выгодного описания языка и в общем может быть сведено к лексикографическому: описание языка состоит из словаря и грамматики (которая указывает, как составить предложения из элементов, названных в словаре); при экономичном описании в словарь включаются только корневые элементы, служебные выносятся в грамматику.

0.2.1.1. Служебные элементы разделяются на обязательные и факультативные.

Факультативными называются служебные элементы, которые всегда могут быть устранены из предложения (вместе со связанными с ними структурными изменениями) без нарушения его грамматической правильности. Например: элементы, выражающие пол и интенсивность действия в анг-

[2] Ср. понятие «отмеченности» в математической лингвистике (которое также вводится аксиоматически).

[3] Сочетаемость продуктивной морфемы определяется классами (классом корневых морфем и классами слов), которые нельзя задать списком (см. 0.2.1 и 0.4.1).

[4] Это доказывается от противного.

лийском; уменьшительность в русском; число в японском и индонезийском; все категории в аморфных языках; падеж (направительный и объектный) в древнееврейском; конативность, интенсивность, декларативность, рефлексивность и т. д. в семитских; рефлексивность в русском; пассивность, взаимность, рефлексивность и различные виды модальности в турецком [5].

Нефакультативные служебные элементы назовем обязательными. В дальнейшем в первую очередь будут рассматриваться обязательные служебные элементы; в то же время всегда остается возможность указания на вставку факультативных элементов [6]. Классы обязательных служебных элементов выражают какие-то необходимые категории — т. е. информацию, которая обязательно присутствует в предложениях языка.

0.3. Эквивалентность. Два элемента (сочетания элементов) эквивалентны, если их взаимная замена возможна в любых условиях и не нарушает грамматической правильности предложения. Различается эквивалентность на уровне конкретных элементов и на уровне классов. Утверждается, что при знании языка правила эквивалентности и их сочетаний для этого языка известны; на основании этих правил можно производить соответствующие операции, в частности операции субституции, свертывания и развертывания [7]. Например, формула $N \leftrightarrow AN$ означает, что в данном языке существительное может быть определено сколь угодно большим количеством прилагательных, и наоборот: сочетание существительного с прилагательным может быть свернуто до существительного. Зная какое-нибудь предложение языка и правила эквивалентности, можно образовывать различные сочетания неограниченной длины, всякий раз утверждая, что в речи можно образовать хотя бы одно предложение, построенное по полученной формуле. Так можно образовать большинство предложений, в принципе возможных в данном языке.

Часть предложений образуется при помощи грамматической трансформации (т. е. одностороннего преобразования предложений). Так образуются предложения с инверсией, эллипсисом, гипотаксисом и т. д. Такие предложения здесь специально не рассматриваются (предполагается, что их рассмотрение менее существенно для анализа структуры языка).

0.4. Слово. Если обозначить класс корневых элементов через X, а классы служебных элементов через n, m..., можно структуру каждого предложения языка представить в виде последовательности этих символов (вообще структура — слова, фразы и т. д. — определяется как последовательность классов элементов). При этом всегда может быть указана функция элементов (сочетаний элементов), т. е. определено, к чему они относятся (что определяют) в предложении [8].

Определим слово как последовательность корневого элемента и отно-

[5] Разницу между предлогом и омонимичным ему наречием в английском языке (типа: *I looked at him* и *He was looked at*) можно представить как разницу между обязательным и факультативным употреблением одних и тех же элементов. Факультативный элемент получает ударение, поскольку (в отличие от обязательного) он несет информацию, которая не явствует из остальных элементов предложения.

[6] Можно показать, что нулевой элемент (значимое отсутствие элемента) может выделяться только среди обязательных служебных элементов (только если категория необходимо присутствует в языке, само отсутствие элемента, ее выражающего, специфицирует ее значение, и обратно: отсутствие элемента лишь тогда значимо, когда предполагается, что категория, им обозначаемая, должна быть обязательно выражена).

[7] При этом последовательное свертывание представляет собой «грамматическое понимание» (т. е. понимание функции элементов на грамматическом уровне). Возможность разного понимания определяется возможностью применить разный порядок свертывания. Так, если говорится, что какая-нибудь структура многозначна,— это значит, что над ней могут быть произведены разные по порядку операции. При этом для многозначных структур удается обычно найти в речи хоть одно предложение, которое может быть по-разному понято [например, предложение *He gave up smoking* (структура *NVVing*) может быть понято двояко от того, относят ли (и соответственно свертывают) *smoking* к *gave* или к *he*].

[8] См. J. H. Greenberg, Essays in linguistics, Chicago, [1957], стр. 14.

сящихся к нему служебных элементов в предложении (т. е. как структуру типа Xn). Примеры слов: *стола*, *столом*, *к столу*, *have liked*. Слова некоторых языков могут быть распространены как факультативными служебными, так и корневыми элементами (например, англ. *stone wall*, образования инкорпорирующих языков). Выделение слова применимо при описании многих, но не всех языков (так как в предлагаемом определении оно присутствует не во всех языках). Понятие слова удобно, в частности, потому, что при коммутации становится возможным заменять целый комплекс элементов на другой (а не по частям).

0.4.1. Слова в языке группируются по признаку эквивалентности. Структура Xn слова a и любого слова b, эквивалентного a (а если a и b имеют разные структуры, то несколько структур: Xn, Xm и т. д.), определяет состав класса слов, которые могут образовываться по этой структуре (путем подстановки возможных значений X, которые, по определению, бесконечны, и всех возможных значений класса служебных элементов n). Иначе говоря, если имеется грамматически правильное предложение, в которое входит структура Xn, и известно, что Xn и Xm эквивалентны (т. е. принадлежат одному классу слов), утверждается, что всегда найдется слово структуры Xm, которое можно подставить вместо Xn так, чтобы предложение осталось грамматически правильным. Таким образом произойдет разбиение на классы (поскольку отношение эквивалентности транзитивно, рефлексивно и симметрично)[9]. Классы в общем соответствуют частям речи [10].

0.4.1.1. Подклассом класса A назовем множество слов A^1 такое, что слово из A^1 всегда может быть заменено на слово из A в грамматически правильном предложении, но не наоборот ($A^1 \rightarrow A$). Например, если мы выделим класс существительных N и класс прилагательных A, то местоимения и числительные распадутся на подклассы классов N и A. При дальнейшем анализе в языке будут выделяться только классы и не будет рассматриваться специфика подклассов (подклассы легко задать путем ограничивающих правил).

0.4.2. В каждом классе выражена его функция: если бы в каких-нибудь двух классах она не была выражена (или выражалась бы одинаково), эти классы совпали бы. Таким образом, функция слова определяется классом, к которому оно принадлежит (поскольку эквивалентные сочетания элементов обладают одинаковой функцией). Она выражается посредством служебных элементов (поскольку корневые элементы слов не различаются на грамматическом уровне). Функция слова (принадлежность слова к тому или иному классу) может быть выражена при помощи класса взаимозаменяемых служебных элементов, образующих какую-то необходимую категорию (присущую данному классу слов в отличие от других, например, категории числа, рода в русском языке), или при помощи специальных служебных элементов (например, элементов, образующих функцию наречия, суффиксов nomina agentis и т. д.) — на грамматическом уровне эти элементы не несут иной информации, кроме выражения функции слова. Функция класса описывается через правила эквивалентности. Кроме того, указывается возможное распространение класса факультативными элементами [11].

---

[9] См. П. С. Александров, Введение в теорию групп, 2-е изд., М., 1951, стр. 120—122.

[10] Ср. выделение «типов» в теоретико-множественной концепции языка (О. С. Кулагина, Об одном способе определения грамматических понятий на базе теории множеств, «Проблемы кибернетики», 1, М., 1958).

[11] Корневые элементы и классы слов обозначаются прописными буквами: X — класс корней (в слове или отдельно), N — существительное, A — прилагательное, V — глагол, Adv — наречие. Служебные элементы записываются в их конкретном виде (*a-*, *the-*, *bi-*, *e-* и т. д.) или строчными буквами при обозначении класса (p — предлоги; α — союзы; n, m — какой-то класс служебных элементов). Знак эквивалентности $\leftrightarrow$; знак грамматической трансформации $\rightarrow$.

Уточнение понятий традиционной морфологической классификации языков

1. Предварительные замечания

Основным недостатком традиционной морфологической классификации является нечеткость терминологии и отсутствие разграничения критериев классификации (стремление классифицировать одновременно по нескольким критериям и совмещать в одном термине несколько значений). В частности, не определенными остаются такие понятия, как «слово», «предлог» («послелог»), «аффикс» (не всегда очевидно их различие), «инкорпорация». Результатом является возможность разного определения одних и тех же языков. Например, могут смешиваться инкорпорирующие и агглютинирующие языки [12], инкорпорирующие и аморфные языки [13], флективные и агглютинативные языки [14], агглютинативные и аморфные языки [15] и т. д.

Вместе с тем традиционная морфологическая классификация имеет рациональное зерно. Введя точную терминологию (как это сделал Сепир) и заменив ее согласно некоторым указанным выше принципам, можно получить надежный способ описания и деления языков, исходя из их структуры. В основу дальнейшего рассуждения кладется предположение о том, что в разных языках разными способами выражаются некоторые инвариантные отношения. В одних языках они выражаются каким-либо одним способом, например порядком слов. В других языках — многими (например, порядком слов, аффиксами, предлогами, сочетанием аффиксов и предлогов и т. д.). Если бы удалось все многообразие способов свести к какому-нибудь одному (например, порядку слов), был бы решен вопрос о метаязыке как основе классификации языков. Это является задачей настоящей работы; для ее выполнения необходимо предварительно доказать основное исходное положение путем разбора элементов.

2. Классификация элементов

2.1. Предложения разных языков предстают как определенные последовательности классов элементов I (корневых) и II (служебных). Элементы I и II как-то сочетаются друг с другом. При этом по определению элементы I сочетаются с конкретным списком элементов II, а элементы II могут сочетаться с любым элементом класса корневых элементов. Таким образом, элементы II маркированы и образуют необходимое грамматическое оформление фразы в языке.

2.2. Элементы разных языков будут сравниваться по их функции, т. е. по критерию: «что они определяют?», или «к чему они относятся?», или «с чем они сочетаются?» (эти выражения принимаются за синонимичные).

---

[12] Так, алеутский язык рассматривался как инкорпорирующий и как агглютинативный (ср.: В. И. Иохельсон, Унанганский (алеутский) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.— Л., 1934; Г. А. Меновщиков, Эскимосско-алеутские языки, сб. «Младописьменные языки народов СССР», М.— Л., 1959). То же с эскимосским языком.

[13] См. В. З. Панфилов, К вопросу об инкорпорировании (ВЯ, 1954, 6), где автор отождествляет инкорпорацию и примыкание. В то же время явления аморфных языков иногда рассматриваются как инкорпорации (см. А. И. Иванов, Е. Д. Поливанов, Грамматика современного китайского языка, М., 1930, стр. 240—263).

[14] Е. Д. Поливанов трактовал агглютинативные языки как аналитические (см. его работы: «Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком», Ташкент, 1933, стр. 51—52; «Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам», ч. I, Ташкент — Самарканд, 1935, стр. 42—43).

[15] Так, А. Соммерфельдт считает, что в языке аранта (который обычно относят к агглютинативным языкам) не различаются части речи, и говорит о самостоятельном значении суффиксов этого языка (см. A. Sommerfelt, La langue et la société, Oslo, 1938, стр. 75, 109, 187).

2.2.1. Элементы II распадаются на две взаимоисключающие группы:

Группа II1: сюда входят элементы, которых достаточно для оформления какого-нибудь слова, но недостаточно для оформления любого сочетания, эквивалентного этому слову. Например: а) элементы, определяющие корни: *стол-а* ↔ *больш-ого стол-а* ↔ *стол-а* и *стул-а* и т. д.; б) элементы, определяющие слова: *ех-ал-а* ↔ *хорош-о ех-ал-а*↔ *ех-ал-а* и *чит-ал-а* и т. д.

В примерах элемент *-а* определяет не больше, чем корень (слово), к которому он относится (но не определяет всего сочетания, принятого за эквивалентное); другие слова также оформлены элементом II1. Таким образом, этот случай выражается структурой $Zn \leftrightarrow Z_1n_1Zn \leftrightarrow Z_2n_2\ \alpha\ Zn...$, где n — элемент II1, а Z может быть корнем или словом (сочетанием корневого и служебного элемента).

Группа II2: сюда входят элементы, которые оформляют какое-нибудь слово или любое эквивалентное ему сочетание. Например: а) элементы, определяющие корни:

чукот. *ны-лкыт-кинэт* ⟷ *ны-йык-ы-лкыт-кинэт* ⟷ *ны-гытг-ы-йык-ы-лкыт-кинэт* и т. д.;
ходят — быстро ходят — озеро быстро ходят (т. е. к озеру)

б) элементы, определяющие слова:

на стол-е ⟷ *на хорош-ем стол-е* ⟷ *на стол-е* и *стул-е* и т. д.

В обоих случаях подчеркнутый элемент II2 (чукотский конфикс *ны-кинэт* со значением 3-го лица мн. числа II наст. времени и русский предлог *на*) вводит корень (или оформленный корень,— т. е. слово), который может быть расширен за счет эквивалентных сочетаний. Существенно, что элемент II2 при этом не должен обязательно повторяться и определяет всю группу [16]. Таким образом, этот случай выражается структурой $Zn \leftrightarrow ZZn \leftrightarrow ZZZn...$, где n — элемент II2, а Z может быть корнем или словом.

Заметим, что для того чтобы отнести служебный элемент n к группе II1, достаточно доказать, что n не есть элемент II2. Напротив, чтобы оценить служебный элемент n как II2, надо проверить его на всех правилах эквивалентности, данных для языка (так, элемент *-а* в русском *стол-а* может определять сочетание *стол-а учителя*, которое эквивалентно *стол-а*; однако из этого еще не следует, что *-а* — элемент II2).

К элементам II2, в частности, относятся: а) английский артикль [он может определять не только N, но и любое сочетание $X \leftrightarrow N$; так, если верно *a N* (*a choice*) и известно, что $AN \leftrightarrow N$, то можно образовать сочетание *a AN* (*a happy choice*)], а также артикли многих других языков, но не всех; так, арабский артикль принадлежит к группе II1 —он обязательно повторяется при распространении N в эквивалентное NN (при согласовании — ср. араб. *'arraǧulu*↔*'arraǧulu-lmarīḍu* и англ. *the man* ↔ *the sick man*); б) русский служебный элемент *буду* (образующий в сочетании с инфинитивом будущее время; ср.: *буду читать* ↔ *буду много читать* ↔ ↔ *буду читать и писать* и т. д.), а также так называемые «вспомогательные глаголы» многих языков; в) предлоги и послелоги разных языков, но не всех; например, французские предлоги относятся к элементам II1 (ср. *à la table* ↔ *à la bonne table*, но *à la table et à la chaise* — предлог обязательно повторяется); г) многие служебные элементы турецкого языка [ср. *ne yiyor*, *ne içiyor*, *ne de söyliyordu* «он не ел, не пил и не говорил», где элемент *-du* (показатель прошедшего времени) определяет все три глаголь-

[16] Элемент II2 может и повторяться; тогда вопрос ставится так: если есть выражение $Z_1nZ_2nZ_3n$ и т. д., будет ли грамматически правильным выражение $Z_1Z_2Z_3n$ (где Z — корень или слово). Так, по-турецки можно сказать: *Çocuklar*, *kadınlar ve ihtiyarlar* («дети, женщины и старики»), но столь же правильно и выражение *Çocuk*, *kadın*, *ve ihtiyarlar*, где показатель множественного числа *-lar* относится ко всей группе. Сказанное относится и к предлогам разных языков, которые могут повторяться, но могут и употребляться однажды.

ные формы, соединенные повторяющимся союзом (*ne... ne... ne de*)]; д) служебные элементы инкорпорирующих языков. Вообще «инкорпорация» (как грамматический способ) может быть определена через наличие элементов I12, а «инкорпорирующий» (языковой тип) может быть определен как язык с инкорпорацией корней (т. е. такой, где элементы I12 определяют не сочетания слов, но непременно сочетания корней) [17].

Таким образом, характерная для инкорпорирующих языков структура *XXn* типологически соотносится, например, с английской структурой *of XX* (*of stone wall*); т. е. аффиксы инкорпорирующих языков не отличаются по функции от английских (и некоторых иных) предлогов (а также английских артиклей и т. д.). Итак, в разных языках могут быть слова разного типа: слова, оформленные элементами I11, и слова, оформленные элементами I12; в некоторых языках слов нет вообще.

2.2.2. Элементы I можно классифицировать в зависимости от того, с какими элементами они сочетаются.

Группа I1. Элементы этой группы сочетаются с элементами II1 и II2 (и таким образом образуются слова). Например: русск. *стол-а*, англ. *a wall* (артикль — показатель существительного), чукот. ***ны-тэйкы-кинэт*** «делают» (с аффиксами 3-го лица мн. числа II наст. времени).

Группа I2. Элементы этой группы не сочетаются непосредственно со служебными элементами. Например: а) корневые элементы китайского языка, которые грамматически не оформляются; б) примыкающие корневые элементы инкорпорирующих языков, за счет которых структура *Xn* может быть развернута в *XXn*, в *XXXn* и т. д.— ср. приведенный пример из чукотского языка. Так, может оказаться, что при помощи служебных элементов оформляется не один какой-нибудь корень, а целая совокупность корней: ***a stone wall, ны-тур-тэн'-тэйкы-кинэт*** («ново-хорошо-делают»). В этой совокупности корней один какой-то корень обязательно принадлежит к типу I1, т. е. может употребляться в том же грамматическом оформлении самостоятельно (здесь: *wall*, *тэйкы*). Остальные получают грамматическое оформление только в совокупности с этим корнем (в данной фразе).

2.3. Элементы II можно также делить на аналитические и синтетические в зависимости от того, выражают ли они одно значение или несколько (при этом значения определяются внутри данного языка). Это деление соответствует делению Сепиром агглютинации и фузии [18].

3 Описание языков способом классификации элементов и опыт построения априорных конструкций

3.1. Разные языки возможно характеризовать наличием или отсутствием в них тех или иных групп элементов.

3.1.1. Инкорпорирующие языки априорно характеризуются отсутствием элементов I11 и наличием элементов I12.

3.1.2. В «совершенно аморфных» языках должны наличествовать исключительно элементы типа I2. Как известно, до сих пор не зафиксирован ни один язык, который был бы полностью аморфен [19] (т. е. в котором не

[17] К инкорпорирующим языкам относится и немецкий. В самом деле, в немецком могут инкорпорироваться любые корни (именные, глагольные, адвербиальные) и любые сочетания корней (ср. *Aufwickelachse*; *Schmalfilmgerät*; ***Schlusselloch, Feldstecher-oder Fernrohreinblick***, где выделенные сочетания корней, связанные союзом, определяют корень *einblick*); ср. также многочисленные шуточные (но грамматически правильные) образования, например в «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена (Избр. произв., II, М., 1953, стр. 276—277). Однако немецкий язык отличается от американоидных тем, что инкорпорируемая группа вместе с аффиксами образует в нем Λ (в то время как в последних инкорпорация происходит обычно в V).

[18] Э. Сепир, Язык, М.— Л., 1934, стр. 103.

[19] См. П. Кузнецов, Морфологическая классификация языков, М., 1954, стр. 14.

было бы служебных элементов и все отношения которого определялись бы, скажем, одним порядком слов). Язык такого типа едва ли возможен, так как, по-видимому, он перестает обладать коммуникативной функцией. В самом деле, предложение такого языка должно представлять собой цепочку типа $X_1X_2\ X_3X_4$.... При этом число элементов в цепочке, по-видимому, не может быть фиксировано ни в одном языке (в связи с тем, что в языке существуют отношения эквивалентности, по правилам которых каждое предложение может быть развернуто в сколь угодно длинное). Таким образом, совершенно неясно, что определяет (к чему относится) каждый элемент X в последовательность $X_1X_2X_3$..., т. е. неясен порядок свертывания. Предложение становится многозначным (по определению многозначности, см. 0.3, сноска 7).

При априорном построении такой абстрактной схемы аморфного языка представляются возможными следующие решения:

А. Какая-то фиксация числа элементов в предложении — хотя бы требование четности или нечетности этого числа. Тогда можно было бы функцию каждого члена предложения определить его местом в предложении. Существование таких языков едва ли возможно. Требование фиксации числа элементов противоречит правилам эквивалентности, данным для языка. По определению каждый корневой элемент языка может быть как угодно расширен (эквивалентными ему сочетаниями). Если потребовать, чтобы этот элемент расширялся, например, непременно четным или нечетным образом, пришлось бы вставлять какие-то специальные элементы, т. е. служебные. В результате был бы получен язык другой структуры (не полностью аморфный) [20] и не самым простым способом (наличие фиксации порядка слов тогда не обязательно). Интересно, что в китайском письменном языке (вэньянь) предложения подгоняются под определенный размер. Так, составлялись фразы из строго ограниченного числа иероглифов (например, 4, 6, 8 или 3, 5, 7, 9, 11, 13) [21]. Может быть, эту особенность можно объяснить в какой-то степени и коммуникативными причинами.

Б. Введение элементов, указывающих на порядок свертывания (их функции аналогична функция скобок в математической пазиграфии). Так обстоит дело в китайском языке, где есть элементы I12 (например, элемент *ды*, указывающий на то, что все им определяемое свертывается в один элемент).

В. Закрепление за какими-то корнями служебной функции; тем самым их присутствие становится в предложении обязательным. В таком случае образуются слова (по определению слова — см. 0.4). Так, по-видимому, обстоит дело в языке аранта. Там слова оформляются корнями, которые вместе с тем не теряют своего прямого значения. Таким образом, с одной стороны, предложение аранта состоит целиком из корневых элементов I2, т. е. этот язык аморфен. С другой стороны, его слова можно рассматривать как корневые элементы I1, оформляемые служебными элементами (поскольку последние могут быть перечислены). Если исходить из общего понимания слов «корень» и «служебный элемент», язык аранта надо определять как аморфный (при этом имеющий слова), так как его фразы состоят из корней, которые могут употребляться самостоятельно. Если же исходить из предложенного понимания служебных элементов как маркированных элементов, заданных списком, язык аранта — не аморфный язык (некоторые его слова маркированы и представляют собой элементы II). В некоторой степени типологически схож с аранта язык эсперанто.

Следовательно, язык без служебных элементов («совершенно аморф-

[20] Если же потребовать, чтобы каждый элемент обязательно влек за собой какой-нибудь другой (не служебный) элемент, так, чтобы оба эти элемента в совокупности давали значение, то оба этих элемента были бы одной морфемой, т. е. одним элементом.

[21] См. В. С. Колоколов, Краткий китайско-русский словарь, М., 1935, стр. 672.

ный»), по-видимому, невозможен. Можно доказать, что служебные элементы, указывающие на порядок свертывания, принадлежат непременно к типу II2.

3.1.3. Можно предположить существование «совершенно флективного» языка, в котором все элементы были бы типа или III или дополняющего его типа I1 (т. е. все служебные элементы должны были бы представлять собой флексию типа *-а* в *стол-а*, но никак не предлог). В таком языке не должно быть элементов II2, что обеспечивает отсутствие инкорпорации. В то же время все корневые элементы согласуются либо управляются, но не примыкают — отсюда отсутствие аморфности. Однако языки такой структуры, если они и существуют, едва ли многочисленны.

3.1.4. Агглютинативные языки отличаются от флективных по иному критерию — по критерию аналитизма и синтетизма (см. 2.3); их служебные элементы, по-видимому, тоже могут представлять и тип III, и тип II2, но непременно выражают каждый одно значение.

3.2. Классификация языков посредством предложенных классификаций элементов затрудняется тем обстоятельством, что в языках очень редко представлены элементы одного какого-нибудь типа. Например, в русском языке, помимо элементов III (соответствующих его флективности), есть элементы II2 (предлоги); турецкий, помимо элементов I1, имеет элементы I2, и т. д.[22]. Однако почти в каждом языке можно выделить преимущественное распространение элементов того или иного вида (и таким образом характеризовать язык). Еще более показательным для характеристики языка является отсутствие элементов какого-либо типа. Имея это в виду, можно интерпретировать типы традиционной морфологической классификации языков, пользуясь классификацией элементов.

Для инкорпорирующих языков характерно преимущественное распространение элементов II2, I1, I2; отсутствуют элементы III. Для аморфных — элементов I2; отсутствуют элементы I1. Флективные и агглютинативные языки, обладая типами III, II2 и I1, различаются между собой использованием синтетических и аналитических элементов; отсутствуют элементы I2[23].

Таким образом, традиционная морфологическая классификация языков делит их по разным критериям: противопоставление инкорпорирующих языков флективным происходит путем различения элементов III и II2; противопоставление агглютинативных и флективных языков — по критерию аналитизма или синтетизма служебных элементов; аморфные языки выделяются отсутствием необходимых категорий.

Различие критериев деления в традиционной морфологической классификации (в зависимости от вида служебных элементов) выражено в таблице (см. стр. 60).

3.3. Предложенный подход позволяет определить причину смешения типов языков в морфологической классификации и различной интерпретации некоторых языков.

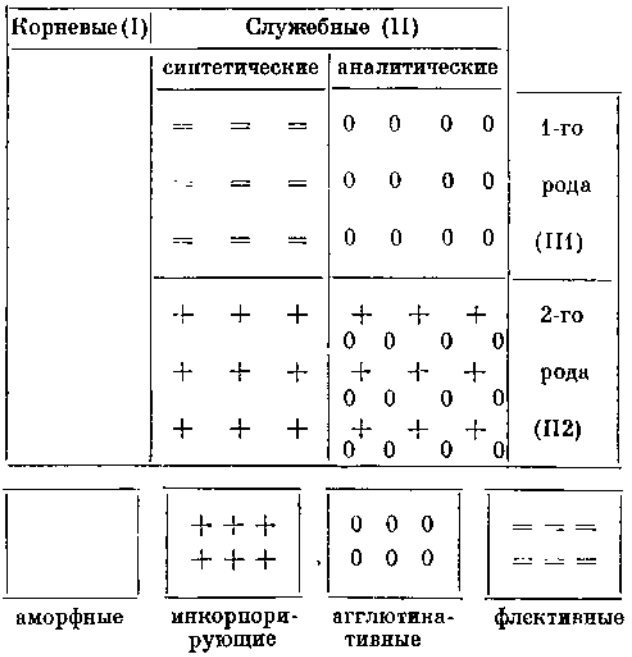
3.3.1. Инкорпорирующие и агглютинативные языки могут характеризоваться наличием элементов II2, чем объясняется возможность их смешения (ср. смешение знаков в таблице). В ряде агглютинативных языков нет категории прилагательного; определение, представляющее неоформленный корень X_1, примыкает к определяемому X_2n (так в турецком). Тогда служебный элемент n в X_1X_2n (оформляющий определяемое) можно

[22] Часто в языке могут быть элементы разного типа в зависимости от того, относятся ли они к *N* или к *V*; например, в русском элементы II2 (предлоги) относятся к *N*, в английском и немецком элементы III относятся к *V*. Это можно принять во внимание при типологическом сравнении и описании разных языков.

[23] Априорно можно выделить группу языков, в которых отсутствуют элементы II2; можно также делить инкорпорирующие языки по использованию синтетических или аналитических элементов. Однако в традиционной морфологической классификации эти группы языков не выделяются; по-видимому, эти отличия и в самом деле типологически не столь существенны.

рассматривать как относящийся к целому комплексу X_1X_2 и все явление трактуется как инкорпорация.

3.3.2. И инкорпорирующие, и аморфные языки располагают элементами I2 (с примыкающими корнями); поэтому можно найти примеры, которые трактуются двояко. Но для инкорпорирующих языков существенно непременное присутствие элементов II, которые требуют обязательного грамматического оформления.



3.3.3. Флективные (аналитические) и агглютинативные языки сходны, так как элементы II2 агглютинативных языков не отличаются по функции от предлогов флективных языков.

3.3.4. И агглютинативный, и аморфный типы оба могут включать в себя язык типа аранта. Смешение происходит по причинам, указанным выше (3.1.2): смешиваются критерии выделения корня. Однако в обоих случаях можно доказать, что в аранта есть слово (даже если понимать аранта как аморфный, это отличает его от китайского).

Определение структуры языка-эталона (метаструктуры) в полученной терминологии

4. Взаимоотношение между разными типами языков. Приведение языков одного типа к языкам другого типа

4.1. Представляется интересным сравнить разные языки по критерию свободы или связанности элементов в цепочке. Пусть имеется какая-то цепочка элементов; превратим ее в структуру, т. е. заменим конкретные элементы на обозначения классов: X и n_1, n_2..., каждый из которых охватывает какой-то круг значений (т. е. множество взаимозаменяемых элементов). Возникает вопрос, насколько возможно произвольно заменять элементы внутри класса (т. е. заменять один элемент другим того же круга значений). Оказывается, это возможно в разной степени для разных языков. В некоторых языках значение одного элемента связано значением другого элемента, т. е. изменение одного элемента влечет за собой обязательное соответственное изменение другого.

При этом элементы I по определению не могут быть связаны — во всяком случае на описываемом (грамматическом) уровне. Могут быть связаны лишь служебные элементы, выражающие необходимые категории. Удобнее иметь дело не с самими элементами, но с необходимыми категориями, т. е. с самой информацией, которая необходимо выражается в словах. При согласовании она повторяется.

4.2. Переходя от конкретных служебных элементов к значениям необходимых категорий, мы тем самым переходим от синтетического строя элементов к аналитическому (в терминах традиционной классификации — от флективного строя к агглютинативному). (Это и происходит при грамматическом разборе, когда слово *стола* анализируется как «существительное в родительном падеже и единственном числе» — аналитически выделяются значения, синтетически слитые в элементе *-а*.) При анализе только агглютинативных языков можно было бы и не переходить от элементов к значениям, так как в этих языках элементы однозначно соотносятся со значениями. В то же время языки с синтетизмом элементов надо приводить к аналитическому виду, как к более простому. Это имеет место при любом грамматическом анализе и тем более необходимо при сравнительном анализе языков.

Следует отметить, что при операции приведения сохраняется о б р а т и м о с т ь, т. е. возможен обратный ход — от аналитического строя к синтетическому путем введения некоторых дополнительных правил (об объединении различных значений в конкретных элементах) так, что не теряется никакая информация. Таким образом, с т р у к т у р а а н а л и т и ч е с к о г о (а г г л ю т и н а т и в н о г о) я з ы к а п р е д с т а е т к а к м е т а с т р у к т у р а п о о т н о ш е н и ю к с и н т е т и ч е с к о м у (ф л е к т и в н о м у) я з ы к у (поскольку в его символах производится грамматический анализ синтетического языка — ср. сноску 1) и как таковая используется при анализе — как человеком, так и машиной [24] (если только нет изоморфизма между двумя сравниваемыми языками).

4.3. Цепочки элементов некоторых языков связаны обязательным повторением определенной информации. Так происходит при согласовании и управлении. Под согласованием понимается необходимое повторение некоторой информации [25]; эта информация может выражаться разными элементами, но дистрибутивный анализ и переход от элементов непосредственно к выражаемой информации позволяют считать эти элементы алломорфами. Управление в известном смысле аналогично согласованию. Управление в чистом виде (требование падежа в зависимости от предлога в европейских языках, требование определенного глагольного наклонения в зависимости от частицы в арабском, требование род. падежа при отрицательной форме глагола в русском языке) представляет собой согласование в управляемой конструкции в том смысле, что повторяется уже сказанная информация (хотя и при помощи элементов разного вида: II1 и II2, не сводимых друг к другу посредством дистрибутивного анализа) [26].

[24] При машинном переводе, в котором участвуют два языка (флективные и тем более флективный и агглютинативный), необходимо составить таблицу соответствий грамматических значений этих языков, где значения должны выражаться аналитически.

[25] Имеется в виду грамматическое согласование (т. е. обязательное, независимое от значений корневых элементов), в отличие от согласования по смыслу, которое представлено, например, в английском, отчасти арабском языках.

[26] В идеальном случае (если управление соблюдается всегда и однозначным образом) управляющая и управляемая морфемы составляют один элемент; так, предлог и управляемый им показатель падежа образуют конфикс, который может состоять из элемента II2 (предлог; он определяет всю вводимую группу, которая может быть расширена эквивалентными сочетаниями) и элемента II1 (показатель; он определяет конкретный корневой элемент и соответственно может повторяться при расширении группы). Ср. *к лесу* ($m\,X n$), *к большому лесу* ($m\,X_1 n_1 X n$) и т. д., где m — элемент II2, а n — элемент II1.

Случаи, когда информация не повторяется и ее на описываемом уровне нельзя предсказать (например, в русской последовательности *VN* нельзя определить падеж — он может быть и вин., и дат., и твор. падежом), не будут рассматриваться как управление.

Всякие регулярно повторяющиеся элементы (или значения [27]) можно выносить за скобку. Тогда элементы перестают быть связаны в цепочке (каждый элемент можно заменить на другой того же круга значений). Например [28]:

Маленькая девочка побежала в лес
/жен. род/ед. число /[им. падеж /(*X*/*X*), /соверш. вид/ прош. время /*X*], /в- /вин. падеж/ /(муж. род /ед. число /*X*)/

In grauer Vorzeit besiedelten die Polynesier die südöstlichen Inseln
/*in-* /дат. падеж/ [ед. число/ (*X*/ *X*)], /мн. число /[прош. время /*X*,/ им. падеж/ /опред. сост. /(*X*)]/, вин. падеж / опред. сост. /(*X* / *X*)/

Se fué el padre del joven a casa del moro rico
/3-е лицо/ ед. число/ (прош. время /*X*/, опред. сост./ [ед. число /муж. род/ *X*/ /*de*/ опред. сост. /(ед. число/ муж. род/ *X*)]},/ а /[жен. род. / *X* / de /опред. сост./ /ед. число /муж. род /(*X*/ *X*)]/

При операции вынесения за скобку сохраняется обратимость. Поэтому такая операция может быть применена при составлении программ в машинном переводе (перед скобками стоит алгоритм: «согласуй по таким-то признакам»). При этом элементы в цепочке свободны: можно произвольно менять значение внутри каждого класса структуры, не нарушая грамматической правильности (предполагается, что каждый раз в тексте можно найти предложение такой структуры).

Анализируя преобразованные цепочки, мы обнаруживаем, что они представляют язык иного строя, нежели первоначальные цепочки. В самом деле, элементы, вынесенные за скобки, стали элементами типа II2, так как они определяют какой-нибудь элемент (сочетание) или эквивалентное ему сочетание элементов [29].

Таким образом, в результате преобразования получилась схема инкорпорирующих языков (см. 2.2.1). В скобках оказываются «слова» этих языков, оформленные элементами II2, а за скобками — необходимые категории, характеризующие данные слова. По этим необходимым категориям можно узнать функцию «слова» (как и в реальном языке). Так, в русском языке вынесенные за скобки характеристики падежа и числа (рода) означают, что в скобках стоит существительное или эквивалентное ему сочетание (например, атрибутивное сочетание: «прилагательное — существительное»); характеристики числа (рода) и лица означают сочетание: «существительное — глагол в настоящем времени»; характеристики числа (рода) и отсутствие характеристики лица означают сочетание: «существительное — глагол в прошедшем времени»; в бантуских языках за скобки выносится показатель класса. Аналогичный анализ можно произвести и в отношении других языков [30]. Таким образом, структура инкорпорирующих языков предстает как метаструктура относительно структур флективных и агглютинативных языков.

4.4. Рассмотрим служебные элементы, остающиеся в скобках. В скобках остается: а) обязательно — значение функции слова. На-

[27] После произведения дистрибутивного анализа и операции приведения синтетических элементов к аналитизму эти термины реально становятся однозначными.

[28] В примерах наклонные черты отделяют ячейки цепочки; характеристика предшествует характеризуемым корням или сочетаниям в скобках; члены цепочки отделяются запятой. После предлогов через дефис стоит форма управления, которая также выносится за скобку. Скобки стоят там, где конструкция может быть расширена за счет эквивалентности (т. е. в случаях участия и вынесения за скобку элемента II2).

[29] П этому в записи за элементами типа II2 (предлогами) следовали скобки.

[30] Функция выносимых за скобку характеристик аналогична функции диезов и бемолей в нотной записи (в ключе) или функции кванторов в постулатах математической логики.

пример, эсперант. *bonaj komencoj* [структура: *Xaj Xoj*→ *j*(*Xa Xo*) или *j*(*AN*)]; по вынесении за скобку показателя множественного числа в скобках остаются корни и показатели функций прилагательного *-a-* и существительного *-o-*. В том случае, когда такого показателя нет (т. е. в скобках остается чистый корень, а все необходимые категории выносятся за скобки), не может теряться информация о том, какой функцией (например, *A*, *N*, *V*, *Adv*) обладает этот корень (что было ясно из характеризующих его показателей, когда он входил в слово): только так можно сохранить обратимость. Функцию корня можно обозначить порядком элементов (произвольным способом); б) необязательно — некоторые характерные категории. Например, время (вид) глагола или падеж существительного. Если обозначить функцию только порядком элементов и оставшиеся характерные категории считать не обязательными, но факультативными, то в скобках получится структура аморфных языков.

Таким образом, можно предположить, что в основе всех структур типологии языков лежит аморфная структура как самая простая, где наиболее последовательным образом выражены общие для всех языков инвариантные отношения; другие же структуры можно представить путем введения дополнительных (усложняющих) правил; а именно (если производить проделанные операции в обратном порядке — от простого к сложному) — структуру каждого языка возможно охарактеризовать по схеме:

Аморфная структура + закрепление функций (введение необходимых категорий) + введение алгоритма согласования + синтетизм элементов.

Следовательно, типы традиционной морфологической классификации мы можем расположить в порядке сложности: аморфные языки —инкорпорирующие языки — агглютинативные языки — флективные языки.

Итак, аморфная структура и есть метаструктура, от которой следует отталкиваться при описании всех других языковых структур. Установление этого позволяет вести описание языковых структур от простого к сложному; разные языки можно представить по разным степеням сложности. Например, конструкция *VN* (в китайском, нивхском языках), т. е. глагол, определяющий существительное, получает специальное функциональное выражение в европейских языках (причастие). Это соответствие такого же порядка, как соответствие инфинитива с предлогом (французский, испанский) — герундию (в английском), отглагольному существительному (в русском). Таким образом, то, что обозначается в одних языках только порядком слов, получает специальное выражение в других языках (т. е. получает некоторый служебный элемент, который, соединяясь с корнем, знаменует его функцию). Так можно построить таблицу соответствий (от простого к сложному).

5. Оценка структурных явлений различных языков

5.1. В результате предложенного анализа становится возможным сравнивать любые две соответствующие конструкции разных языков («соответствующими» называются структуры фраз разных языков, которые соответствуют одной фразе при переводе на метаязык) и оценивать одну как более простую, другую как более сложную. Оценка производится на основании количества ступеней в трансформации от метаструктуры к данной структуре. При этом характеристика сложности структуры языка может быть получена исходя из операций внутри самого этого языка, в результате которых сложные структуры разлагаются на аморфную плюс некоторые трансформации [31].

[31] При сравнении двух структур *A* и *B* не обязательно сводить их к аморфной структуре. Часто достаточно свести структуру *A* к структуре *B* и тем показать, что *A* может быть описана через *B* плюс некоторая трансформация.

5.2. Приведем примеры:

А. Конструкция «определение — определяемое» английского (*a stone wall*), турецкого (*taş duvar*, буквально: «камень-стена») проще, чем соответствующая русская (*каменная стена*). Английский и турецкий примыкающие атрибуты полностью соответствуют аморфной конструкции; функция русского прилагательного образуется (сравнительно с аморфной структурой) путем трансформации согласования. Сказанное об английском и турецком также относится к примыкающим атрибутам монгольских, американоидных и других языков.

Б. Инкорпорация была определена (2.2.1) по признаку наличия элементов II2, которые оформляют как какой-нибудь элемент (слово), так и любое сочетание, ему эквивалентное. В таком понимании инкорпорация характерна для английского и чукотского языков. В самом деле, английские служебные элементы относятся, по-видимому, к типу II2. Ср.: *General out-of-jointness of the world.* «Sage they were, great headnodders and „*I*-would-not-venture-to-do-a-thing-like-this" ers» (H. Wells).

В чукотском служебные элементы также представлены типом II2. Ср.: *Ярак ны-тке-кен* «В юрте пахнет», *Ярак ны-чача-ынн-ы-тке-кен* «В юрте вкусно рыбой пахнет». Чукотская конструкция проще английской: в чукотском элемент II2 оформляет последовательность корней, все функции которых передаются их порядком (что полностью соответствует аморфной структуре); в английском же элемент II2 оформляет последовательность слов, т. е. сочетания корней с некоторыми необходимыми категориями, обозначающими их функцию. Для их описания относительно чукотского необходима некоторая дополнительная трансформация. Сказанное о чукотском применимо ко многим американоидным, некоторым кавказским, а также к немецкому языку.

В. Аналогичные отношения имеют место между английской и русской предложными конструкциями. В обоих языках предлог является элементом II2. Однако в английском языке предложная конструкция распространяется главным образом за счет неоформленных корневых элементов (что соответствует аморфной структуре), а в русском — за счет слов. Ср.: *in a tall house — в высоком доме.* Таким образом, предложная конструкция русского языка сложнее английской; она может быть описана через английскую с прибавлением некоторых дополнительных трансформаций. Сказанное о русском верно для латинского, немецкого, арабского. Сказанное об английском — для турецкого.

Г. Инфинитив с предлогом во французском языке соответствует *ing*-овой форме в английском (герундию или отглагольному существительному) и отглагольному существительному в русском. Ср.: *pour faire — for doing — для делания.* Французская конструкция проще таких же английской и русской (хотя она и не соответствует аморфной, как было в предыдущих примерах): английский и русский инфинитив можно описать через французский, объявив, что после предлога к инфинитиву прибавляется элемент *-ing* (*-ние*), закрепляющий функцию.

Приведенные примеры демонстрируют относительную сложность или простоту структурных явлений разных языков, а также их изоморфизм. При достаточно большом охвате языков можно представить таблицу соответствий для структур разных языков от простого к сложному [32].

---

[32] Такая таблица может быть полезной при переводе. Например, в таблице соответствий от английского к русскому будет стоять

N_2	N_1	→	A	N_1
дело	*человек*		*деловой*	*человек*
business	*man*			

т. е. указание искать такое A (*деловой*), которое соответствовало бы N_2 (*дело*). Этим оправдывается построение словарей по корневому принципу (как в арабских словарях).

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ *

Вопрос № 9: «Какого характера должен быть вопросник по синтаксису? Нужно ли типологическое обследование синтаксиса?»

Включение в славянский лингвистический атлас синтаксических вопросов представляется нам делом очень нужным и важным для дальнейших синтаксических исследований. Между славянскими языками и диалектами наблюдаются в области синтаксиса значительные расхождения, до сих пор в своей совокупности в литературе не отраженные и отчасти даже неизвестные (последнее обстоятельство не препятствует, а, напротив, делает необходимым включение в атлас раздела синтаксиса). При составлении национальных атласов синтаксис является наименее благодарной областью, поскольку синтаксическая дифференциация в пределах отдельных языков незначительна и учету поддается только небольшое количество явлений. Славянская языковая территория в целом представляется, однако, гораздо глубже дифференцированной, причем границы распространения отдельных явлений не совпадают с границами отдельных языков, так что лингвистическая география в состоянии вскрыть здесь интересные взаимоотношения, ступенчатые переходы и т. п. Достаточно назвать, например, неодинаковое распространение бессвязочного типа именного сказуемого, отнесенного к плану настоящего времени, безличных предложений, род. падежа отрицания, неодинаковое использование инфинитива, расхождения в функционировании союзов и относительных слов и т. п.[1]. Это расхождения очень древние и яркие. Здесь важно будет, например, установить географическое распространение союза и относительного наречия */ak(o)/ как / ак(о)*, разных типов противительных и разделительных союзов, союзов дополнительных предложений и т. п. При этом речь должна идти не о расхождениях семантического порядка, а о различиях в средствах выражения синтаксических отношений в связи с различиями в строе сложного предложения.

Синтаксический вопросник будет по содержанию и по внешнему характеру иметь некоторые особенности, вытекающие из самой природы его предмета. Уже при самом выборе синтаксических явлений надо принимать во внимание не только то, важны ли данные факты с точки зрения структурной или же с точки зрения развития языка, отличаются ли они достаточной дифференцированностью в отношении их территориального распространения (последнее обстоятельство играет роль при картографировании); необходимо также заранее представить себе, возможно ли ясно и точно, а в то же время и просто определить данное явление (с тем, чтобы собиратели в условиях диалектологической экспедиции сумели получить нужный ответ и чтобы полученные ответы можно было сопоставлять). Тут многое зависит как от формулировки вопроса, так и от подготовки участников экспедиций. На наш взгляд, однако, эта задача осуществима.

Синтаксические вопросы затруднительны и в том отношении, что ответ на вопрос легко может быть навязан, подсказан, что опрашиваемый может

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1961 г. (стр. 45—46).

[1] Ср. J. Bauer, «Slavia», XXVIII, 4, 1959, стр. 607—616.

прибегнуть к типу схемы литературного языка и т. п. Прежде всего надо избегать переводов предложений или словосочетаний, приводимых в качестве примеров. Комментарий к вопросам должен ясно показать собирателю материала, что́ в исследуемой синтаксической конструкции является структурно важным, необходимым, а что́ изменчиво, непостоянно. В таком случае работа по установлению и описанию отдельных синтаксических конструкций станет намного легче. Будет, конечно, очень удобно, если ответы на вопросы станут реально близкими к приводимым в вопроснике примерам (предложениям и словосочетаниям).

Определение инвентаря явлений, которые должны войти в вопросник, должно быть делом поистине коллективным, так как отсутствие работ по синтаксису славянских диалектов не позволяет отдельному работнику должным образом ориентироваться в синтаксической ситуации на всей славянской языковой территории. Значительную помощь может оказать предварительная выборка материала из опубликованных диалектных записей.

В инвентаре синтаксических явлений главное внимание следует уделять предложению и его строю (типам простых предложений, синтаксическим отношениям и способам их выражения, членам предложения, а также сложному предложению; при этом с точки зрения их синтаксического использования будут разобраны союзы и относительные слова). Нельзя, конечно, оставлять в стороне и вопрос о словосочетании, в особенности в тех случаях, когда его проблематика не исчерпывается исследованием строя предложения (ср. словосочетания с числительным). При определении границ между синтаксисом и морфологией (в особенности в области употребления частей речи и их форм), а также между синтаксисом и лексикой (в особенности в области устойчивых словосочетаний и фразеологизмов) необходимо для каждого отдельного случая решить, путем каких вопросов — синтаксических, морфологических или лексических — лучше определить то или иное явление. Поскольку лингвистический атлас будет составлять одно целое и отдельные его разделы будут дополнять друг друга, не существенно, где будет помещен тот или другой вопрос. Так, объем употребления творительного предикативного удобнее определить путем вопросов синтаксического (о форме именного сказуемого со связкой и без связки), а не морфологического характера. Точно так же разные типы описательного повелительного наклонения удобнее устанавливать путем вопросов о способах выражения приказания, относящегося к 3-му лицу, и т. п.

При формулировке вопросов надо будет принимать во внимание и различия в синтаксической традиции отдельных славянских стран (ср., например, расхождения в понимании дополнения, обстоятельства, именного сказуемого, члена предложения, называемого по-чешски «doplněk», в чешской и русской синтаксической традициях). Важно дать ясное определение синтаксического явления в форме, наиболее обычной для собирателя материала.

Как и в лексическом вопроснике, в вопроснике по синтаксису необходимо будет идти, во-первых, от синтаксического значения или отношения к его выражению, а во-вторых,— от синтаксического средства к его функции. Более легким и плодотворным окажется в большинстве случаев первый подход, так что в ответах на вопросы будут установлены разные средства, служащие для выражения данного значения. Из этих же ответов можно будет во многих случаях извлечь и указание о значении того или другого средства в разных славянских диалектах.

Полученный материал покажет, с одной стороны, многие древние синтаксические различия в славянской языковой области (и границы распространения этих различий), а с другой стороны,— и это в первую очередь — черты различия и сходства, возникшие позднее, в ходе исторического развития славянских языков. Результаты исследования будут иметь

большое значение для сравнительного изучения славянских языков, опирающегося в области синтаксиса (пока очень слабо разработанной) в основном только на материал литературных языков.

Чехословацкая диалектологическая комиссия (Прага)

Вопросник по синтаксису будет, несомненно, во многом отличаться от вопросников фонетического, морфологического и словарного вследствие специфики синтаксического материала и особых трудностей при его собирании.

1. Не приходится особо подчеркивать, что предметом исследования должны быть только важные структурные явления, существенные для определения общей основы и особенностей развития славянских языков и диалектов. Само собой разумеется и то, что для работы над лингвистическим атласом подходят только явления, у которых наблюдается ясная территориальная дифференциация. Таких явлений в синтаксическом строе славянских языков и диалектов можно найти много. В этом отношении наблюдается существенное различие между национальными атласами отдельных славянских языков и общеславянским лингвистическим атласом: внутренняя синтаксическая дифференциация отдельных славянских языков оказывается — по сравнению с их фонетической, морфологической и лексической дифференциацией — слабой и мало выразительной, между тем как синтаксические различия между славянскими языками или группами языков весьма глубоки и значительны. Изоглоссы синтаксических явлений нередко не совпадают с границами славянских языков, так что изучение их географического распространения позволит открыть многие, очень интересные и важные славянские языковые связи и переходные явления.

Указанными ограничениями не исчерпываются принципы подбора синтаксических явлений. Составители вопросника не должны забывать о том, что собирание сведений на широких просторах славянской языковой территории может дать положительные и взаимосоотносительные результаты только в том случае, если удастся просто и ясно, а также однозначно определить исследуемые явления, с тем чтобы их можно было легко отличить от других, близких и родственных явлений. Это задача довольно трудная, тем более что нужно учитывать также расхождения в синтаксической традиции, отражающиеся в подготовке собирателей (ср., например, различия в понимании некоторых членов предложения в русских и чешских грамматиках). Наконец, решающим моментом для охвата или опущения некоторых явлений будет также возможность их изучения в течение недолгого пребывания собирателей диалектологического материала в отдельных населенных пунктах.

2. На какой области синтаксиса должно по преимуществу сосредоточиться внимание составителей вопросника? По нашему мнению, основным предметом изучения должны быть структурные типы и синтаксический строй простого предложения и типы сложного предложения. Для изучения словосочетания можно в большинстве случаев пользоваться вопросами о второстепенных членах предложения (причем, разумеется, для некоторых целей возможно записывать только отрезки предложений, например для изучения определения). Кажется, что и функции и значения частей речи и их форм лучше изучать посредством вопросов, касающихся выражения отдельных членов предложения, чем путем прямого опроса о функциях той или другой формы. В общем можно сказать, что в большинстве случаев вопросы будут касаться средств выражения определенного синтаксического значения или синтаксической функции. Ответы покажут, какие средства выражения встречаются в разных языках и диалектах; вместе с тем совокупность известной группы ответов одновременно представит разные функ-

ции или значения синтаксической конструкции в отдельных диалектах. При этом конкурирующие средства выражения не ускользнут от внимания, что особенно важно для конструкций, распространенных не по всей славянской территории (ср., например, инфинитив в его разнообразных функциях). Само собой разумеется, нельзя полностью отказаться от вопросов о функциях того или иного синтаксического средства, если только можно надеяться на положительные результаты.

3. Специфическая проблематика связана также с оформлением синтаксических вопросов. Здесь имеются две возможности: а) вопрос будет представлен в виде предложений или словосочетаний, которые надо отметить и зафиксировать в исследуемых диалектах; последующие примечания или объяснения будут указывать на сущность проблемы и информировать о более частных аспектах, которые нельзя упускать из виду; б) вопрос будет состоять в четком и точном определении того или иного синтаксического явления, и только затем будут помещены предложения или словосочетания в качестве иллюстративных примеров; более сложные вопросы могут пополняться примечаниями, освещающими подробнее цель вопроса и его проблематику. Приведем пример.

Первый тип. Полный (общий) вопрос: *Был* (*Не был*) *у вас наш мальчик? / Был ли* (*Не был ли*) *у вас наш мальчик? — Пошел уже Иван в город? / Иван уже пошел в город?* Объяснения: Предметом исследования являются вопросительные предложения без особой эмоциональной окраски, их нейтральный тип. Определите: а) соотношение вопросов без частиц и с частицами; б) разницу между положительными и отрицательными вопросами; в) положение частиц в предложении и порядок слов в вопросах без частиц.

Второй тип. Вопрос: Употребляются ли в полных (общих) вопросительных предложениях без эмоциональной окраски вопросительные частицы? Каково соотношение вопросов без частиц и с частицами? На каком месте в предложении стоят вопросительные частицы (после какого слова предложения ставятся энклитические частицы)? Какой порядок слов можно считать обычным в вопросах без частиц? Примеры те же самые. Примечания: Если в диалекте встречается несколько частиц, не придающих вопросу явной эмоциональной окраски, определите их взаимоотношение. Для энклитических частиц (главным образом для *ли*) следует обратить внимание на то, стоят ли они всегда после глагола или также после других членов предложения, которые в этом случае особо подчеркиваются (например, *Всех ли пригласили*?). В вопросах без частиц порядок слов либо может быть вполне свободным, не отличающимся от порядка слов в повествовательном предложении, либо обычным является определенный тип порядка слов (например, с глаголом-сказуемым на первом месте, перед подлежащим).

Первый тип вопросов кажется более простым и обещает дать почти тождественные ответы (одни и те же предложения или словосочетания в их разной форме по отдельным диалектам). Однако с ним связана та большая опасность, что приводимые примеры будут или просто переводиться на данный диалект, или же по крайней мере будут подсказываться объекту. В другом типе вопросов собирателю из самой формулировки вопроса сразу станет ясно, какое явление исследуется, что в приведенных примерах является основным, неизменным, а что изменчивым, случайным. Можно надеяться, что в таком случае собиратель будет стараться подметить данное явление в живой речи, пусть даже оно и будет представлено предложением или словосочетанием другого лексического состава. Однако здесь налицо другая опасность, а именно, что ответы могут не быть тождественными; но ее можно преодолеть ясной формулировкой вопроса и более подробными примечаниями. Большим преимуществом указанного типа вопросов будет и то, что они будут побуждать собирателей изучать все имеющиеся средства и способы выражения данного синтаксического

явления, не исключая и тех, которые не войдут в состав примеров (нередко по той причине, что они не имеют соответствия в литературном языке, или потому, что на них пока не обращалось внимания). Кроме того, одни и те же вопросы, составленные по второму типу, можно будет применять для всей славянской территории, даже в том случае, если синтаксические средства выражения в славянских языках окажутся разнородными. Так, например, ответы на вопрос, как выражается действие, являющееся целью движения (после глаголов *идти*, *прийти*, *уйти*), покажут не только употребление инфинитива после приведенных глаголов движения, но также возможное сохранение супина, распространение конструкций с *да* + индикатив, придаточных предложений и других средств выражения (например, типа русск. *иди открой окно*, *пойду освежусь*). Составители вопросника будут стремиться иллюстрировать предполагаемые ответы примерами из разговорного языка, однако они вряд ли будут в состоянии всегда предвидеть все возможные типы выражения. И если собиратели диалектного материала, придерживаясь вопросов первого типа, будут стараться подметить прежде всего диалектный облик приведенных предложений и словосочетаний, то многое останется незамеченным.

4. Включение синтаксиса в лингво-географическое исследование славянских языков принесет большую пользу сравнительно-историческому и типологическому изучению славянских языков. Если в области фонетики, морфологии и лексики атласы отдельных славянских языков сами по себе могут дать некоторые сведения о дифференциации славянских языков (в силу того, что в них исследуются многие тождественные или родственные явления), то в области синтаксиса такое их использование невозможно, потому что в этих атласах он отражен очень слабо. Только общеславянский лингвистический атлас сделает возможным сравнительное изучение славянского синтаксиса на основе данных не только литературных языков, но также и диалектов. Собранный для атласа материал станет неоценимой основой дальнейшей работы в этой важной области славянского языкознания. Нет сомнения, что таким путем можно будет существенно пополнить также типологическую классификацию славянских языков (основанную пока главным образом на фонетических и морфологических данных). Таким образом, хотя и не все исследуемые явления можно будет показать на картах, затраченная работа окупится сторицей.

Я. Бауэр (Брно)

В области синтаксических проблем, видимо, необходимо отказаться от всяких попыток освещения эволюции языков и главное внимание сосредоточить на выявлении синтаксических типов и схем (моделей). При современном состоянии исследований эволюционный анализ проводить путем атласа невозможно. По данному разделу научные цели будущего общеславянского лингвистического атласа отличаются от целей других разделов грамматики. Следует четко определить, как в применении к атласу понимать область синтаксиса, а именно — нужно ли охватывать все конструкции, начиная от сочетаний слов и кончая конструкциями из нескольких предложений, или же это будет синтаксис слов, например: глагольные конструкции управления — польск. *rozumieć kogo*, диал. *rozumieć komu*; выражения аналитические и синтетические — польск. *mówić do kogoś/mówić komu*, русск. *говорить кому*. Представляется, что попытки сравнительного рассмотрения такого типа не были бы целесообразны; трудно выделить необходимый для этой цели и реальный для выполнения словник, так как изучение с этой точки зрения даже всего словаря никак нельзя признать лишним и чрезмерным. Равным образом следует отнестись и к конструкциям из нескольких предложений, где дополнительно возникает проблема отделения синтаксических вопросов от чисто лексиче-

ских (например, союзы). Поэтому целесообразнее будет ограничиться вопросами, связанными со строем простых предложений и конструкций, состоящих из двух простых предложений, ибо эти последние вполне достаточно представляют соединения из нескольких предложений.

В пределах установленной сферы синтаксических исследований надо выявить все относящиеся сюда факты и внутрислявянские различия. Это позволит установить тип наилучшего синтаксического вопросника. Конечно, требуется кропотливая работа и сотрудничество всего коллектива, занятого подготовкой общеславянского лингвистического атласа. Здесь мы ограничимся только указанием на некоторые вопросы, заслуживающие, по нашему мнению, внимательного рассмотрения. Возникает необходимость изучить все вопросы, связанные с порядком слов в качестве синтаксического средства, как в пределах простого предложения, так и в соединениях двух предложений. Следующая проблема — структура сказуемого (глагольное или именное, различные конструкции последних — полные или эллиптические, например польск. *ojciec choruje*, *ojciec jest chory*, *ojciec chory*; здесь выступает также проблема стилевой принадлежности и функционирования разных конструкций).

Заслуживают внимания также следующие синтаксические типы: конструкции глагола с отрицанием; синтаксис компаратива (польск. *starszy od ojca*, старо-польск. *oćca lepszy*); инфинитив в функции обстоятельства в простых предложениях, а также и в сложных, объем его употребления; согласование подлежащего и сказуемого (например, польск. *chłopi byli*, *kobiety były*); глагольные конструкции придаточных предложений (строй сказуемого; например, в польских предложениях цели: *pracowałem*, *aby żyć*; *oni pracowali*, *abym żył*); причастные конструкции. Конечно, нельзя пройти мимо функций и синтаксической продуктивности союзов (одновременно учитывая вопросы собственно лексического порядка).

Изложенное здесь общее понимание синтаксических задач, как и избранные проблемы, придают синтаксическому вопроснику типологический характер. С практической стороны наиболее обоснованным представляется создание определенных схем, лучше всего на избранном неславянском языке, которые с соответствующими указаниями будут заполняться исследователями при опросе. Эти примеры или схемы, как нам представляется, необходимы для получения однородного материала, пригодного для дальнейшего сопоставления и сравнения.

М. Карась (Краков)

Вопросник по синтаксису должен содержать, по моему мнению, лишь простые синтагмы и синтаксические схемы, которые могут легко картографироваться; например, выражение прямого дополнения при отрицании, употребление твор. падежа в каком-то или каких-то значениях, место определения (прилагательного) при имени существительном, место сказуемого и т. п. Здесь также нужно давать определенные обязательные примеры, которые должны приводиться исследователем; он может, конечно, добавить и другие (пригодные для комментариев и дополнений).

А. Росетти (Бухарест)

Из области синтаксиса (а также из области значений грамматических категорий) следует включить в атлас как можно больше явлений. Здесь обнаружатся многочисленные, нередко до сих пор неизвестные важные изоглоссы на славянской языковой территории. Придется революционным способом решать многие методические вопросы техники исследования. Нам — славянским диалектологам — предоставляется сейчас возможность быть в этом новаторами. Нужно составить две анкеты, касающиеся данных областей языка. Первая анкета содержала бы в себе в лек-

сикализованной форме те вопросы, на которые легко обычными методами получить ответы через вопросник (таковы, например, управление глагола, согласование, числительные конструкции); во второй анкете были бы более трудные вопросы, ответы на которые не могут быть обеспечены простым применением вопросника без опасности их навязать (например, структура предложения, значения глагольных времен и т. п.). Первая анкета вошла бы в общий вопросник, для второй была бы проведена специальная работа. Здесь пришлось бы установить особую сетку со значительно меньшим числом пунктов, в которые посылались бы исследователи (по возможности специалисты по синтаксису) для свободной беседы с носителями говора. Путем записи такого материала можно получить ответы почти на все вопросы анкеты, которая включала бы также и явления фонетики предложения. Если бы эти исследования сопровождались магнитофонными записями, в нашем распоряжении оказалась бы весьма ценная фонотека, на основе которой в дальнейшем можно было бы производить самые разнообразные анализы (результаты которых также стоило бы внести в атлас). Фонотеку нетрудно было бы размножить с тем, чтобы иметь по одному экземпляру во всех крупных славистических центрах.

П. Ивич (Новый Сад)

Вопросы по синтаксису должны охватить самые существенные явления, специфические типы построения предложения, функции форм и наиболее существенные совпадения. Типологические явления также надо принимать во внимание, хотя они касаются лишь некоторых славянских языков.

М. Павлович (Белград)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Д. П. БОГДАН

СЛАВЯНСКИЕ НАДПИСИ В ВАЛАХИИ, МОЛДОВЕ, ТРАНСИЛЬВАНИИ И ДОБРУДЖЕ

Среди многочисленных дошедших до нас славянских текстов, выполненных на территории четырех исторических румынских областей: Валахии, Молдовы, Трансильвании и Добруджи — или попавших на эту территорию из славянских стран, значительную часть составляют надписи [1]. Часть этих надписей была опубликована в начале XX в. славистом Е. А. Козаком [2], историком Н. Иоргой и священником И. Бырлей [3]. После образования в 1908 г. Комиссии по историческим памятникам «Бюллетень» этой комиссии стал публиковать, наряду с уже известными, множество надписей, до тех пор не опубликованных. Научный уровень этих публикаций невысок.

Во время поездки летом 1954 г. нам удалось обнаружить в районе Сучавы (Молдова) новые русские и украинские надписи. Если сравнить язык надписей, публикуемых ниже, с языком русских и украинских надписей, известных из указанных изданий, в них удастся отметить много общих фонетических, морфологических, синтаксических и лексических элементов, что должно свидетельствовать о принадлежности и вновь открытых надписей русским и украинским писцам. Единственное исключение составляет надпись 1525 г. на каменном надгробии, поставленном Марушей своему мужу Прокофию из Пскова; эта надпись идентична по языку и манере письма молдавским надписям этого времени [4].

Детальное сравнение славяно-румынских (т. е. написанных на сла-

[1] Речь идет как о текстах, которые вырезались или вышивались на мягком материале, так и о текстах, которые выцарапывались на твердом материале,— о так называемых граффити.

[2] E. A. Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina, I, Wien, 1903; книгу рецензировали: Н. Иорга («Studii şi documente cu privire la istoria Romînilor», V, Bucureşti, 1904), А. И. Яцимирский (ИОРЯС, X, 3, 1905) и М. Н. Сперанский (РФВ, LIV, 3, 1905). Эти рецензии содержат важные библиографические дополнения, поправки в чтении надписей, а также интересные замечания о их языке (см. об указанных рецензиях D. P. Bogdan, Textele slavo-romîne în lumina cercetărilor ruseşti, II и III, «Analele Romîno-Sovietice», ser. Istorie, 2 и 3—4, 1957).

[3] N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, Bucureşti, I—1905, II—1907. Книга написана в сотрудничестве с И. Богданом; I. Bîrlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909. В его публикациях много ошибок. Некоторые славяно-румынские надписи были опубликованы еще в 1861—1863 гг. археологом А. Одобеску в его журнале «Revista romana pentru sciinţe, littere şi arte»; можно назвать еще мемуары епископа Мельхиседека Штефенеску, напечатанные в 1882 и 1885 гг. в «Analele Academiei Romîne», I, sect. I-a и VII, sect. II-a; несколько славяно-румынских надписей опубликовал А. И. Яцимирский в работе «Славянские и русские рукописи румынских библиотек» (сб. ОРЯС, LXXIX, 1905).

[4] Текст опубликован Е. А. Козаком (указ. соч., стр. 149); ср. текст надписей молдавского происхождения, изданных там же. По почерку надпись может быть сопоставлена с молдавскими надписями XV и XVI вв.; их факсимиле см. в кн.: G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice» (BCMI), XVIII (1925), Bucureşti, 1926, иеро же, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, BCMI, XXI, 1928.

вянском языке румынами) надписей с памятниками эпиграфики, выполненными русскими и украинскими писцами, позволяет выявить в них ряд общих языковых элементов. Поскольку из славяно-румынских надписей исследованными являются лишь надписи молдавского происхождения, представляет особый интерес вопрос о славянских надписях, сделанных валахами. Остановимся на русских и украинских лексических элементах в надписях валашского происхождения.

Так, на колоколе, найденном в местности Корбий Мари Бухарестского района, имеется следующее обозначение 1627 г.: рокѣ бжїа[5]. В надписи на надгробии Елены, жены господаря Матея Басараба, датированной 1652 г., находим следующие лексические элементы: со (предлог), прекеликим, сѣпрѣжници и сѣпрѣжном, а также създателница, къплъцента[6]; в надписи того же характера, принадлежащей Матею Басарабу и датированной 1654 г., читаем: бжїею, мѵ(ж), мѵдръ, за(с)тѣпии(к) (в оригинале к и ж над строкой), глѣвцѣи, маститѣ [7]. Подобные факты находим и в других категориях текстов — в различных славянских рукописях и деловых документах, которые писались на территории Румынии.

Длительное мирное проживание совместно со славянами романского населения Дакии и Мезии, имевшее своим результатом формирование в VII—IX вв. румынского народа, привело к распространению и развитию славянской культуры на территории Валахии, Молдовы, Трансильвании и Добруджи [8]. Более полувека назад А. И. Яцимирский, самый эрудированный в то время исследователь славяно-румынских памятников эпохи феодализма, писал: «На основании количества сохранившихся славянских рукописей румынского происхождения, перечислений в старых записях и других книг определенного собрания, огромного числа богатых румынских монастырей и церквей, нескольких известий летописей и записей о массовых пропажах и уничтожениях рукописей во время татарских и казацких набегов или бегства населения в горы и т. д. — мы имеем право предполагать, что в XIV—XVIII вв. рукописей было очень много. Приблизительную цифру определить трудно, но во всяком случае она не меньше 10 000»[9]. Если к этому количеству прибавить около 20 — 30 тыс. грамот и писем, из которых до нас дошло свыше 7 тыс.[10], а также 1000—2000 надписей, из которых сохранилось лишь несколько сотен, то число славянских текстов, которые были написаны на территории Румынии, составит внушительную цифру.

Язык славяно-румынских текстов изучался многими учеными. Исследование его было начато в третьем десятилетии XIX в. Ю. Венелиным и продолжено: С. П. Билярским, акад. П. А. Лавровым, Л. Милетичем, акад. А. И. Соболевским, А. И. Яцимирским, И. Барбулеску, П. А. Сырку, Е. А. Козаком, К. Т. Радченко, акад. М. Н. Сперанским, И. Богданом, В. Ярошенко, Г. А. Ильинским, О. Марковым, В. А. Розовым, И. И. Огиенко, Д. П. Богданом и С. Б. Бернштейном [11]. Большинство исследователей славяно-румынских текстов считает, что языком изучаемых памятников является среднеболгарский, на который позже наслои-

[5] Текст надписи см. в BCMI, VI, 1913, стр. 73.
[6] BCMI, VIII, 1915, стр. 173.
[7] BCMI, VIII, стр. 174.
[8] Свидетельствами славяно-румынской культуры в Добрудже являются кириллические граффити, открытые в местечке Басарабь в 1957 г. (см. D. P. Bogdan, Grafitele de la Basarabi, «Analele Universităţii C. I. Parhon», ser. Ştiinţe sociale, Istorie, IX, 16, 1960, стр. 31—33, 41, 44 и 45), а также летом 1960 г.
[9] А. И. Яцимирский, Славянские и русские рукописи..., стр. XI—XII. Ср. также D. P. Bogdan, Din paleografia slavo-romînă, «Documente privind istoria Romîniei», Introducere, I, [Bucureşti], 1956, стр. 115—120.
[10] См. D. P. Bogdan, Din paleografia slavo-romînă, стр. 114.
[11] См. D. P. Bogdan, Textele slavo-romîne în lumina cercetărilor ruseşti, III, «Analele Romîno-sovietice», ser. Istorie, 3—4, 1957.

лись элементы сербскохорватского, новоболгарского, русского и украинского.

В своей опубликованной недавно в «Вопросах языкознания» статье Н. И. Толстой предлагает учитывать соотношение древних литературных языков — русского, болгарского, сербского и языка славяно-румынских текстов, которые он называет «славяно-влахо-молдавскими», а их язык — «влахо-молдавским». Он отмечает, что их общей объединяющей основой был литературный древнеславянский язык, различающий в своей истории три периода: IX—XI вв., XII—XVI вв. и XVII—XVIII вв. В первый период его центры находились в Македонии и Восточной Болгарии. Второй период—средний древнеславянский литературный язык: а) XII—XIII вв.— время некоторой децентрализации, б) XIV—XV вв.—централизация со следующими центрами: тырновская и ресавская школы; «второе южнославянское влияние» на Руси, в) конец XV—XVI вв., когда происходит перемещение центров в западную Русь и Москву. Последний период: а) XVII в., центры в Киеве, Вильне и Москве, б) XVIII в., центр в Москве [12].

Действительно, использование языка славяно-румынских текстов (который мы, в отличие от Н. И. Толстого, называем славяно-румынским, поскольку он охватывает не только тексты, написанные в Валахии и Молдове, но и памятники Трансильвании и Добруджи) подтверждает в основных чертах систему трех периодов, установленных Н. И. Толстым. Первый период представлен в кириллических граффити X и XI вв. из Басараби и, в силу традиции, в более поздних надписях, в первую очередь в надписях XIV в., а также в славяно-румынских рукописях и документах. Следует добавить, что славяно-румынские тексты последующих веков тоже не чужды упомянутой традиции: если творцы древних русских, болгарских и сербскохорватских текстов писали на своем родном языке, то авторы феодальных славяно-румынских памятников были обычно румынами. Этот факт необходимо иметь в виду при изучении славяно-румынского языка. Так, например, в двух надписях, сделанных в Валахии в 1352 и 1364 гг., имеются ѣ, ѧ и ы в словах прѣстависѧ, вѣчнаѧ и самодрьжавныи [13]; в славяно-румынских документах второй половины того же века также используются, как и в старославянском, следующие фонетические элементы: ѫ и ѧ, ȣ на месте ѫ, ъ и ь в слабой и сильной позиции и ъ и ь вторичные [14]. Точно так же в самой старой молдавской летописи XV в. — Ţулчинской хронике, сохранившейся в копии XVI в. и известной в литературе под названием «Letopiseţul de la Bistriţă», представлено регулярное, правильное, как в старославянском, использование ъ и щ [15]. Правильное использование ъ отмечается и в других памятниках того же века[16], а также в одной

[12] Н. И. Толстой, К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян, ВЯ, 1961, 1, стр. 57, 59 (схема) и 60.

[13] См. ВСМІ, X—XVI (1917—1923), 1923, стр. 16 и 18.

[14] См. Д. П. Богдан, Фонетические особенности языка славяно-румынских грамот XIV в., «Romanoslavica», II, Bucureşti, 1958, стр. 59—65 и 68.

[15] Ср. снъ, дъщи и дръмънещи — л. 238 славянской рукописи № 649 этой хроники, хранящегося в библиотеке Академии Румынской Народной Республики; издание рукописи П. Богдана (I. Bogdan, Cronice inedite atingătoare de istoria romînilor, Bucureşti, 1895, стр. 10—20), как и издание П. Панаитеску (P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-romîne din sec. XV—XVI publicate de Ion Bogdan, [Bucureşti], 1959, стр. 6—14), содержит многие пропуски. В настоящее время нами подготавливается новое издание хроники в серии: «Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы» (под ред. акад. М. Н. Тихомирова).

[16] Ср., например: им. падеж муж. рода ед. числа бъ в молдавском евангелии 1436 г. (факсимиле см. St. Petrescu, Odoarele de la Neamţu şi Secu, Bucureşti, 1911, снимок 4); сигматический аорист 3-го лица ед. числа бысть (дважды) в молдавской рукописи XV в. (факсимиле см. E. Şt. Piscupescu, Literatura slavă din Principatele Romîne în veacul al XV-lea, Bucureşti, 1939, снимок 4); род. падеж ед. числа ср. рода възнесенїа и числительное четвръто в молдавской рукописи 1500 г. (факсимиле см. там же, снимок 6).

рукописи XVI в.[17]. Вторичный ъ как элемент орфографической традиции становится особенно частым в славяно-румынских документах XVI в. Отсюда он переходит и в румынские тексты, написанные кириллицей, где продолжает интенсивно употребляться.

В евангелии, дарованном Штефаном Великим Зографскому монастырю в Афоне и хранящемся в Венской национальной библиотеке, а также в грамотах этого молдавского господаря (XV в.) появляется кириллическое ѕ точно в такой же форме, как в Хиландарских листках, т. е. с крючком слева в верхней части знака ꙁ[18].

Второй период характеризуется прежде всего появлением в XII—XIII вв. в (*v* фрикативного перед ѫ в начале слова[19]). Ср.: род. падеж ед. числа жен. рода вѫгроблахыи[20], вѫгроблахїи, въггроблахїискои; род. падеж мн. числа муж. рода кънгре(х)[21] и вѫгръ[22]; род. падеж ед. числа муж. рода кънжева[23]. В эту же эпоху ѫ, наряду со старым употреблением и заменой через оу, заменяется сочетаниями ъ(ь)н, ъм, он, ан, ам, ым и ун как показывают следующие написания топонимов и личных имен: хънсѣ мьнжева, мънжещїи, дѫбовица, мѫдричка, мандричкоу, андолие, ампȣцита, голымбоанїе, моундричка и оуггроблахїи[24]. К этим засвидетельствованным в текстах названиям следует добавить и топоним *Pronceşti* (это село по крайней мере до 1872 г. существовало в коммуне Фаурештии де Жос округа Вылча, в Олтении[25]), восходящий к ст.-слав. прѫгъ «саранча»; в то время было еще восемь сел, носивших название *Cacaleţi*[26], образовавшееся в результате аферезы от болг. *скакалéц* «саранча». Отметим также и Mînjina с рефлексом *уп*—село, существующее и поныне в Плоештской области в районе Тырговиште; его название восходит к прилагательному мѫжина от ст.-слав. мѫжь «мужчина».

Обучение будущих первых писцов славяно-румынских текстов в школах Болгарии и Сербии и появление болгарских и сербских книжников в румынских провинциях, приток славянских текстов из Болгарии, Сербии и из Афонских монастырей, реформы патриарха Тырновского Ефтимия и Константина Костенчского, славянские школы, организовавшиеся в Валахии, Молдове и Трансильвании, связи молдаван и трансильванцев с русскими и украинцами, влияние родного (румынского) языка — все эти факты оказали свое воздействие на формирование славяно-румынского языка. Так, имеем ы вместо и: род. падеж ед. числа жен. рода вѫгроблахыи в надписи господаря Валахии Раду I (1377—1384 гг.)[27]; дат. падеж ед. числа муж. рода мл҃ебныкоу — в грамотах Мирчи Старого

---

[17] Ср., например, ъ в твор. падеже мн. числа въсѣми, в съ и в къждо в молдавской рукописи, датированной XVI в. (текст см.: J. Vašica, J. Vajs, Soupis staroslovanských rukopisů Národního Musea v Praze, Praha, 1957, стр. 160).

[18] См. D. P. Bogdan, Acte moldoveneşti din anii 1426—1502, Bucureşti, 1947, стр. 11.

[19] Относительно хронологии и о самом явлении см.: А. М. Селищев, Старославянский язык, 1, М., 1951, стр. 271.

[20] См. ВСМІ, X—XVI, стр. 50; граффити конца XIV в.

[21] См.: D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, «Documente privind istoria Romîniei», Introducere, II, 1956, стр. 71; его же, Фонетические особенности..., стр. 62.

[22] См. грамоту господаря Валахии Михая от 22 июня 1418 г., хранящуюся в Бухарестском государственном архиве, Историческая секция, Цара Ромыняскэ, № 19. Цитируем по оригиналу, поскольку издание, сделанное P. P. Panaitescu [«Documentele Ţării Romîneşti», I, Documente interne (1369—1490), Bucureşti, 1938, стр. 114—115, № 35], содержит пропуски.

[23] См.: D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, стр. 70; его же, Фонетические особенности..., стр. 62.

[24] См. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, стр. 70.

[25] См. D. Frunzescu, Dictionar topografic şi statistic al Romîniei, Bucureşti, 1872.

[26] См. там же.

[27] См. ВСМІ, X—XVI, стр. 50.

(1386—1418 гг.)[28]. Обратное явление — и вместо ы — наблюдается в местн. падеже ед. числа муж. рода — **манастирь** в надписи XIV—XV вв., найденной в церкви села Заранда[29] [область Орадя (Трансильвания) района Криш]; в этом же слове — **монастир** в Тулчинской хронике (л. 238 рукописи); в том же самом слове в молдавском рукописном памятнике, относящемся к 1500 г.; затем в род. падеже муж. рода ед. числа **воєводї** в том же памятнике[30]; в слове **нинѣ** в грамоте господаря Валахии Владислава I[31], а также в им., дат., местн. падеже ед. числа существительного **монастиръ** и прилагательного **монастирскы** в грамотах, составленных в Валахии и Молдове в XIV—XV вв.[32], наряду с формами **монастырь** и **монастырскы**[33]. Под ударением **ь** на месте **ъ** встречаются еще в самых старых надписях Валахии[34] и Трансильвании[35], а также в рукописных памятниках[36]. **ѫ** вместо ударного **ъ** представлен в самых старых валашских грамотах[37], куда он пришел, несомненно, из рукописных литературных памятников; здесь же отметим наличие **ѫ** вместо конечного **ъ** в рукописях[38]. Частая замена конечного **ь** через **ъ**[39] (при более редкой обратной замене в той же позиции[40]), местоименное окончание род. падежа ед. числа муж. и ср. рода **га**[41], **ѫ** на месте конечного **ъ**[42] — все эти явления встречаются еще в самой старой валашской грамоте, принадлежащей господарю Владиславу I и относящейся к 1374 г.

Подчеркнем, однако, что конечное **ь** на месте **ъ** появляется еще в валашской надписи 1364 г.[43], в надписи из Заранды[44] в Трансильвании,

---

[28] См. факсимиле, изданные А. Сачердоцяну (A. Sacerdoţeanu) и Д. П. Богданом (D. P. Bogdan) в сб. «Culegere de facsimile pentru Şcoala de arhivistică», Seria slavă, 1 (№№ 1—20), Bucureştî, 1943, снимки 7 и 11.

[29] См. S. Dragomir, Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor în sec. XIV şi XV, «Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice», Seria pentru Transilvania pe anul 1929, Bucureşti, 1930, стр. 229.

[30] См. E. Şt. Piscupescu, указ. соч., снимок 6.

[31] См.: A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимок 1.

[32] См. A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимки 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 и 20.

[33] Ср. им. и дат. падежи ед. числа существительного монастырь и прилагательного монастырскы там же, снимки 1, 10, 12, 15 и 18.

[34] Ср. местн. падеж ед. числа ср. рода дльгополи в надписи 1352 г. и им. падеж ед. числа муж. рода самодрьжавныи в надписи 1364 г. (ВСМІ, X—XVI, стр. 16 и 18).

[35] См. им. падеж ед. числа муж. рода бьлѣ в цитированной выше надписи XIV—XV вв.

[36] См. местн. падеж жен. рода ед. числа оугрьсцѣи в евангелии 1405 г. (A. Ştefulescu, Mânăstirea Tismana, Bucureşti, 1909, стр. 32—33, факсимиле).

[37] См. Д. П. Богдан, Фонетические особенности..., стр. 70, сноска 53; приведем еще им. падеж мн. числа жен. рода къща в одной из грамот Мирчи Старого (факсимиле см.: A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимок 11).

[38] Ср. местн. падеж ед. числа муж. рода самомѫ и семѫ в валашской рукописи XVI в. (текст. в кн.: J. Vašica, Vajs, указ. соч., факсимиле 3).

[39] Ср. им. падеж муж. рода ед. числа доходъкь, род. падеж жен. рода мн. числа работь, вин. падеж муж. рода ед. числа въсѣкь празникь, род. падеж муж. рода мн. числа перпирь, дат. падеж муж. рода мн. числа оубогымь, род. падеж муж. рода мн. числа мѣховь и сыровь, род. падеж ср. рода мн. числа недръщь, сослагат. накл. наст. времени 3-го лица мн. числа дръжѫть, полагаѫть и 3-го лица ед. числа оубїеть, а также им. падеж. ед. числа кь.

[40] Ср. твор. падеж. муж. рода ед. числа трѹдомъ, им. падеж. муж. рода ед. числа весъ, твор. падеж муж. и ср. рода ед. числа въсѣмъ, орѣшїемъ и церовцемъ.

[41] Ср. род. падеж ср. рода ед. числа наигорнега и сослагат. накл. наст. времени 3-го лица ед. числа да га оубїеть.

[42] Ср. нѫ; здесь же отметим тѫкмо. Такая же замена имеет место и в некоторых грамотах Мирчи Старого (A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимки 5, 7, 9).

[43] Ср. им. падеж муж. рода ед. числа гдрь, алеѯандрь, снь, а также предлог вь.

[44] Ср. хтиторь.

в молдавских надписях XV в.[45], в валашской рукописи 1405 г.[46], а также в молдавских рукописях XV в.[47] и XVI в.[48]. Равным образом оу вместо къ встречается еще в самых старых валашских грамотах начиная со времен Дана I (в грамоте от 3 октября 1385 г.), где оу встречается наряду с къ [49]. Во втором десятилетии XV в. встречается р на месте ж [50]. В этой связи можно отметить и замену ѧ через є как в грамотах Мирчи Старого[51], так и в рукописи 1405 г.[52]. Здесь же отметим замену ѫ через ȣ (впервые встречается в грамотах Мирчи Старого, где это явление чередуется с правильным употреблением ѫ)[53].

Что касается эпентетического *l*, то следует отметить, что из тринадцати подлинных грамот, сохранившихся в Валахии от XIV — начала XV вв. (1385—1418 гг.), в шести он встречается[54], а в остальных нет[55]. Влияние тырновской школы сказывается в наличии в начале слова ѫ на месте ѧ (в одной из грамот Мирчи Старого)[56]. В молдавских, а также в валашских текстах и надписях, кроме замены ы на и [57], можно отметить распространение русских рефлексов слоговых плавных єр, ор[58] наряду со старославянскими лъ, ръ[59], русское полногласие[60], неразличение ѳ и ф [61] и специфический украинский фоне-

[45] Ср. им. падеж муж. рода ед. числа сн҃ь, г(с)п(д)рь, стефань и род. падеж муж. рода мн. стыхъ, славныхъ, въсехвалныхъ, връховныхъ и ап(ст)ль, наряду с которыми встречается: им. падеж муж. рода гпр҃ъ и бъ҃, вин. падеж ед. числа дн҃ъ и въ (G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, факсимиле на стр. 24, 27 и 68).

[46] Ср. им. падеж муж. рода ед. числа попь, никодимь, а также предлог вь.

[47] Ср. сигматический аорист 3-го лица ед. числа бысть и им. падеж муж. рода ед. числа животь и свѣть (дважды) (E. Şt. Piscupescu, указ. соч., снимок 4).

[48] Ср. им. падеж муж. рода ед. числа длъжень, нашь, празникь и мирень (J. Vašica, J. Vajs, указ. соч., стр. 160, № 90).

[49] См. Д. П. Богдан, Фонетические особенности.., стр. 72—73. Ср. также местн. падеж жен. рода ед. числа оу моуюрица(х) наряду с формой того же падежа с въ [въ ино(м) мѣстѣ и въ земли], а также ȣзети в некоторых грамотах Мирчи Старого (подлинники в библиотеке Академии наук Румынской Народной Республики— Documente, XX — 155 и XLV — 144).

[50] См. такождере в валашской грамоте от 22 июня 1418 г. (подлинник в Государственном архиве, Историческая секция, Цара Ромыняскэ, № 19).

[51] См. Д. П. Богдан, Фонетические особенности..., стр. 61.

[52] Ср. род. падеж ср. рода ед. числа начела и числительное деветьсьтно (снимок у A. Ştefulescu, указ. соч.).

[53] Ср. им. падеж ед. числа мȣдръчка наряду с род. падежом муж. рода ед. числа мѫжа в грамоте, хранящейся в библиотеке Академии наук Румынской Народной Республики — Documente, XLV — 144.

[54] См. A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимки 2, 9, 10—13; подлинники в Государственном архиве, Историческая секция, Цара Ромыняскэ, №№ 4 и 8.

[55] См.: A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимки 5, 7, 9 и 11; Cr. G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-romîne din Ţara Romînească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul, 1346—1603, Bucureşti, 1931, № 3, стр. 4; подлинники в Государственном архиве, Историческая секция, Цара Ромыняскэ, №№ 3 и 14 и в библиотеке Академии наук Румынской Народной Республики — Documente, XX — 174.

[56] Ср. твор. падеж. муж. рода ед. числа жзико(м) (A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ сб., снимок 11).

[57] Ср. род. падеж муж. рода ед. числа воеводи, вин. падеж муж. рода ед. числа Рибни(к) и твор. падеж муж. рода ед. числа млади(м) в надписях Штефана Великого (G. Balş, указ. соч., стр. 24, 27 и 68).

[58] Ср.: Черновско(м), Черновци и Берлада в Тулчинской хронике (лл. 244, 245 и 240); Д. П. Богдан, Фонетические особенности..., стр. 71; вин. падеж жен. рода ед. числа вербȣ в грамоте от 14 сентября 1427 г. (A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимок 19).

[59] Ср.: дръмънещи и брълада в Тулчинской хронике (л. 238); Д. П. Богдан, Фонетические особенности..., стр. 70—71.

[60] Ср.: Тирикол в Тулчинской хронике (л. 246); Д. П. Богдан, Фонетические особенности..., стр. 73.

[61] В грамоте Романа I от 30 марта 1392 г. в дате имеется ф в числовом значении ѳ (см. A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимок 4), а в молдавской рукописи XVI в. представлен род. падеж жен. рода ед. числа фамары (см. J. Vašica, J. Vajs, указ. соч., стр. 160, № 90).

тизм[62]. Вместе с тем свойственное валашским текстам наличие старославянских форм наряду со среднеславянскими характерно и для молдавских памятников эпохи феодализма[63].

В ряду явлений использования русских и украинских элементов в молдавских текстах можно отметить передачу ф через χ. Подобная замена представлена в следующих именах собственных и топонимах: *Hodco*, *Hodici*, *Hodor*, *Hodorici*, *Hodcăuţi*, *Hodceşti*, *Hodora*, *Hodoracinţi*, *Hodorecinţi*, *Hodoreşti*, *Hodorăuţi*, *Hodorani*, *Homeşti*, *Homiceşti*, *Homici* и *Homiţa* (вместо *Fodco* — уменьшит. от *Fodor* — Teodor, *Fodici*, *Fodor*, *Fodorici*, *Fodcăuţi*, *Fodceşti*, *Fodora*—Teodora, *Fodoracinţi*, *Fodoreşti*, *Fodorăuţi*, *Fodorani*, *Fomeşti*—Tomeşti, *Fomiceni*—Tomiceni, *Fomici*—Tomici и *Fomiţa*—Tomiţa). Такие названия сел, как *Hodora*, *Homeşti*, *Homiceni* и *Homiţa*, сохранились до настоящего времени[64].

Что касается доли румынского языка в славяно-румынских текстах, то в надписи из Заранды, например, она проявляется в наличии румынского артикля и в им. падеже муж. рода ед. числа жѫпанѹ, в Тулчинской хронике — в ономастике[65] и топонимике[66]; в славяно-румынских документах, наряду с именами собственными[67] и топонимами[68], имеющими в своем составе румынский корень или суффикс, много румынских элементов в морфологии, в лексике и в синтаксисе.

В течение третьего периода на развитие старославянского языка на территории Валахии, Молдовы, Трансильвании и Добруджи, продолжавшего сохранять традицию предшествующих веков, оказывали воздействие и некоторые новые исторические обстоятельства. Среди них в первую очередь следует назвать приезд в Молдову русских учителей, привезенных из Киева молдавским господарем Василием Лупу (1634 — 1653) (отметим культурную деятельность в Киеве Удриште Настурела — брата Елены, жены валашского господаря Матея Басараба), привлечение в румынские княжества господарями Василием Лупу и Матеем Басарабом украинских мастеров печатного дела, широкое распространение русских и украинских рукописных и печатных памятников (в отношении рукописных, впрочем, это же можно отметить и для предыдущих веков), а для XVIII в. — создание в Молдове и Валахии целой школы переводчиков и переписчиков, основанной известным украинским книжником Паисием Величковским (1722 — 1794).

---

[62] Ср., например: местн. падеж муж. рода ед. числа гѣсѣ в надписи Штефана Великого (G. Bals, указ. соч., стр. 68); млѣчно, мохнли, бзл(л),пощлша, бзли и иха(л) в Тулчинской хронике (лл. 238, 240, 242 об. и 244 об.), где дважды появляется укр. *мисто* — в рукописи мѣсто — в значении градъ (л. 241). Точно так же: оуларитъ, оусѣмъ, оусѣхъ, узне(с)нїа и оучинили в грамоте от 12 октября 1409 г. (A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимок 12).

[63] Так, например, в надписях Штефана Великого наряду с род. падежом муж. рода ед. числа воєводи, вин. падежом ед. числа Рикни(к), твор. падежом ед. числа младн(м), им. падежом муж. рода ед. числа богдань и гроѕь имеем: род. падеж муж. рода ед. числа воєводы, им. падеж муж. рода ед. числа гп(д)ръ и гп(д)р — без конечного ъ (как и памат из могильной надписи 1364 г. господаря Валахии Николая Александру Басараба), вин. падеж ед. числа кастрикѣ, воєводѣ и твор. падеж ед. числа кнѣгею ма(с)тїю (см. G. Bals, указ. соч., снимки на стр. 24, 27, 68, 279, 282, 150 и 278). В грамоте от 14 сентября 1427 г. имеем: род. падеж муж. рода ед. числа перекопа, твор. падеж ед. числа пр҃копомъ, род. падеж ед. числа перекопа, вин. падеж жен. рода ед. числа вєрѣ и род. падеж ед. числа вѣры (см. A. Sacerdoţeanu, D. P. Bogdan, указ. сб., снимок 19).

[64] См. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, стр. 69—70.

[65] Ѳлеѳандрєла, Ѳлеѳ҃ндрело(м), Цапалѣше(м), Бъсърабо(м), Бъсърака, мѣнтанс, мѣнтанскоѵ (лл. 228об., 238, 241, 240 и 240об.).

[66] Ср. Ботѣшанн, Тъмъшанн, Рашєѣнн и Хрлскъ (лл. 238 и 238об.).

[67] D. P. Bogdan, Caracterul limbii textelor slavo-romîne, Bucureşti, 1946, стр. 14—20. О румынских именах собственных, встречающихся в документах молдавского происхождения, см.: Д. П. Богдан, Связь между личными собственными именами молдавских и украинских документов до половины XV в., сб. «О румыно-русских и румыно-советских связях», М., 1960.

[68] D. P. Bogdan, Caracterul limbii textelor slavo-romîne, стр. 20—43.

Три века непрерывного совместного проживания исконного романского населения Дакии и Мезии со славянами привели к тому, что романцы еще в VIII в. переняли от славян замену велярного согласного *k* палатальной аффрикатой *č*[69]; это засвидетельствовано во многих именах собственных греческого происхождения. Ср. **Чюрило** < κυρίλλος с производным **Чюрилеци** и **Чюричеци** < уменьш. **Чюрикъ** ‹**Чюръ**› **Чюрило**, а современные топонимы *Ciura*, *Ciurea* и *Ciureşti* подтверждают, что существовало и личное собственное имя *Čurъ* < κυρ-[70]. Длительное совместное проживание способствовало также и тому, что романское население Дакии и Мезии позаимствовало от славян еще в первой половине IX в. использование лабиального взрывного *p* на месте лабиального фрикативного согласного *f*. Следы этого фонетического явления сохраняют следующие имена собственные в славяно-румынских документах: **степанъ** наряду с топонимом **степановъци** (**степановци**), **юсипъ**, **встапко** и топоним **встъпчани**, **пилипъ**, **пилиповски**, **пилипчѣ**, **пилиповци**, — употреблявшиеся наряду с более поздними формами: **стефанъ**, **юсифъ**, **филипъ** и их производными[71].

Несколько слов об авторстве славяно-румынских текстов. Не раз утверждалось, что румынами написаны на славянском языке очень немногие оригинальные тексты, а именно: полиелей, написанный логофетом Филосом, несколько молдавских хроник XV и XVI вв., а также Поучения валашского господаря Нягое Басараба. К этим текстам следует прибавить славяно-румынские документы и надписи. Остальные славяно-румынские тексты принято считать лишь славянскими копиями, которые были сделаны румынами со славянских книг религиозного содержания. Однако предпринятые в последнее время исследования свидетельствуют о том, что румыны создали на славянском языке большую агиографическую и гомилетическую литературу [72]. А если учесть наблюдение А. С. Петрушевича над лексикой евангелия 1477 г., написанного молдавским писцом по поручению молдавского жупана Михаила Логофета и его братьев, в котором, как показывает украинский ученый, «встречаются большие отступления и прибавки»[73] по сравнению с классическим и славянским текстом евангелия, то можно утверждать, что и в создание книг религиозного характера румыны также внесли свою ленту.

Тексты надписей*

1

к а҃то ѯ҃з҃к҃ мц҃а || се(п). ки прѣс||таки сѧ васіан||а москичъ || иванъвъ сн҃ъ всякова.

Оригинал, высеченный на песчанике, находится в подвалах Сучавского краеведческого музея. В тексте имеются следующие лигатуры: ц с а в мц҃а в строке первой, а с т прѣстависѧ в в строке третьей, а с м в строках третьей — четвертой, где а конечное в слове васіан соединено с м начальным слова москичъ, и и с ъ в сн҃ъ в пятой строке. Титло над п в слове се(п) изображено двумя параллельными черточками — явление, неизвестное графике славяно-румынских надписей XV в.

[69] О характере явления и его хронологии см.: А. М. Селищев, указ. соч., стр. 204.

[70] D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, стр. 70.

[71] Там же, стр. 69.

[72] Ср. I. Iufu, [рец. на кн.:] P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din biblioteca Academiei RPR, I, в журн. «Biserica ortodoxă romînă», 79, 3—4, 1961, стр. 396—397.

[73] A. Pietruszewicz, De versione slovenica sacrae Scripturae, «Литературный сборник, издаваемый Галицко-руской матицею», Львов, 1887, стр. 183, примеч.

* При воспроизведении текстов конец строки обозначается знаком ||, надстрочные буквы опускаются в строку и заключаются в круглые скобки, лигатуры расшифровываются. Знаком — — — указываются пропуски и неразборчивые места текста; недостающие в тексте и восстанавливаемые места выделяются угловыми скобками; в квадратные скобки заключаются стертые в тексте места. — *Ред.*

2

Лѣта ≠ζρ$ го изволениемъ присносѵщнаго и безначалнаго w(т)ца и поспѣшениемъ единороднаго сна и содѣистне(м) стаго дха при державе хр(с)толюбиваго и великаго г(с)ара благоч(с)тиваго цра || и великаго кнзя фе҃ѡдора ивановича всеа рѳси самодержца и пр wцѣ его и вгомъ<м>олцѣ стѣишемъ иевѣ патрїархѣ московскомъ и всеа рѳси и прі вголюбивои црце великои кнгне ирине бжиею мⷧлостию и господаревымъ црьскимъ повелениемъ перкы митрⷬполїтъ варламъ граду рѡстов҃ повелѣлъ сию плащаниц҃ здѣлати к соборнѵю церковь пречистыа вцы честнаго и славнаго еіа || ѻспения и скатыхъ великихъ чюдотворцохъ рѡстовскихъ лѡнтика и исаа и игнатиа и ѥкова к славѣ и <ѳ>пованіе пресѵатыа троица wца и сна и скатаго дха аминь и соверше(н) м(с)ца декавря к кв.

Плащаница вышита на шелке и хранится в сокровищнице Сучевицкого монастыря. Рядом с изображениями святых имеются надписи — титул святого по-гречески, а имя и определения — по-славянски. Текст вышит по всем четырем краям серебряной нитью, литеры — коричневые. В тексте имеются следующие лигатуры: м с ъ в словах: изволеніемъ, поспѣшеніемъ, вгомъ<м>олцѣ, стѣишемъ, московскомъ, црьскимъ и варламъ; н с а и с г в единороднаго; а с г в стаго, хр(с)толюбиваго, великаго (дважды), славнаго и скатаго; а с п в дха при; а с к в державе, славнаго и в соединении а конечного в слове ивановича с к слова всеа; л с ю в хр(с)толюбиваго и вголюбивои; и с к в хр(с)толюбиваго, благоч(с)тиваго и в соединении первого и с к в ивановича и в вголюбивои; о с и в соединении о конечного в слове хр(с)толюбиваго и союза и; и с к в великаго; и с р в всеа и рѳси (дважды); п с р в при, стоящем перед словами wцѣ и вголюбивои; а с ц в вгомъ<м>олцѣ; а с т в патрїархѣ, здѣлати и игнатиа; н с г в кнгне; и с г при соединении союза и с первой буквой слова господаревымъ; а с р в господаревымъ и варламъ; м с и и с т в митрⷬполїтъ; ц с а в плаѰаниц҃; н с т и н в лѡнтика; и с к в ѥкова; а с н в <ѳ>пованіе; г с м и с т в скатаго; м с и н аминь; м с ц в м(с)ца; а с я и с р в декавря.

3

Ieromonah elisey ot zemli liadszkoj — -- — om z mesta dubna **рок҃ ахкд м(с)ц а ма(р)та д.**

Граффити на первом столбе левой стены ввода в притвор церкви Сучевицкого монастыря.

4

Николае белакичь ро(к) ≠ахлѕ.

Граффити на правой стене притвора церкви Сучевицкого монастыря.

5

Матѳе(и). толо(ч)ко ѳо(и)ть роу(с)ки(и) камене(ц)ки(и) проклм(т) ≠ахмѣ.

Граффити на левой стене при входе в неф церкви Сучевицкого монастыря. В тексте имеется лигатура ц с и конечным в слове камене(ц)ки(и).

6

Ѳоткори тома || ѳыньтынарь҃(л) || и жени его богѣши || ко лито ≠ζрпг: месець сеп(тв).

Оригинал нанесен белой краской на одном тетраподе монастыря Хомор (Хумор). В тексте лигатура ш с і в богѣши. Язык: фита приравнена к ферту, русск. во, укр. лито и румынские *Toma* и *fiintinarul* «мастер по колодцам».

7

Ѳамон(л) сано(ц)кїи с премышла ≠ахмѣ ѕльа.

Граффити, найденное на правой от входа стене церкви Хоморского монастыря.

8

Ѳамон(л) са<но(ц)к>їи с премышла ≠ахмѣ а бі.

Граффити, оттуда же (расположено несколько выше).

9

Ѳамое(л) сано(ц)кїи с премышла прокл҃м(т) бы(л) ро(к) ≠ахмѣ.

Граффити, оттуда же.

10

Симеѡ(н) с прѣмышлѧ ро(к) ≠а҃хѯ.

Граффити на правой от входа стене церкви Сучевицкого монастыря.

11

Іѡа(н) малѧ(р) ѡ(т) коломии ‖ к лѣ(т) ≠҃зрно м(с)ца декеври и҃ д.

Граффити на левой стене восточного входа церкви монастыря Молдовица.

12

Ро(к) ≠а҃хна данїи(л) малѧ(р) ѵзлове(ц)кі.

Граффити на абсиде алтаря (под образом святого Георгия) церкви Воронецкого монастыря (Сучевская обл.).

13

Дании(л) ма<л>жръ ѵзлове(ц).

Граффити на абсиде алтаря (под образом святого Хрисанфа) церкви Воронецкого монастыря.

14

Микола(и) пекѣлюцкїи рокѯ ≠а҃хns мца апрелѧ ні днь.

Граффити на пронефе, на левой стене Петрауцкой церкви (Сучавская обл.). В граффити имеется лигатура **и с ь** в слове **днь**.

15

Микола(и) пекѣлицъки(и) ро(к) бо(ж) ≠а҃хns мца апри(л) дни к҃е.

Граффити на правой стене входа в церковь Воронецкого монастыря под изображением Козьмы и Дамиана.

16

Ѧндре(и) ве(н)кове(ц)ки(и) проклѧ(т) ≠а҃хнz ма(и) к҃д.

Граффити на первом столбе правой стены входа в притвор церкви Сучевицкого монастыря.

17

Рокѯ ≠а҃хѯк м(с)ца іюлїа а҃(г) многогрѣшныи былъ зде іларіѡнъ монахъ помани г҃и во цр(с)твіи своемъ проклѧ(т)ъ.

Граффити на левой стене притвора церкви при Сучевицком монастыре. Графика и язык указывают на русского автора.

18

† Рокѯ ≠а҃хѯs бы(в) иеромона(х) димитри(и) ѡ(т) полтавѣй м(с)ца ѡк҃то(в)рїа пїса(к) февралѧ а҃ число во лато ≠҃зрое.

Ниже:

† Помени г(с)ди дш҃ѵ раба своего димитрїа во цар(с)твіи свое(м) нб(с)номъ аминь.

Помени г(с)ди дш҃ъ ра(б) свои(х) в плѣненѣ раба своего ішана іоана ко(н)дратїа гапѣю татїяну мрю пара(с)кеѵю іоана еѵаіетїю со чада іоана орішку кіерана—— сороднїки моа—— во цар нѣб амнъ ≠а҃х҃а<z>.

Граффити на южном контрфорсе абсиды алтаря (под изображением сорока мучеников) в церкви Воронецкого монастыря. Между первым и вторым граффити находится следующий румынский текст: *a fostu eromonah Dimitrie de la Poltava* рокѯ ≠а҃х҃аz. Это румынское граффити относится к тому же времени, как и два других, принадлежащих Дмитрию из Полтавы.

19

† Рокоѵ бжго ≠а҃х҃аи би(л) тоѵ(т) оѵ ѡбителн сто҃и: еръмонахъ касіа(н)нъ прокоповичь з своіх родомъ †

Граффити на левой стене притвора церкви Сучевицкого монастыря.

20

Игнатне стра(н)ни(к) ро(к) ≠а҃хоs.

Граффити на второй правой стене церкви Сучевицкого монастыря. Графика и язык свидетельствуют о принадлежности граффити русскому писцу.

21

Помѧни господи многогрѣш'наго || гавриила краснопол'скаго || и родичѣ его р҂аѯѳв҃.

Граффити на второй правой стене церкви Сучевицкого монастыря. Автор граффити использовал букву ѳ в значении 90.

22

(XVII в.)

† Би(л) тоутъ ѡ(т)цъ ларїонъ і <с>ъ монахомъ іѡанїкиемъ с кіева.

Граффити на левой стене притвора церкви монастыря Сучевица. В тексте граффити написано въ вместо съ.

23

(XVII в.)

Помѣни г(с)ди рабо(в) свои(х) зде бывши(х) ереꙗ дороѳеꙗ еро(д) лариѡна—— с киева.

Граффити на левой стене притвора церкви Сучевицкого монастыря.

24

(XVII в.)

Васи(л) || з снѧтина.

Граффити на левой стене входа в притвор церкви Сучевицкого монастыря.

25

Сеи иконоста(с) малова(л) живописецъ рабъ б҃жіи михаилъ та-кс-к-великоросїѧнъ года ҂аѱе м(с)цѧ аѵ(г) і҃е да помѧне(т) его богъ.

Надпись на иконостасе церкви Сучевицкого монастыря.

26

Іе(р)мона(х) ѳеѡфанъ || чеховичъ егѵпе(т)скїи ро(к) ҂аѱкѳ.

Граффити на первом столбе левой стены входа в притвор церкви Сучевицкого монастыря. Лигатуры: р с м и н с а в слове іе(р)мона(х) и а с н в слове ѳеѡфанъ.

27

Д8наевскїи маѳе(и) з8гра(ф) зе лвова б8л т8 з п8тнои в лето ҂ѕс҃ѯг ѡк(т)↑д҃і.

Граффити на левой стене притвора церкви Сучевицкого монастыря. Употреблен румынский предлог ↑ = în «в».

28

Сеи іканастасъ создалъ іеросхимонахъ коментарїи великаго скита ѕок8 бо҃жго ҂аѡе.

Надпись на иконостасе церкви Сучевицкого монастыря.

Перевела с румынского *Л. И. Лухт*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

А. Н. ДОБРОМЫСЛОВА

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ЯВЛЕНИЯ ПАДЕЖНОГО СИНКРЕТИЗМА В ДРЕВНЕМ НОВГОРОДСКОМ ГОВОРЕ

В новгородских памятниках начиная с XI в. наряду с древнерусскими формами род. падежа женского двухвидового склонения на *-у*, *-ѣ* (типа *воды*, *землѣ*) встречаются формы, совпадающие с формами дат.-местн. падежа (*оу Козѣ*, *из грѣчьскѣи земли*). Этот известный факт получил подтверждение и в новгородских берестяных грамотах, где формы на *-ѣ* твердой разновидности и формы на *-і* мягкой разновидности *ā*-основ представлены в значительном количестве, что дает основание для предположения о постепенной утрате самостоятельной формы род. падежа женского двухвидового склонения в древнем новгородском говоре [1], завершившейся к концу XIII — началу XIV в.

Объединение функций трех падежей в одной форме в указанный период обычно объяснялось взаимодействием твердой и мягкой разновидностей склонения *ā*-основ [2]. Наряду с этим обращалось внимание и на аналогическое воздействие со стороны других типов склонения (индукция *ĭ*-основ), а также на влияние единой для тех же падежей формы согласуемых местоимений и прилагательных женского рода [3]. В работе С. П. Обнорского об именном склонении учитывается также наличие общего окончания род., дат. и местн. падежей у древних *ŏ*-основ, получивших окончание *-и* в род. и местн. падежах [4].

К решению вопроса о причинах совпадения форм род. падежа и дат.-местн. падежа в древнем новгородском говоре представляется возможным подойти, определив формальные предпосылки развития синкретизма этих трех падежей. С точки зрения поставленной задачи различия в падежном значении существенны не сами по себе, а лишь в том отношении, что в одних случаях с различиями значения связано различие формы, в других — различие значений не имеет формального выражения [5]. При определении внутренней структуры древнерусской системы склонения целесообразно использовать понятие частной падежной системы, выдвинутое Л. Ельмслевом [6]. В его понимании каждый класс склонения имеет свою частную падежную систему, отличную от общей падежной системы языка и от других частных систем в отношении количества различаемых в ней падежных форм и характера падежного синкретизма. Под падежным син-

---

[1] Ср. Л. П. Жуковская, Новгородские берестяные грамоты, М., 1959, стр. 117.

[2] См.: А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, М., 1907, стр. 183; Н. Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М.— Л., 1924, стр. 280; П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, М., 1959, стр. 41; W. Kuraszkiewicz, Gramoty nowogródzkie na brzozowej korze, Warszawa, 1957, стр. 42.

[3] См.: А. А. Шахматов, Историческая морфология русского языка, М., 1957, стр. 344; Л. А. Булаховский, Грамматическая индукция в славянском склонении, ВЯ, 1956, 4, стр. 19.

[4] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, I — Единственное число, Л., 1927, стр. 87—88.

[5] Ср. Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, 's-Gravenhage, 1958.

[6] L. Hjelmslev, Sur l'indépendance de l'épithète, København, 1956, стр. 6.

кретизмом понимается совпадение двух или более падежных форм в пределах частной падежной системы при сохранении противопоставленности соответствующих падежей в других частных системах данного языка [7].

Утрата собственной формы род. падежа *ā*-основ в новгородском говоре XII—XIV вв. представляет собой трансформацию одной из частных падежных систем склонения предшествующей эпохи (конца XI и начала XII в.), в основных чертах единого для всего древнерусского языка. Представленные в нем парадигмы ед. числа распределялись между восемью классами склонения с неодинаковым составом падежных форм, определяемым различными типами синкретизма.

Существительные мужского и среднего рода с окончанием *-а* в Р падеже [8], имевшие единую форму для И и В падежей (*столъ*, *конь*, *село*, *поле*), входили в единый класс склонения, который условно может быть обозначен как I класс. Синкретизм прямых падежей (называем так в соответствии с традицией романского языкознания И и В падежи), характеризующий этот класс, назовем синкретизмом первого типа (S_1).

Существительные мужского рода с окончанием *-а* в Р падеже и с общей формой Р и В падежей (синкретизмом второго типа, или S_2) образовывали другой класс склонения, который в дальнейшем именуется II классом. В рассматриваемый период (XI в. и начало XII в.) в него входили только имена лиц мужского пола (*Мьстиславъ*, *Иванъко*, *кнѧзь*, *братъ*).

Признаком III класса является синкретизм Д и М падежей (S_3). Сюда относились существительные женского рода и немногие существительные мужского рода, имевшие в Р падеже окончание *-у*, чередующееся с *-ě* в зависимости от качества конечного согласного основы (*жена*, *воєвода*, *воля*, *кнѧгыни*, *соудии*).

IV класс характеризовался комбинацией синкретизма прямых падежей с синкретизмом Р — Д — М падежей ($S_1 + S_4$). Этот класс включал слова с окончанием *-i* в общей форме Р — Д — М падежей и неподвижным типом ударения (*рать*, *путь*, *тать*).

В V классе синкретизм прямых падежей комбинируется с синкретизмом Р и Д падежей ($S_1 + S_5$). Сюда входили существительные женского рода с окончанием *-i* в общей форме Р и Д падежей и подвижным типом ударения и существительные мужского рода с окончанием *-и* в Р и Д падежах и также с подвижным типом ударения (*кость*, *медъ*). (В этом классе М падеж, совпадая по окончанию с Р и Д падежами, имеет дополнительный морфологический признак ударения.)

Примета VI класса — синкретизм Р — М падежей (S_6). Здесь представлены существительные неравносложные мужского и женского рода, имевшие окончание *-е* в Р — М падежах (*камы*, *мати*, *свекры*).

VII класс представляет соединение синкретизма прямых падежей с синкретизмом Р — М падежей ($S_1 + S_6$) и содержит неравносложные существительные среднего рода (*имѧ*, *телѧ*) и равносложные мужского и женского рода (*дьнь*, *кръвь*) с окончанием *-е* в Р — М падежах.

VIII класс представлен личными местоимениями; в нем комбинируются синкретизмы II и III типов.

Прилагательные и родоизменяемые местоимения распределялись между первыми тремя классами склонения, причем во II класс входили формы, согласуемые с определяемым личного подрода, в III — формы женского рода. Классы IV—VII были чисто субстантивными.

По способам различения косвенных падежей [9] классы I и II, VI и VII,

[7] Ср. сб. «La notion de neutralisation dans la morphologie et le lexique», Paris, 1957

[8] В дальнейшем используются следующие обозначения для падежей: И — именительный, В — винительный, Р — родительный, Д — дательный, М — местный.

[9] В данном случае существенны способы различения Р — Д — М падежей. Т падеж во всех классах склонения имеет особую форму, не совпадающую с формами других падежей.

различающиеся наличием или отсутствием S_1 (И — В), могут быть попарно объединены в более крупные классы. Не сводимы в более крупные единицы классы III и IV—V, хотя в отношении синкретизма прямых падежей они сходны с предыдущими парами. Изложенное выше деление склоняемых слов по классам склонения может быть выражено таблицей 1[10].

Значения род., дат. и местн. падежей в субстантивном склонении выражались преимущественно однофонемными окончаниями, в которых использовались шесть из семи гласных полного образования, имевшихся в древнерусском языке (*і*, *ѣ*, *е*, *а*, *у*, *и*). Трехфонемное окончание *-ovi* имело применение лишь в относительно узком круге слов II класса склонения. Окончания *-ѣ*, *-е*, *-і*, *-у* и *-и* в других падежах ед. числа не встречались. При этом окончания *-ѣ* и *-і*, как будет показано ниже, имели ряд разнообразных применений в пределах трех рассматриваемых падежей.

Таблица 1

	И	В	Р	Д	М
I					
II					
III					
IV					
V					
VI			= М		= Р
VII			= М		= Р

Если понимать под морфемой класс окончаний, соотнесенных с одним и тем же отрезком плана содержания (в данном случае с одним и тем же падежным значением или группой падежных значений), то в сфере рассматриваемых косвенных падежей необходимо выделить, наряду с однопадежными морфемами Р — Д — М падежей, также ряд синкретических морфем, объединяющих в одном звучании значения двух и трех падежей.

Однопадежные морфемы выделяются в тех классах склонения, которые имеют самостоятельную форму для соответствующего падежного значения; выделение синкретических морфем осуществляется на материале тех классов, в которых представлены общие формы для каких-либо комбинаций рассматриваемых падежей.

Таблица 2

Однопадежные морфемы	Р *-а,-у (-і?), -ѣ (стола, села, коня, полю; брата, князю, Мьстислава, Иванъка; воды, вожводы, землѣ, княгынѣ, соудиѣ)* Д *-и/-ovi, -і (столу, селу, коню, полю; брату, князю, Мьстиславу, Иванъкови; камени, матери, дни, кръви, имени)* М *-ѣ, -і, -и* + ударение, *-і* + ударение *(столѣ, селѣ, кони, поли; братѣ, князи, Мьстиславѣ; меду, кости)*
Двухпадежные морфемы	Р — Д *-и, -і (меду, кости)* Д — М *-ѣ, -і(водѣ, вожводѣ, земли, княгыни, соудии)* Р — М *-е (камене, матере, дне, кръве, имене)*
Трехпадежная морфема	Р — Д — М *-і (рати, пути, тати)*

Выбор алломорф (т. е. окончаний в пределах одной морфемы) в пределах класса склонения определялся грамматическим родом (например, в V классе склонения, где окончание *-и* использовалось только для слов мужского рода) или типом основы (в склонениях, различавших твердую

[10] Здесь и далее VIII местоименный класс при рассмотрении системы склонения существительных не учитывается для удобства изложения.

и мягкую разновидность). Внутриморфемные чередования алломорф, зависящих от типа основы, в рассматриваемый период не имели фонетического основания; с ними не связывались также никакие семантические различия. В связи с последним эти алломорфы можно назвать синонимичными алломорфами (например, *-ě* и *-i* в двухпадежной морфеме Д — М III класса склонения).

С другой стороны, в описываемой системе была широко представлена омонимичность алломорф, которые в таком случае выступали в составе нескольких морфем. Так, *-i* находим в следующих морфемах: 1) Д падежа — в словах, имевших окончание *-e* в Р и М (древнего консонантного склонения); 2) М падежа — в сочетании с основами на мягкие согласные I и II классов склонения (*jŏ*-основы); 3) Д — М падежей — с основами на мягкие согласные III класса склонения (*jā*-основы); 4) Р — Д падежей — у слов, имевших окончание *-i* в Р — Д — М падежах при подвижности ударения (V класс склонения); 5) Р — Д — М падежей у слов IV класса склонения (древних *t*-основ с неподвижным типом ударения). Если же допустить, что функциональное объединение *i* и *y* произошло до падения редуцированных [11], то речь будет идти о шестом применении *-i* — в Р *ā*-основ. В трех морфемах встречается окончание *-ě*: Р падежа (с мягкими основами III класса склонения), М падежа (с твердыми основами I и II классов склонения), Д — М падежей (с твердыми основами III класса склонения). При этом существенно отметить, что одно окончание может выполнять различные функции даже в рамках одного класса склонения (так обстоит дело, в частности, в III классе склонения, где окончание *-ě* в зависимости от типа основы используется для выражения то Р, то Д — М падежей).

Омонимичность алломорф преодолевалась в разных диалектных группах разными путями. Общим для всех древнерусских говоров было разрушение старого склонения согласных основ, упразднившее алломорфу *-i* в однопадежной морфеме Д. Можно думать, что для процессов, ведших к устранению омонимичности, не безразлично было падение редуцированных, которое ускорило функциональное объединение *i* и *y* и тем самым — оформление новой функции окончания *-i*.

В говорах Северо-Восточной Руси употребление окончаний *-ě* и *-i* было упорядочено в результате обобщения окончаний твердой разновидности в обоих двухвидовых склонениях. В первую очередь унификация разновидностей была проведена в форме Р падежа женского склонения. Это произошло, как можно думать, в начале XIII в. В новгородском говоре многозначность окончаний *-ě* и *-i* ограничивалась с постепенной утратой обеих старых форм род. падежа женского двухвидового склонения и образованием синкретической формы Р — Д — М падежей на базе формы Д — М (*у женѣ*, *к женѣ*; *от земли*, *на земли*). Не исключена возможность, что толчком к такому развитию послужили спорадические случаи мены синонимических окончаний *-i* и *-ě*, которые первоначально могли иметь место в формах Д — М (и М неженского склонения); ср. формы *в ветъсѣ одежѣ*, *къ ширынѣ* при вин. падеже *ширыню* в Новгородской минее 1095 г. Вместе с тем значение такой мены синонимических окончаний не следует преувеличивать. Так, в И — В множественного числа женского двухвидового склонения, где процессы, сходные с образованием синкре-

[11] См. F. V. Mareš, Vznik slovanského fonologického systemu a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», XXV, 4, 1956, стр. 482; E. Koschmieder, Die Palatalitätskorrelation im Slavischen, Heidelberg, 1958, стр. 9—10. В пользу высказанного предположения как будто говорят и некоторые морфологические факты. Так, формы причастий *бывающия*, *съчетавшиисѧ* и под., отмеченные в Ефремовской кормчей начала XII в. (см. С. П. Обнорский, О языке Ефремовской кормчей XII в., СПб., 1912, стр. 51), получили элемент *-i-* в окончании, как можно думать, под влиянием прилагательных твердой разновидности (типа *святыи*), что могло произойти лишь при условии функциональной тождественности *i* и *y*.

тической формы Р — Д — М, не имели места, окончание мягкой разновидности -ѣ на твердую разновидность почти не распространялось.

К середине XIV в. в говорах новгородского типа количество омонимических окончаний значительно уменьшилось. Сократилась также численность алломорф в ряде морфем (см. табл. 3).

Таблица 3

Однопадежные морфемы	Р -*а* (*стола, села, коня, поля*; *брата, князя, Иванка*) Д -*и* (*столу, селу, коню, полю*; *брату, князю, Иванку*) М -*ѣ*, (-*і*), -*і* + ударение, -*и* + ударение [*столѣ, селѣ, конѣ* (*кони*), *полѣ* (*поли*); *братѣ, князѣ* (*князи*); *меду, кости*]
Двухпадежная морфема	Р — Д -*и*, -*і* (*меду, кости*)
Трехпадежная морфема	Р — Д — М -*ѣ*, -*і* (*водѣ, вокводѣ, земли, княгини, соудьи*; *рати, пути, дни, камени, матери, имени, крови*)

Двухпадежные морфемы Р — М и Д — М в этой системе отсутствуют. Окончание -*ѣ* выступает в двух морфемах — однопадежной М и трехпадежной Р — Д — М — вместо первоначальных трех. Окончание -*і* в части говоров сохранилось в трех морфемах (М, Р — Д и Р — Д — М) вместо четырех в древнерусском склонении; в других говорах, обобщивших -*ѣ* в М падеже обеих разновидностей неженского двухвидового склонения (*на конѣ, на столѣ*) [12], -*і* представлено только в двух синкретических морфемах (Р — Д и Р — Д — М). Количество частных падежных систем сводится к пяти.

Типы синкретизма для I и II классов остались прежними. III класс с утратой различения Р и Д — М усвоил синкретизм четвертого типа (S_4), характеризовавший первоначально IV класс склонения. Слова VI и VII классов склонения, также усвоившие синкретизм Р — Д — М падежей, присоединились к IV классу. Таким образом, IV класс склонения, содержавший прежде *і*-основы с неподвижным ударением, пополнился словами типа *церковь, камень, имя, тело*. Вместе с тем существительные, обозначавшие лиц мужского пола (*тать, гость*), ушли из него во II класс склонения. Постепенно шел переход в I и II классы склонения слов мужского рода из того же IV класса (*звѣрь, гусь* и под.). В составе III класса существенных изменений не произошло.

Таблица 4

	И	В	Р	Д	М
I					
II					
III					
IV					
V					

В ходе дальнейшего развития слова мужского и среднего рода были почти полностью устранены из IV класса. В результате создались изоморфные отношения между классами I—II и IV—III. Различие между ними состояло в наличии или отсутствии синкретизма прямых падежей (см. табл. 4).

I и II классы, различающие все косвенные падежи, выражали неженский род, причем различение прямых падежей здесь было связано с категорией личного подрода [13]. Синкретизм косвенных падежей стал по пре-

[12] Такое положение отражают новгородские берестяные грамоты XIV в.
[13] Ср. L. Hjelmslev, Sur l'indépendance de l'épithète, стр. 9—10, 12.

имуществу характеристикой женских классов склонения [14]. Известное количество слов мужского рода сохранял V класс, где формы Р и Д не различались[15]. Синкретизм Р, Д и М падежей был в той или иной степени представлен и в других звеньях системы древнерусского склонения. В северо-западных говорах древнерусского языка полный синкретизм Р — Д — М был осуществлен в ед. числе женского адъективного склонения [16]. Совпадению Р с Д — М у прилагательных предшествовала замена старого окончания *-ыѣ* через *-оѣ*[17]. Последующее изменение *-оѣ* в *-ои* может быть объяснено фонетическими особенностями конца слова, а также неустойчивостью конечного *-ě* после *i*, которая была свойственна, по-видимому, некоторым новгородским говорам [18]. В говорах северо-восточного типа, сохранивших противопоставление Р и Д — М в склонении существительных, особая форма Р падежа прилагательных сохранялась долго и была утрачена уже после унификации разновидностей в Р падеже существительных [19]. В некоторых северо-восточных говорах формы Р падежа с окончаниями *-ые* (*-ие*), *-ыйо* (*-ийо*) сохранились до настоящего времени [20].

Совпадение форм Р и Д — М прилагательных нанесло ущерб устойчивости падежных противопоставлений [21] Р — Д и Р — М, подготовив тем самым дальнейшие изменения в области частных падежных систем и особенно в частной системе, объединявшей существительные, местоимения и прилагательные женского рода (III класса). В речевом потоке синкретизированные формы прилагательных могли оказывать влияние на неустойчивые вследствие многозначности окончаний формы существительных, с которыми они согласовались в атрибутивной синтагме [22].

---

[14] Субстантивное местоимение женского рода в современных северо-западных говорах принадлежит к III классу склонения (род. п. *ей*, вин. п. *ю*, *ею́*, *ону́*, *яну́*) (см. Е. С. Скобликова, Географическое распространение диалектных форм личных местоимений, «Уч. зап. [Куйбышевск. гос. пед. ин-та]», 13. Филол. науки, 1955, стр. 269 и карты). Формы такого типа имеются и в памятниках XIV — XV вв.: *у Ки купи* (Новг. берестян. гр., № 129); *выменѧлъ ею* (Двинская грамота № 7 по изд. А. А. Шахматова).

[15] В ряде современных говоров отмечается широкое использование форм с окончанием *-у* в Р и М слов неженского рода, которое для парадигм с неподвижным ударением означает формальное совпадение Р, Д и М. Ср.: Н. И. Скуратова, Некоторые особенности в склонении существительных говоров северной части Заонежья, «Уч. зап. Карело-Фин. гос. ун-та», V, 1. Историч. и филол. науки, 1955, стр. 172; Г. В. Денисевич, О падежных флексиях существительных на *-а* в местных говорах, «Уч. зап. [Курск. гос. пед. ин-та]», IX. Гуманитарный цикл, 1959, стр. 161—162. Изучение этого явления представляло бы большой интерес, в частности, в связи с его отношением к аналогичным фактам женского склонения.

[16] См. В. Я. Симонова, Членное склонение имен прилагательных в древнерусских летописных списках XIII—XVI вв., «Уч. зап. [Ворошиловск. гос. пед. ин-та]», Серия ист.-филол. наук, I, 1957, стр 300—301.

[17] Форма на *-ыѣ* в Синодальном списке не отмечена ни разу (см. В. Я. Симонова, указ. соч., стр. 300—301). Окончание *-оѣ* находим уже в Минее 1095 г.; несколько случаев Р с окончанием *-ыи* имеется в Ефремовской кормчей начала XII в.

[18] Ср.: И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб., 1889, стр. 57; С. П. Обнорский, О языке Ефремовской кормчей XII в., стр. 51.

[19] Ср.: В. Я. Симонова, указ. соч., стр. 303—304; 307; B. Unbegaun, La langue russe au XVI siècle, I. La flexion des noms, Paris, 1935, стр. 323—325; Е. С. Магура, Морфологические особенности языка Устюжского летописного свода. Канд. диссерт., Харьков, 1953, стр. 107.

[20] См., например: В. Г. Орлова, О говоре села Пермас Никольского района Вологодской области, «Материалы и исследования по русской диалектологии», I, М.— Л., 1949, стр. 62; В. Мансикка, О говоре Шенкурского уезда Архангельской губернии, ИОРЯС, XVII, 2, 1912, стр. 116; Н. Белоруссов, Об особенностях в языке жителей Вологодской губернии, РФВ, XVIII, 4, 1887, стр. 241; С. А. Копорский, О говоре севера Пошехоно-Володарского уезда Ярославской губернии, Ярославль, 1929, стр. 49.

[21] Ср. Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, стр. 9—10.

[22] Важность такого контакта неоднократно отмечалась в лингвистической литературе (см.: А. А. Шахматов, Историческая морфология русского языка, стр. 344; Л. А. Булаховский, Грамматическая индукция в славянском склонении, ВЯ, 1956, стр. 19).

Не исключена возможность, что на устойчивости противопоставления Р и М отразились процессы падения двойственного числа, по-разному протекавшие в разных диалектных группах [23]. Кроме того, очень вероятно, что при распадении категории двойственного числа формы на *-ѣ* И — В дв. числа жен. рода, тяготевшие к слиянию с формами Р ед. числа, оказали поддержку новой форме Р на *-ѣ* северо-западных говоров.

*

Таким образом, объединение Р, Д и М падежей было одним из возможных путей преодоления многозначности окончаний древнерусского склонения. Расширение сферы применения синкретизма Р, Д и М в древнем новгородском говоре привело к значительному упрощению в области выражения падежных противопоставлений. Уменьшилось количество частных падежных систем; сохранившиеся системы свелись к двум основным типам: 1) с различением всех косвенных падежей и 2) с общей формой для Р — Д — М падежей. Число морфем в сфере рассматриваемых падежей сократилось от семи до пяти; отпали алломорфы *-ѣ* и *-і* в однопадежной морфеме Р падежа и алломорфа *-і* в однопадежной морфеме Д. Тем самым были упразднены некоторые функции окончаний *-ѣ* и *-і*; каждое из этих окончаний стало использоваться внутри отдельного класса склонения только с одним значением.

Применение одних и тех же окончаний в разных морфемах свелось к минимуму; так, *-ѣ* в XIV в. использовалось только в двух различных морфемах, *-і* — по говорам в двух или трех; в двух морфемах было представлено окончание *-и*.

В женском двухвидовом склонении (*вода, земля*) развитие данного синкретизма было подготовлено нарушением оппозиции Р — Д и Р — М падежей, наступившим в результате аналогических и фонетических изменений в формах прилагательных женского рода, входивших в тот же класс склонения (и согласовавшихся с данными существительными). Частные системы, сложившиеся на основе обобщения синкретизма трех падежей, были использованы на определенном этапе развития языка для выражения женского — неженского рода.

---

[23] См.: В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот, «Вопросы славянского языкознания», I, Львов, 1948, стр. 57—58; М. Ф. Парахина, Имена с основой на *-а* в Синодальном списке I Новгородской летописи, «Вопросы русского языкознания», 2, Львов, 1956, стр. 110—112; W. Kuraszkiewicz, Gramoty nowogródzkie na brzozowej korze, стр. 43.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

Е. Д. ПАНФИЛОВ

О СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПАРОНИМИИ

(На материале испанского языка)

Подобно тому как в лексике встречаются близкие, но не тождественные по своему звуковому составу слова, в синтаксисе имеются обороты, близкие, но не тождественные по своему строению. Такие обороты можно назвать паронимическими. Изучение их представляет не меньший, если не больший интерес, чем изучение лексических паронимов. В настоящей заметке рассматривается соотношение между тремя различными инфинитивными оборотами, которые нередко смешиваются. Это «винительный с инфинитивом» (accusativus cum infinitivo), независимый инфинитивный оборот (infinitivo con su propio sujeto) и зависимый инфинитив с прямым дополнением.

В испанском языке используются синтаксические конструкции, за которыми с полным основанием можно сохранить название accusativus cum infinitivo. Ср.: 1) «Y cuando salía el guerrillero *la* oyó *decir* a una amiga que con ella estaba: ...» (J. Izcaray, 30 días con los guerrilleros de Levante) «А уходя, партизан услышал, как она сказала там же находившейся подружке...». Здесь прямое дополнение выступает в форме вин. падежа (*la*), причем этим вин. падежом обозначен субъект действия, выраженного инфинитивом. Однако прямым дополнением может быть и несклоняемое слово. В применении к таким случаям термин оказывается не вполне точным, но с этим можно мириться, поскольку встречаются построения с местоименной репризой, где прямое дополнение выражено одновременно и несклоняемым словом (словами), и вин. падежом местоимения. Ср.: 2) «*A todos los sos* estar *los* mando» («Poema del Cid») «Всем своим приказал остановиться»; 3) «*A estos hombres*... no *les* he oído hablar una sola vez de la muerte» (J. Izcaray, 30 días...) «Я ни разу не слышал, чтобы эти люди говорили о смерти». Плеоназм свидетельствует о синтаксической соотносительности склоняемых и несклоняемых слов, поэтому термин «винительный с инфинитивом» можно применять и по отношению к конструкциям типа: 4) «Es casi mediodía, cuando, entre la niebla que está levantando, vemos *venir* por el monte a *tres hombres* en fila» (J. Izcaray, 30 días...) «Время подходит к полудню, когда сквозь рассеивающийся туман мы замечаем трех человек, гуськом идущих по горе (нам навстречу)». В лингвистической литературе, однако, термин «accusativus cum infinitivo» используется для обозначения инфинитивных оборотов с неодинаковым внутренним строением [1]. Ср.: 5) «Mando los venir a la corth...» («Poema del Cid»); 6) «Mando los ferir myo Cid...» (там же). Несмотря на внешнее сходство обеих конструкций, внутренняя структура их глубоко различна: предложение (5) означает: «он приказал им прибыть ко двору», предложение (6): «мой Сид приказал разить их (франков)», а не «...приказал им разить». Иными словами, в предложении (6) глагол *mando* имеет своим прямым дополнением инфинитив *ferir*, а этот инфинитив в свою очередь управляет прямым дополнением *los*. Чтобы в конструкции типа (6) усмотреть accusativus

[1] См. F. Hanssen, Gramática histórica de la lengua castellana, Halle. a. S., 1913, стр. 256.

cum infinitivo, пришлось бы исходить из того, что инфинитив имеет пассивное значение. При такой трактовке буквальный перевод примера (6) выглядел бы следующим образом: «Распорядился, чтобы они (франки) были поражены (атакованы)».

Тезис о необходимости учитывать пассивное значение инфинитива для объяснения генезиса некоторых романских конструкций выдвигался в разное время Ф. Тильманом и Г. Ф. Мюллером [2]. Сравнительно недавно этот тезис был подвергнут весьма основательной критике со стороны шведского языковеда Д. Норберга, показавшего, что с самого зарождения латинской литературы встречаются примеры, в которых *iubere*, *facere*, *permittere*, *pati*, *dimittere* сочетаются не с оборотом «винительный + пассивный инфинитив», а с оборотом «активный инфинитив + прямое дополнение». Эта конструкция никогда не исчезала из народного латинского языка, даже в классическую эпоху, но особенно широкое распространение она получила позднее [3].

Если согласиться с выводами Д. Норберга, а приведенные им фактические данные и убедительная их интерпретация заставляют это сделать, то придется изъять из рубрики «винительный с инфинитивом» построения типа «Mando *uer* sus *yentes* myo Çid el Campeador» («Poema del Cid») «Мой Сид Кампеадор приказал произвести смотр войскам [дословно: приказал (про)смотреть своих людей]». Инфинитив *uer* не имеет здесь пассивного значения, как не имеет его и глагол в следующем примере из современного языка: 8) «Debieron malbaratar su hacienda y partir. Hay testigo que dice haber visto *dar una casa* por un asno y *una viña* por un poco de lienzo» (A. Capdevila, Babel y el castellano) «Они (сефардиты) должны были распродать за бесценок свое хозяйство и выехать. Есть свидетель, который утверждает, что он видел, как за осла отдавали дом, а виноградник (шёл) за небольшую штуку полотна». *Una casa* является здесь не подлежащим пассивного инфинитива, а прямым дополнением к активному инфинитиву *dar*.

В грамматиках испанского языка приводятся иногда словосочетания типа *río fácil de atravesar*, которые считаются равными *fácil de ser atravesado*. Отсюда необоснованно делается вывод, будто «инфинитив нередко выступает в пассивном значении» [4]. Приравнивание это произвольно и свидетельствует о том, что испанский язык рассматривается сквозь призму латинского (*flumen facile transitu* = «река, легкая для переправы»). Следует отметить, что при особом желании подчеркнуть пассивное значение испанские авторы использовали [5] обычную перифразу *ser* + participio. Ср.9: «...la Riqueza faze *seer* a omne mas *amado* et mas *preçiado* de las gentes» (J. Manuel, El libro del Caballero et del Escudero) «...богатство человека увеличивает любовь к нему и уважение со стороны народа».

*

Особенность многих романских языков состоит в том, что инфинитив действительного залога может иметь свое подлежащее, выраженное местоимением. В испанском языке в роли подлежащего к инфинитиву могут выступать не только местоимения, но и имена существительные, равно как и другие субстантивированные части речи. Ср.: 10) «Y al tiempo del *comer el Portugues*...» (J. Timoneda, El buen aviso y portacuentos) «А пока порту-

[2] Ph. Thielmann, *Facere* mit dem Infinitiv, «Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik», Jg. III, Leipzig, 1886, стр. 117 и сл.; H. F. Muller, Origine et histoire de la préposition *à* dans les locutions du type de *faire faire quelque chose a quelqu'un*, Poitiers, 1912.

[3] См. D. Norberg, *Faire faire quelque chose à quelqu'un*. Recherche sur l'origine latine de la construction romane, «Språkvetenskapliga Sällskapets Förhandlingar 1943—1945», Uppsala, 1945 («Uppsala universitets årsskrift», 1945, II).

[4] См. C. M. Sauer, H. Ruppert, Spanische Konversations-Grammatik zu Schul- und Privatunterricht, 16-e Aufl., Heidelberg, 1926, стр. 448.

[5] В современном литературном языке такого рода примеры мне не встречались.

галец ел...» (дословно: «А во время есть португалец...»); 11) «Se preparan salones donde *ostentar las bellas* sus encantos; se inauguran teatros...» (D. Ramón de Mesonero Romanos, Tipos y caracteres) «Подготавливаются салоны, где красавицы (будут, смогут, могли бы) выставлять напоказ свои прелести; открывают сезон театры...».

Испанский оборот, костяком которого служит инфинитив со своим собственным подлежащим, составляет синтаксическую единицу, способную играть роль члена предложения. В учебниках отмечаются только те случаи использования самостоятельного инфинитивного оборота, когда он выступает в функции обстоятельства, подлежащего, определения и косвенного дополнения[6]. Получается, будто оборот этот не может играть роль прямого дополнения. Пробел в изложении объясняется тем, что авторы, смешивая синтаксические паронимы, объединяют в одной рубрике (в рубрике «винительный с инфинитивом») две различные конструкции. В действительности инфинитивный оборот, о котором идет речь, м о ж е т играть роль прямого дополнения. Обратимся к фактам. 12) «Afirmaron por toda España, e aún fuera de ella, *esta señora* ni *tener* derecho a los reinos de D. Henrique, ni *poder* ser su hija» (...Pulgar, Letras) «По всей Испании и даже за ее пределами утверждали, что эта сеньора не имеет прав на владения дона Энрике и не может быть его дочерью».

Посмотрим, как ведут себя в соответствующих синтаксических условиях *склоняемые местоимения*. Для этого сравним такие два примера. 13) «...yo tengo por cierto y por averiguado que esta señora, que *se* dice *ser* reina del gran reino Micomicón, no lo es más que mi madre (M. de Cervantes Saavedra, El igenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) «...я знаю твердо и доподлинно, что эта сеньора, которая называет себя королевой великого королевства Микомикон, такая же королева, как моя матушка», 14) «Hernán Cortés en su carta de 30 de Octubre de 1520, dirigida al rey, supone *ser él* quien puso a aquel país el nombre de Nueva España...» (A. de Solís, Historia de la conquista de Méjico) «В письме от 30 октября 1520 г., направленном королю, Эрнан Кортес необоснованно утверждает, будто некто иной как он дал упомянутой стране имя Новой Испании».

В одном случае (13) указание на подлежащее инфинитива дано в объектной форме (*se*), в другом случае (14) — в субъектной форме (*él*). Таким образом, испанский язык допускает два различных синтаксических построения: в примере (13) перед нами «винительный с инфинитивом», в примере (14) прямое дополнение выражено инфинитивом со своим независимым подлежащим (*él*) не зависит от управляющего глагола *supone*).

Разновидностью конструкции infinitivo con su propio sujeto являются построения, в которых указание на субъект опущено. Ср.: 15) «El Partido Comunista ha demostrado *ser* campeón de las reivindicaciones sociales inmediatas...» (G. González Díaz, Forjemos la victoria del movimiento de liberación nacional de Chile[7] «Коммунистическая партия показала, что она является застрельщиком в борьбе за удовлетворение насущных требований общества...».

---

[6] См., например: О. К. Васильева-Шведе и Г. В. Степанов, Грамматика испанского языка, М., 1956, § 267—272.

[7] См. «¡Por una paz duradera, por una democracia popular!», 5, 1 II 1952.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Ф. ПАП

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ТЕКСТОВ

В своей статье мы поставили задачу рассмотреть вопрос о том, насколько «пестры» в словарном отношении избранные тексты разных русских писателей. Под «пестротой» мы понимаем следующее: количество разных слов, которые появляются вновь по мере развития повествования; количество этих новых, ранее не встречавшихся в данном произведении слов в отдельных фрагментах текста; отношение разных вновь появляющихся слов к общему количеству слов текста.

Исследуемый материал. Основные понятия и метод исследования

Нами был подвергнут изучению следующий материал: два отрывка из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», два отрывка из его же повести «Капитанская дочка», по одному отрывку из книг Л. Н. Толстого «Война и мир», М. Шолохова «Поднятая целина» и из академической «Грамматики русского языка» [1]. Каждый отрывок состоял из сплошного текста объемом в 2000 или 2500 слов, не считая названий глав и эпиграфов. Под с л о в о м (в дальнейшем сокращенно: С) мы понимали каждую группу печатных знаков текста, состоящую из букв кириллицы или из арабских цифр и отделенную от других групп знаков интервалом (причем возможны группы «с одним элементом», т. е. состоящие из одного печатного знака); в целях эксперимента в ВМ, ПЦ и Гр из ряда слов были исключены группы знаков, начинающиеся с прописной буквы (или состоящие из одних прописных букв). Как видно, «слово» в этом понимании равносильно тому, что нередко называют «словоупотреблением». То, что по традиционной терминологии именуют «словами», мы называем «с л о в а р н ы м и е д и н и ц а м и» (или е д и н и ц а м и — Е; другой возможный русский термин — лексема). Таким образом, следующий ряд: *Человек человеку волк* состоит из трех слов и из двух словарных единиц (потому что слова *человек* и *человеку* считаются одной словарной единицей, или лексемой).

Мы рассматриваем в настоящей статье отношение единиц к словам (сокращенно: ОЕС, в английской терминологии — «type-token ratio») в приведенных ниже комбинациях. После разбиения любого текста на следующие друг за другом отрывки в 100 слов каждый определяется, сколько словарных единиц, не встречавшихся до сих пор, содержится в данном отрывке; установленное количество новых словарных единиц делится на количество слов в отрывке (т. е. всегда на 100). Такое отношение единиц к словам мы называем д е к р е м е н т а л ь н ы м (сокращенно: ДОЕС; объяснение термина и примеры см. ниже). Другим важным отношением единиц к словам является к у м у л я т и в н о е отношение (сокращенно КОЕС); оно устанавливается следующим образом. Подсчитывается количество единиц в первом отрывке объемом в сто слов, это число делится на количество слов в отрывке (т. е. на сто), потом к количеству единиц, найденных в первой сотне слов, добавляется количество новых единиц, найденных во второй сотне слов, и эта сумма делится на сумму слов в обоих отрывках (т. е. на двести); сумма единиц, обнаруженных в первых 300 словах, делится на 300 и т. д. Как видно, наш «математический» аппарат чрезвычайно прост и состоит из эле-

[1] Эти источники мы обозначим в дальнейшем как: ОI, ОII, КДI, КДII, ВМ, ПЦ, Гр. Указываем границы отрывков: ОI — начало романа Пушкина (начиная с посвящения: «Не мысля гордый свет забавить» и последующих строф первой главы вплоть до таких слов XLVIII строфы: «Перекликались часовые» — 2500 слов); ОII — начиная с письма Татьяны к Онегину (III глава) до слов XXIII строфы IV главы: «Увы, не трудно угадать!» — 2000 слов; КДI — от начала КД до слов II главы «А видишь там что?» — 2500 слов; КДII — глава VII и начало VIII главы до слов «... что-нибудь тебе изготовлю» — 2500 слов; ВМ — т. I, ч. 1, главы I—II до слов «... где говорил (аббат)»— 2000 слов; ПЦ — т. II, главы I—II до слов «Так, должно быть, и буду мотаться по району...» — 2000 слов; Гр — Введение (стр. 7) до слов «... грамматических категорий — частей речи...» (стр. 13) — 2000 слов.

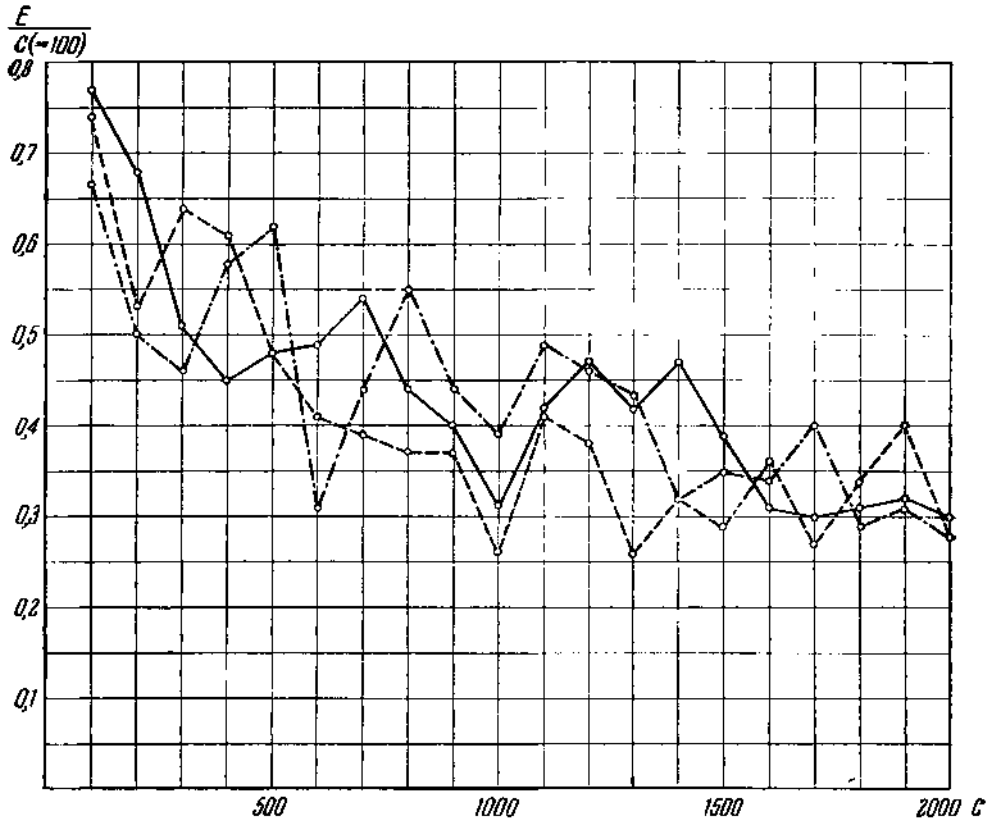


Рис. 1 Кривые ДОЕС
КДI ———— КДII ——— ОII —·—·—·—·—
Цифровые данные:
ДОЕС КДI: 0,77, 68*, 51, 45, 48, 49, 54, 44, 40, 31, 42, 47, 42, 47, 39, 31, 30, 31, 32, 30
ДОЕС КДII: 0,74, 53, 64, 61, 48, 41, 39, 37, 37, 26, 41, 38, 26, 32, 29, 36, 27, 34, 40, 28, ДОЕС ОII: 0,67, 50, 46, 58, 62, 31, 44, 55, 44, 39, 49, 46, 43, 32, 35, 34, 40, 29, 31, 28.

ментарных математических действий — счета, деления; поэтому мы и предпочитали назвать наш анализ «количественным» (вместо «математического» или «статистического»). Этот метод применяется в лингвистике в течение не менее чем двадцати лет [2]. Он дает, конечно, менее точные и главным образом гораздо менее общие результаты, чем сложный математический метод, применяемый, например, Дж. Херданом [3] (поэтому-то и говорилось до сих пор все время о «текстах», т. е. о явлениях речи, и поэтому относительно я з ы к а выводы делаются здесь очень осторожно и в малом количестве). Преимущество количественного метода именно в его простоте: он может быть применен лингвистом «старого образования»; результаты, полученные при помощи этого метода, практически доступны всем. В то же время этот метод позволяет получить небезынтересные теоретические результаты, которые могут быть практически применены в некоторых областях.

Декрементальное отношение словарных единиц к словам (ДОЕС)

На рис. 1 показаны значения ДОЕС как функция протяженности текста. В соответствии с нашим определением ДОЕС, этот график непосредственно показывает, сколько словарных единиц (т. е. разных новых слов) появляется в каждой сотне слов из-

* Здесь и далее в подписях к рисункам даем десятые и сотые, опуская ноль.

[2] См., например: W. J o h n s o n, Language and speech hygiene, an application of general semantics, Ann Arbor, 1944; J. W. C h o t l o s, Studies in language-behavior, IV — A statistical and comparative analysis of individual written language samples, 1944, стр. 75—111 («Psychologie monographie»); см. также: G. A. M i l l e r, Language and communication, New York, 1951.

[3] См.: G. H e r d a n, Language as choice and chance, Groningen, 1956 (особенно см. ч. 1 — «Stylostatistics», стр. 12—63). Во время написания этой статьи нами еще не была получена новая большая монография Дж. Хердана «Type-token mathematics» (The Hague, 1960).

бранного текста. Очевидно, нельзя ожидать, что в первом отрывке объемом в сто слов будет употреблено столько же словарных единиц — хотя бы потому, что некоторые из наиболее употребительных элементов русской лексики (например: *и*, *я*, *в*, *на*, *не*, *что*, *с*, *быть*, *он* и др.) с большой вероятностью повторяются не раз уже в первой сотне. (ДОЕС в первом таком отрывке может быть равно 1 — это означает, что каждое слово текста является самостоятельной словарной единицей, отличающейся от других, например если этот отрывок начать с перечисления каких-нибудь предметов, общее число которых не менее ста; это возможно в контексте такого типа: «В русском языке ударение имеют на втором слоге следующие двусложные существительные...».) Разные тексты отличаются друг от друга тем, сколько словарных единиц употреблено в первой сотне слов, причем количество словарных единиц должно быть в подавляющем большинстве случаев меньше 100 (т. е. ДОЕС < 1) и во всяком случае больше нуля. В табл. 1 даны для сравнения значения ДОЕС в первых пяти отрывках в сто слов для каждого из рассмотренных нами текстов. Значения ДОЕС в первой сотне слов для этих случаев колебались между 0,60 и 0,80: так как оба текста с указанными значениями ДОЕС (т. е. ПЦ и Гр) представляют собой как раз своего рода крайности с точки зрения используемого лексического материала, то можно ожидать, что начало многих других русских текстов содержит подобное же количество словарных единиц. Возможны также значительные отклонения от наших данных (так, например, если взять не реалистическую, а романтическую прозу или стихотворный текст иного типа, нежели «Евгений Онегин», естественно, что словарных единиц в первой сотне будет больше, чем 80, но не намного, потому что мала вероятность того, чтобы некоторые упомянутые служебные слова не повторялись).

Таблица 1

	ПЦ	ОІ	КДІ	КДІІ	ВМ	ОІІ	Гр
1	0,80	0,78	0,77	0,74	0,67	0,67	0,60
2	0,72	0,81	0,68	0,53	0,63	0,50	0,40
3	0,65	0,61	0,51	0,64	0,50	0,46	0,35
4	0,59	0,64	0,45	0,61	0,51	0,58	0,35
5	0,54	0,37	0,48	0,48	0,25	0,62	0,31

Рис. 1 показывает совершенно нерегулярные на первый взгляд колебания в появлении новых словарных единиц по мере развертывания текста. Как и следовало ожидать, сравнительно сильное сокращение количества вновь появляющихся словарных единиц может быть вызвано тем, что писатель рассказывает о том же самом предмете на протяжении нескольких сотен слов текста: по мере развертывания одной и той же темы некоторые словарные единицы повторяются. Такое положение можно видеть, например, в первых четырех сотнях слов КДІ (рассказ Гринева о своем детстве). Однако в рассмотренных текстах заметное снижение ДОЕС в большинстве случаев вызвано не развитием одной и той же темы, а введением в повествование «прямой речи» (т. е. воспроизведения разговора между действующими лицами). Этим объясняется, например, снижение ДОЕС в КДІ начиная от С 700 до 1000 (где воспроизводится разговор между родителями Гринева об отъезде сына), в КДІІ начиная от С 100 до 200 (диалог Ивана Игнатьича и Гринева), в КДІІ начиная от С 500 до 1000 (сначала идет продолжение начатой темы: описание осады крепости, потом приказы коменданта, его прощание с женой и дочерью, продолжение описания осады, приказ коменданта и вылазка), в КДІІ начиная от С 1200 до 1300 (диалог Пугачева и коменданта).

Особенно интересен с этой точки зрения текст ОІІ. Как видно из табл. 1, этот отрывок (т. е. письмо Татьяны к Онегину) начинается с чрезвычайно низкого для художественного произведения ДОЕС: таким же ДОЕС начинается только ВМ (да и в этом реалистическом прозаическом произведении в данном фрагменте воспроизводится много разговоров); с более низким ДОЕС начинается только современный научный текст (Гр). Как видно из рис. 1, постепенное снижение ДОЕС в начале ОІІ продолжается вплоть до С 300. Дедо в том, что письмо Татьяны, в котором насчитывается всего 369 слов (т. е. которое кончается между третьей и четвертой сотнями), написано на языке очень простом — с точки зрения рассматриваемого критерия. Это на самом деле «безумный сердца р а з г о в о р». Такое же резкое сокращение наблюдается в ОІІ на протяжении шестой сотни: на этот отрывок приходится разговор Татьяны с няней. Обращает на себя внимание снижение ДОЕС в ВМ начиная от С 200 до 500 (см. рис. 1а): это общий разговор и (начиная с 324 слова) безудержная болтовня самой хозяйки, которая «хорошо попала в тон» (еле заметное повышение ДОЕС между С 300 и 400) и потом повторяет сказанное как ею самой, так и все, что было сказано до нее (падение ДОЕС с 0,51 до 0,25, т. е. более чем на 50%; ср. падение ДОЕС на протяжении разго-

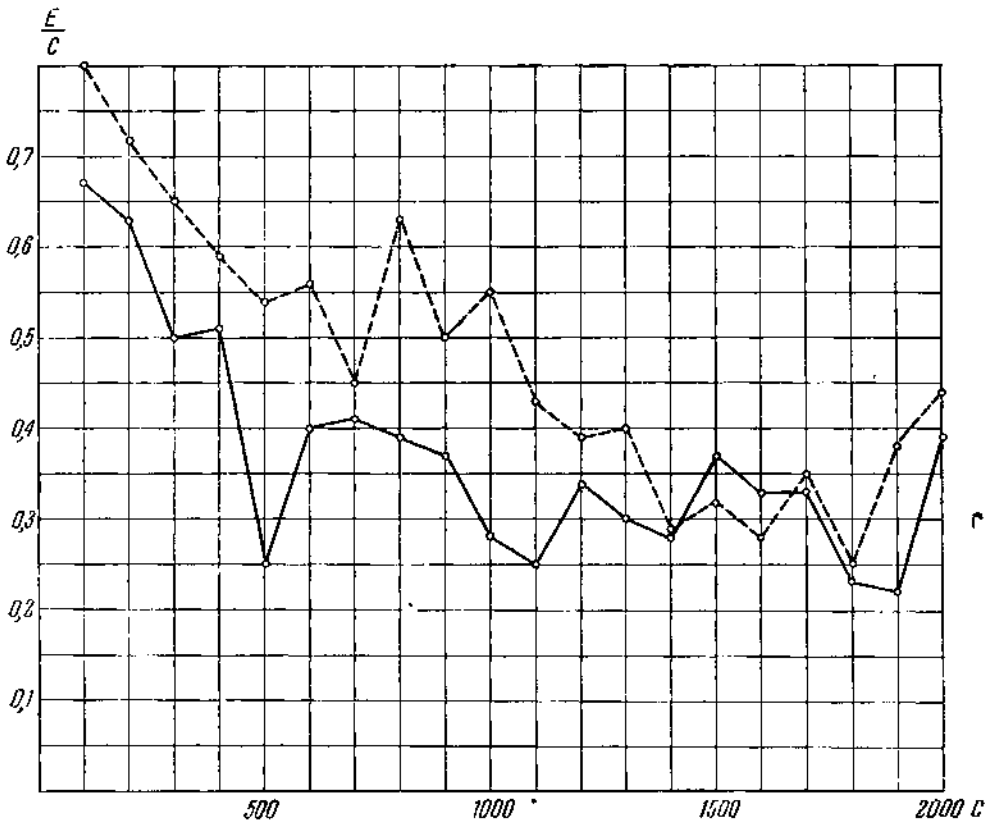


Рис. 1а. Кривые ДОЕС для ВМ и ПЦ
ВМ ———— ПЦ — — — — —

Цифровые данные:
ДОЕС ВМ: 0,67, 63, 50, 51, 25, 40, 41, 39, 37, 28, 25, 34, 30, 28, 37, 33, 33, 23, 22, 39,
ДОЕС ПЦ: 0,80, 72, 65, 59, 54, 56, 45, 63, 50, 55, 43, 39, 40, 29, 32, 28, 35, 25, 38, 44.

вора Татьяны с няней в ОП с 0,62 до 0,31). Точно такое же положение и в ПЦ (см. рис. 1а): С 600—700 — диалог Половцева и Якова Лукича (ДОЕС понижается с 0,56 до 0,45), С 1000—1100 — диалог секретаря райкома партии и Давыдова (ДОЕС понижается с 0,55 до 0,43), С 1300—1400 — диалог тех же лиц (ДОЕС падает с 0,40 до 0,29). Очевидно, воспроизведение разговора само по себе, независимо от пола, возраста, образованности говорящих и отчасти также независимо от содержания разговора, может привести к сокращению количества словарных единиц (по сравнению с количеством единиц в предшествующих отрывках) на протяжении ста слов от 10% до 50% (причем размер сокращения в значительной мере зависит от места исследуемого отрывка в тексте в целом; см. об этом ниже).

Объясняется это главным образом большим числом повторяющихся местоимений, а также и тем, что в разговоре любая словарная единица свободно повторяется, тогда как в письменной речи действует известный стилистический закон о нежелаемости повторения тех же самых единиц. Можно отметить также и некоторую «нейтральность» этой черты разговорной речи по отношению к стилистической ценности данного отрывка в целом: «любезная небрежность», изумительная простота чарует нас в письме Татьяны, тогда как подобная же словарная структура используется как средство отрицательной характеристики персонажа в другом контексте.

Места резких повышений ДОЕС можно было бы определить так: после резкого снижения (если причина этого снижения перестала действовать) очень часто наступает повышение ДОЕС (см. в примерах выше, после указанных мест снижения). Переход к другой теме (особенно если это осуществляется не в начале текста) дает о себе знать в этом отношении менее ощутимо, чем можно было бы ожидать на первый взгляд. Так, в ОП на протяжении отрывка С 1000—1100 (точнее начиная с 1039 слова) открывается новая — четвертая — глава романа; повышение ДОЕС здесь наблюдается (0,39—0,49), но более заметно оно между С 600—700 (0,31—0,44) и С 700—800 (0,44—0,55), хотя там никакой новой главы нет, а просто кончился разговор в конце отрывка С 500—600. Новая глава в КДІ между С 2200—2300 сопровождается повышением ДОЕС

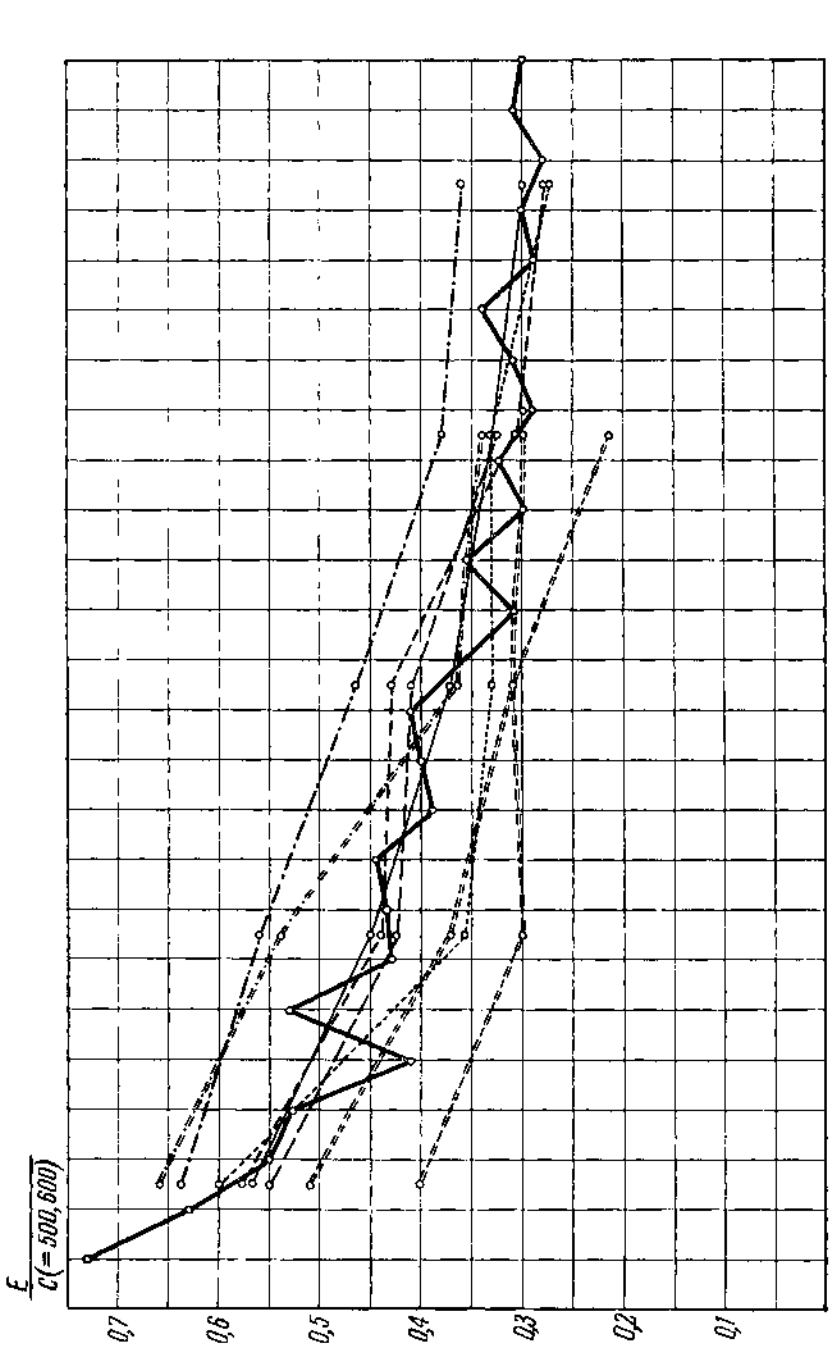


Рис. 2. Кривые средних значений ДОЕС

1) ——— 2) ——— 3а) —·—·—·— 3б) ——— 3в) ——— 3г) ····· 3д) ═══ 3е) ═·═·═·═ 3ж) ═══

Цифровые данные:

1) 0,73, 63, 55, 53, 41, 53, 43, 435, 445, 39, 40, 41, 36, 31, 36, 30, 325, 29, 31, 34, 29, 30, 27, 31, 35; 2) 0,57, 45, 37, 33, 30; 3а) 0,64, 56, 464, 38, 36; 3б) 0,55, 425, 41, 325; 3в) 0,58, 44, 43, 31, 28; 3г) 0,60, 36, 33, 33, 275; 3д) 0,51, 37, 31, 30; 3е) 0,66, 54, 365, 34; 3ж) 0,40, 30, 31, 215

с 0,23 до 0,26 (эти значения уже не фигурируют на рис. 1), в КДII между С 1700—1800 — с 0,27 до 0,34 и 0,40 (в значении 0,34 отчасти отражен конец предыдущей главы, поэтому даем величину и при С 1400).

На рис. 2 представлены кривые средних значений ДОЕС: 1) среднее ДОЕС для первых, вторых и т. п. сотен слов изучаемых текстов — OI, КД I—II, ВМ, ПЦ, Гр (OII здесь исключен с тем, чтобы избежать преобладания данных из пушкинских текстов); 2) среднее значение ДОЕС для этих же текстов по фрагментам в пятьсот слов; 3) среднее значение ДОЕС для отдельных текстов по фрагментам в пятьсот слов: а) OI, б) OII, в) КДI, г) КДII, д) ВМ, е) ПЦ, ж) Гр.

ДОЕС для фрагмента в сто слов, как видно, очень близко еще к конкретному тексту: на нем непосредственно отражаются некоторые случайные изменения в тексте

(как-то: продолжение начатой темы, воспроизведение разговора, начало новой темы и т. п.). Чтобы отвлечься от этих индивидуальных черт текстов, подсчитано несколько средних значений для ДОЕС (см. рис. 2). Значения общей средней ДОЕС на основании шести текстов были получены путем вычисления средней величины ДОЕС для первых сотен каждого текста, для вторых сотен и т. д. [Использование данных табл. 1 позволило установить общее среднее ДОЕС для первой сотни (0,80+0,78+0,77+ +0,74 +0,67+0,60): 6=0,73, для второй сотни (0,72+0,81+0,68+0,53+0,63+0,40): 6=0,63 и т. п.] Иными словами: кривая 2, изображающая общее среднее ДОЕС шести исследуемых текстов, в грубом приближении отвечает на вопрос, каков «естественный прирост» запаса словарных единиц, если продвигаться вперед в глубь текста, отвлекаясь при этом от индивидуальных случайностей отдельных текстов.

Взятые нами отрывки как случайные выборки представляют собой (повторяем, в грубом приближении, поскольку количество текстов очень невелико) по крайней мере данный пласт русского языка (точнее — художественной речи, хотя в одном случае привлечена также и современная научная проза). Выведенная кривая, позволяя отвлечься от отдельных конкретных текстов, обнаруживает тенденцию, которую можно было бы определить так: в любом речевом отрезке (можно было бы сказать и более общо: в языке) по мере продвижения вперед в связанном тексте постепенно и все более заметно уменьшается количество появляющихся новых словарных единиц. (Поэтому и было сказано выше, что резкие изменения — повышения или понижения ДОЕС — зависят не только от самого текста, но в значительной мере от места расположения рассматриваемого отрывка в целом тексте. В начале текста возможны более резкие колебания ДОЕС; если же резкое изменение ДОЕС наблюдается не в начале текста, то это свидетельствует об очень значительном изменении содержания данного фрагмента по отношению к предыдущим его частям.) Подобное утверждение кажется естественным, а преимущество применяемого метода заключается, на наш взгляд, в том, что «ощущаемая» и до сих пор закономерность стала, по крайней мере для рассмотренных текстов, точно доказанной; к тому же, имея в виду совершенно регулярное снижение средних значений (см. на рис. 2 кривую *2*), есть все основания полагать, что ход этого снижения легко поддается математическому определению.

Другая группа кривых на рис. 2 дает просто значения ДОЕС не для отрывков в 100, а для отрывков в 500 слов. [Если пользоваться данными табл. 1, среднее значение ДОЕС для первого отрывка в 500 слов КДII будет равным следующему: (0,74+0,53+ 0,64+0,61+0,48): 5=0,60.] Кривые эти показывают, что в каждом тексте в отдельности также наблюдается стремление к указанной закономерности постепенного и все более заметного уменьшения количества вновь появляющихся словарных единиц, несмотря на индивидуальные случайные отклонения, имеющиеся в отрывках по сто слов. [Поэтому мы и имели основание утверждать, что резкое повышение ДОЕС наблюдается после резкого падения: если резкое падение слишком удаляло ДОЕС от значения, среднего для данного (скажем, в пятьсот слов) отрывка, то эту разницу надо было «наверстать» после падения.] Заслуживает внимания тот факт, что самые различные, случайно выбранные тексты обнаруживают стремления к одной величине ДОЕС уже в конце второй тысячи слов (и эта тенденция становится еще заметней, если для *проверки продолжить* подсчет вплоть до С 2500): *это видно на примере* ОП (*кривая 3б*), КДI (кривая *3в*), КДII (кривая *3г*), ВМ (кривая *3д*) и ПЦ (кривая *3е*). Заметим при этом, что ОП — стихотворный текст (хотя, как было сказано, и с немалым элементом «разговорной» прозы), КД I—II — проза того же писателя первой трети XIX в., ВМ — проза писателя второй половины XIX в., ПЦ — проза современного писателя.

От этой «общности» заметно отделяется, с одной стороны, ОI. Причина этого скорее всего в «энциклопедическом» характере вступительных строф «Онегина» (там затрагиваются вопросы начиная с политэкономии и кончая отношением Онегина к женщинам), а также и в том, что, как сказано было выше, в ОI и собственные имена рассматривались как слова, чем значительно повысилось в этом отрывке количество словарных единиц, встречаемых только по одному разу (см. множество мифологических названий, имен философов и др. в первой главе «Онегина»). Последний фактор вовсе не дает о себе знать, например, в КД I—II, где такие существительные принимались в расчет, а также в ВМ и ПЦ, где они в расчет не принимались. С другой стороны, своеобразна кривая Гр (*3ж*): она единственная, которая — хотя и в очень небольшой мере — поднимается (в отрывке текста между С 1000—1500 с 0,30 до 0,31), и, несмотря на это временное повышение, как по своему общему уровню, так и по своему концу (С 2000) значительно ниже по сравнению с установленной «общностью». Повышение объясняется тем, что в Гр принимались в расчет и я з ы к о в ы е п р и м е р ы, появляющиеся впервые во втором отрывке объемом в пятьсот слов: простой и бедный словарными единицами текст современной научной прозы тем самым отчасти изменил свой характер, обогатившись значительным количеством новых словарных единиц. [Было бы, кажется, более целесообразно языковые примеры не принимать в расчет, т. е. не считать словами группы букв, набранные курсивом (предполагается, что логически выделенные части набраны разрядкой, а не курсивом). Тогда значения ДОЕСдля Гр падали бы еще заметней и были бы легко сопоставимы с другими научными текстами, в которых также есть «непереводимые», «не обрабатываемые» формулы, которым в грамматическом тексте соответствуют языковые примеры. Включение языковых примеров в категорию «слов» объясняется в данной статье сообра-

жениями относительно возможности применения этих результатов, о чем см. ниже.] Если привлечение более широкого и многообразного языкового материала даст подобную же картину, то можно будет разделить тексты, написанные на каком-нибудь языке, по крайней мере на г р у п п ы с той точки зрения, каково их ДОЕС (при С 500), например в отрывке между С 1500—2000. В нашем примере это значение для художественных текстов колеблется между 0,30 (ВМ) и 0,34 (ПЦ), для научных текстов, как это следует ожидать, оно будет около 0,215 (и ниже). Труднее всего высказаться относительно «высшего» значения ДОЕС в этом отрезке текста — 0,38 для ОІ; это одно из возможных значений, но пока нельзя даже приблизительно указать на вероятные колебания около него. Эти три группы или зоны текстов, границы между которыми (особенно между средней и высшей), вероятно, будут опять только статистическими, и можно рассматривать, на наш взгляд, как разные с т и л и в языке («научный стиль», «прозаический и близкий к прозаическому стихотворный стиль», «поэтическо-энциклопедический стиль»). Более детальное деление, т. е. установление разных «подстилей», которые были бы ближе к «стилю» в обычном его понимании, на основании данного критерия пока невозможно (но с применением тех или иных математических методов оно станет, по всей вероятности, реальным). Можно еще отметить, что именно в силу своей тенденции к уравновешиванию в колебаниях это ОЕС и называется декрементальным.

Кумулятивное отношение словарных единиц к словам (КОЕС)

На рис. 3 показаны значения КОЕС как функция протяженности текста. В соответствии с определением КОЕС, кривые показывают, как относится количество словарных единиц в той или иной точке текста к самой протяженности текста до этой точки (причем протяженность текста измеряется в словах). Так, если в Гр для отрывка С =1000 КОЕС равно 0,35, это означает, что в первой тысяче слов «Грамматики русского языка» всего 350 словарных единиц; на такое же количество текста, взятого из первой главы «Онегина», приходится 600, из первой и начала второй главы «Поднятой целины» — 610 словарных единиц и т. д. Величины КОЕС, тесно связанные с величинами ДОЕС, показывают более уравновешенную картину, чем последние: отношение общего количества словарных единиц к общему количеству слов, особенно если продвигаться в глубь связного текста, во все меньшей мере зависит от индивидуально-случайных колебаний текста. Так как количество появляющихся новых словарных единиц постоянно уменьшается, а количество считаемых слов возрастает, значение КОЕС постепенно и равномерно падает. Исключения из этого положения возможны главным образом в начале текста. Так, в случае ОІ после вводной части, написанной в легком разговорном стиле, КОЕС несколько повышается под влиянием начала авторской речи («Так думал молодой повеса...»); для первых строф ОІІ КОЕС по изложенным причинам весьма низкое, но оно повышается в отрывке, следующем за письмом Татьяны (С 300—500; характерно, что резкое увеличение новых слов в отрывке, следующем после разговора Татьяны с няней, уже не вызывает повышения КОЕС, т. е. отношения общего количества словарных единиц к общему количеству слов в отрезке текста С 600—800). Как инородное тело выделяется из графика Гр часть, содержащая языковые примеры (С 1000—1300). После связанного текста объемом С 2000 повышение КОЕС было бы возможным только при очень больших количествах появляющихся новых словарных единиц, и при этом только в случае, если это повышение длится на протяжении нескольких сотен слов текста. Так, например, чтобы в отрезке С 2100 для ОІІ повысить КОЕС всего лишь на 0,018, т. е. с 0,43 до 0,448, понадобилось бы появление 80 словарных единиц в отрывке от 2000 до 2100, что оказывается совершенно невероятным в силу сказанного о характере постепенного уменьшения количества новых словарных единиц. При этом (что тоже вытекает непосредственно из определения КОЕС) наиболее «стабильны» тексты с высокими КОЕС; не случайно поэтому, что упомянутое повышение в отрезке 1000—1300 происходит как раз в тексте с наиболее низким КОЕС. Все это говорит о том, что значения КОЕС будут постепенно, очень медленно и все медленнее уменьшаться по мере удлинения протяженности испытуемого текста. Стало быть, такого сближения величин, какое наблюдалось на рис. 2, здесь нельзя ожидать на сравнительно недалеко отстоящих от начала участках текста. Так, значение КОЕС для отрывков С 2000 индивидуально характеризует каждый из наших текстов в целом. «Стили» и здесь получаются не совсем обычные: стихотворный текст ОІІ кончается с почти таким же значением КОЕС (0,43), как и проза того же писателя — КДІ (0,44); довольно близко к ним также последнее измеренное КОЕС КДІІ (0,40). Кривая ВМ снизу (0,37) и кривая ПЦ сверху (0,48) как бы дают приблизительные границы этой «полосы», но, надо сказать, шолоховская проза в этом месте столь же далека от ІІІ—ІУ глав «Онегина», как и от первой главы того же романа в стихах (разница между ПЦ и ОІІ тоже 0,5, как и между ПЦ и ОІ).

Практическое применение

Предлагаемым методом можно определить некоторые количественные показатели словарной структуры разных текстов. А это, как нам кажется, может послужить объективной базой для выделения некоторых характерных черт «стилей», главным образом в жанрово-функциональном смысле этого слова.

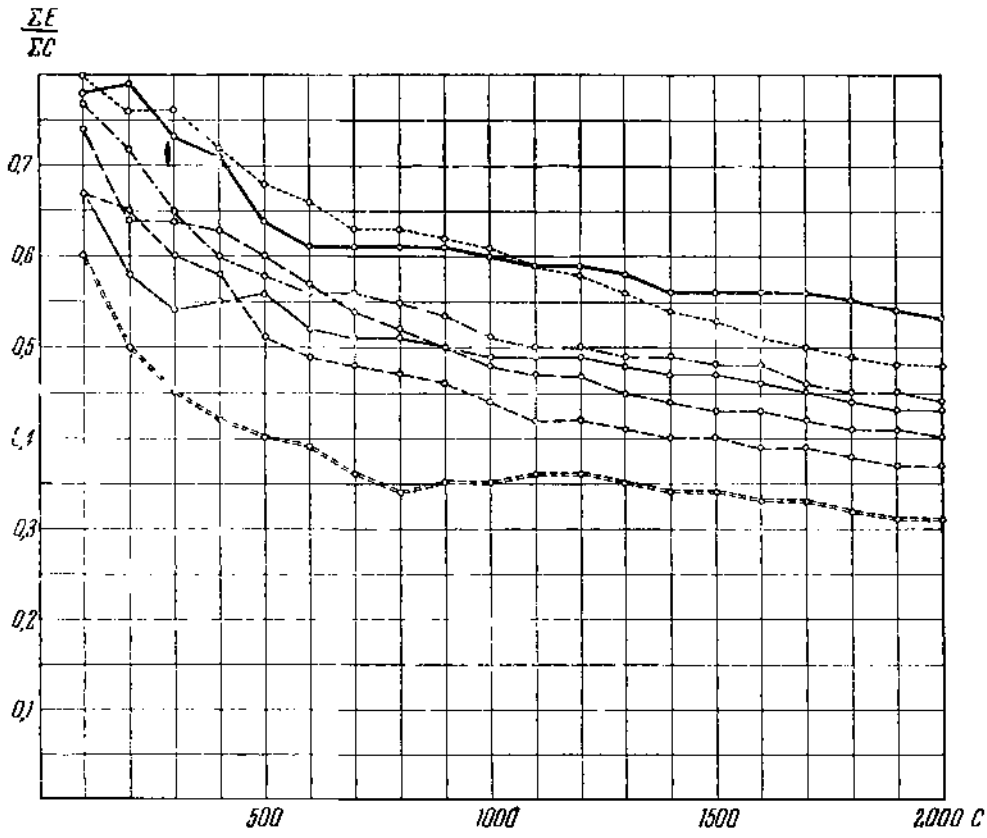


Рис. 3. Кривые КОЕС

OI —— OII —— КДI —·—·—·— КДII ——— ВМ-------- ПЦ ·····

Гр ======

Цифровые данные:

КОЕС OI: 0,78, 79, 73, 71, 64, 61, 61, 61, 61, 60, 59, 59, 58, 56, 56, 56, 56, 55, 54, 53; КОЕС OII: 0,67, 58, 54, 55, 56, 52, 51, 51, 50, 49, 49, 49, 48, 47, 47, 46, 45, 44, 43, 43; КОЕС КДI: 0,77, 72, 65, 60, 58, 56, 56, 55, 53, 51, 50, 50, 49, 49, 48, 48, 46, 45, 45, 44; КОЕС КДII: 0,74, 64, 64, 63, 60, 57, 54, 52, 50, 48, 47, 47, 45, 44, 43, 43, 42, 41, 41, 40; КОЕС ВМ: 0,67, 65, 60, 58, 51, 49, 48, 47, 46, 44, 42, 42, 41, 40, 40, 39, 39, 38, 37, 37; КОЕС ПЦ: 0,80, 76, 76, 72, 68, 66, 63, 63, 62, 61, 59, 58, 56, 54, 53, 51, 50, 49, 48, 48; КОЕС Гр: 0,60, 50, 45, 42, 40, 39, 36, 34, 35, 35, 36, 36, 35, 34, 34, 33, 33, 32, 31, 31

Посредством установления декрементального отношения единиц к словам как бы моделируется процесс чтения текста иностранцем, если предполагать, что по ходу такого чтения запоминается каждое новое «слово» (т. е. словарная единица) — а это обычно так и происходит при изучении иностранного языка. Если к приведенным выше данным добавить показатель частотности новых лексем, встречающихся в тексте, наша модель в еще большей мере приблизится к процессу чтения иноязычного текста; в таком виде модель становится тем более применимой в практике преподавания иностранного языка.

Если полученные таким путем результаты распространить на тексты большей протяженности, окажется возможным приблизительное определение количества словарных единиц текста того или иного характера без сплошного их подсчета; их можно использовать как при преподавании иностранного языка, так и при планировании запоминающего устройства электронной счетной машины, предназначенной, например, для перевода текстов определенного рода с одного языка на другой.

Показателем как «стиля», так и «трудности текста» (с точки зрения изучающего его) является, конечно, далеко не только словарная структура: следует, как нам кажется, в этих целях исследовать с подобной «глобальной» точки зрения также и иные стороны структуры высказываний (например, рассмотреть количественные отношения между разными типами словосочетаний, предложений и т. д.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. Г. ШПРИНЦИН

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПО ЯЗЫКУ БОТОКУДОВ

Ботокуды (боруны) — одно из многих, находящихся на грани исчезновения (а быть может, уже ныне не существующих) индейских племен северо-восточной Бразилии. В 1915 г. ботокудов посетил русский исследователь Г. Г. Манизер, проживший в их селениях около полугода [1]. Много внимания уделил Г. Г. Манизер исследованию языка ботокудов. Будучи учеником И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, он был теоретически и практически подготовлен к предстоявшей ему работе. Преждевременная смерть на юго-западном фронте во время первой мировой войны в июле 1917 г. прервала обработку собранных материалов. Незавершенным осталось и исследование о языке ботокудов.

В основу настоящей публикации положены записи Г. Г. Манизера по ботокудскому языку, хранящиеся в архиве Института этнографии АН СССР в Ленинграде. При изучении материалов Г. Г. Манизера для сравнения были привлечены словари (точнее — списки слов), имеющиеся в материалах первой русской экспедиции в Бразилию (1821—1828), хранящихся в Архиве Академии наук СССР в Ленинграде [2].

*

Лингвистические материалы Г. Г. Манизера отличаются почти от всех собранных до и после него тем, что они были записаны специалистом-лингвистом. Записи по языку ботокудов производились Манизером в штате Эспириту Санту в правительственном посту Панкас, на берегах одноименной реки (левый приток Рио Доси). В правительственный пост было переселено несколько групп ботокудов: miɲã-jirún, или xmiɲã-jirún, gu ƒ -krak nak-ræxǽ, šup-šup, или jiporok. Поселившись здесь, Манизер в течение нескольких месяцев обучал ботокудских детей португальскому языку, знакомясь в то же время с их родным языком. Однако бо́льшую часть записей по языку и фольклору Манизер произвел в Панкасе со слов Jeronimo, бывшего вождя группы nak-ræxǽ, хорошо говорившего по-португальски. Записи, произведенные в Панкасе, Манизер неоднократно проверял и дополнял на месте — как в отношении правильности записанного материала и соответственного перевода, так и в отношении точности фонетической записи, о чем живо свидетельствуют его черновые заметки.

В штате Минас Жераис Г. Г. Манизер изучал язык ботокудов группы krenak, живших на северном берегу реки Мутум (левый приток Рио Доси). Находясь среди кренаков, где никто из индейцев не говорил по-португальски, Манизер, уже знакомый с ботокудским языком, «исключительно стенографировал» язык. Из-за недостатка времени он не смог проверить эти записи. Собранные у кренаков сведения он подверг анализу уже по возвращении в Петроград.

Собранные Манизером материалы по ботокудскому языку можно разделить на три группы: 1) ботокудско-португальский и португальско-ботокудский словари. Слова в них расположены в соответствии с алфавитом Международной фонетической ассоциации, дополненным знаками, предложенными Л. В. Щербой в 1911 г., и несколькими знаками ортугальского алфавита. Каждое слово иллюстрируется фразеологиче-

---

[1] Подробнее о Г. Г. Манизере и его научной деятельности см. во «Введении» редактора к посмертно изданной книге Манизера: Г. Г. Манизер, Экспедиция академика Г. И. Лангсдорфа в Бразилию (1821—1828), М., 1948 («Зап. Всесоюзн. географич. об-ва», Новая сер., V). Описание культуры ботокудов см. в его работе: Г. Манизер, Ботокуды (борун) по наблюдениям во время пребывания среди них в 1915 г., «Ежегодник Русск. антропологич. об-ва при СПб. ун-те», VI, 1916.

[2] Был использован также один из словарей Г. Марлиера, который сохранился в рукописи в Архиве АН СССР в Ленинграде (фонд 63, опись 1, № 24); этот словарь озаглавлен «Vocabulaire de la langue des botocudys» (в дальнейшем указывается сокращенно Mar.).

Библиографию трудов по языку ботокудов, а также по их истории и этнографии, в которых имеются также данные о языке, см. в следующих работах: A. Métraux The Botocudo, в кн. «Handbook of the South American Indians», 1, Washington, 1946; J. A. Mason, The languages of South American Indians, в кн. «Handbook of the South American Indians», VI, Washington, 1950; Č. Loukotka, Les Indiens botocudo et leur langue, «Lingua posnaniensis», V, 1955.

скими примерами. Часть слов и фраз переведены также и на русский язык; 2) словарная картотека. Каждая карточка этой картотеки содержит фразеологический и словообразовательный материал, иллюстрирующий использование данной корневой морфемы. Значительная часть фраз взята из сказок. Во многих случаях к сравнению привлекаются данные словарей, опубликованных П. Эренрейхом, Б. Рудольфом, Ж. Нери, Ч. Гартом [3]; 3) четырнадцать сказок, записанных на ботокудском языке, с построчным, но не дословным переводом на португальский язык.

Записи Г. Г. Манизера имеют уникальную научную ценность (в известных нам опубликованных материалах по этнографии и языку ботокудов тексты сказок, например, не представлены). Ученому, однако, не довелось завершить обработку лингвистических записей. В черновых набросках осталась задуманная им работа «Материалы по языкам четырех индейских племен Бразилии». Краткое содержание предполагаемой работы, критические замечания о материалах и выводах авторов нескольких печатных работ о языке ботокудов, принципы, положенные в основу систематизации словарных записей, и, наконец, многочисленные варианты записей и переводов — таковы источники, дающие далеко не полное представление о содержании задуманного Г. Г. Манизером труда.

В сохранившихся записях Г. Г. Манизера переводы отдельных слов и в особенности фраз зачастую неполны, а в некоторых случаях это записи мнемонического характера, расшифровать которые мог только их автор. Словарные материалы переведены на португальский язык, число переводов с ботокудского на русский сравнительно незначительно. Очень немногочисленные параллельные переводы на русский и португальский языки не всегда адекватны: один из них обычно представляет сокращенное изложение ботокудского оригинала [4].

В материалах Г. Г. Манизера имеется характеристика звуков ботокудского языка и, в частности, им составлена следующая таблица согласных и гласных фонем ботокудского языка:

Согласные

«*mb*»	*pm (xm)*	*w*	—	←«*pm (xm)*»	—
—	*t*	—	—	*n*	*r*
ʒ	*ʒ*	*j* = *ź*	—	*ɲ*	(*ř*)
g	*k*	—	*x*	*η*	

Гласные

ы	*i*	*e*		*u*
	ъ	(*ε*)	*o*	
		æ	*ɔ*	
		a		

Описание звуков ботокудского языка, представленное в рукописи Г. Г. Манизера, приводится ниже в сокращенном виде. «Некоторые согласные очень своеобраз-

[3] См.: Ch. F. Hartt, Geology and physical geography of Brasil. Appendix — On the Botocudos, Boston — London, 1870, стр. 577—606; P. Ehrenreich, Ueber die Botocudos der brasilianischen Provinzen Espiritu Santo und Minas Geraes, «Zeitschr. für Ethnologie», XIX, 1887 (далее указываем сокращенно — E_1); его же, Ein Beitrag zur Charakteristik der botokudischen Sprache, «Festschr. für A. Bastian zu seinem 70. Geburtstage», Berlin, 1896 (далее— E_2); Br. Rudolph, Wörterbuch der Botokudensprache, Hamburg, 1909 (см. «Vorwort des Herausgebers», стр. IV—V, далее — R); J. B.C. Neri, Carta pastoral, despendido-se da Diocese do Espiritu Santo, seguida de algumas noticias sobre a diocese, Campinas, 1901 (далее — N). [Цифры (кроме надстрочных) при сокращениях обозначают цитируемую страницу. На стр.103, где воспроизводится наиболее полная словарная карточка из картотеки Г. Г. Манизера, сохранены сокращения самого автора, принятые им для указанных работ Эренрейха — Ehrenr., Ehrnr., для словаря Рудольфа — Br. R.; для работы Нери — Bisp.] Интересна характеристика, которую Г. Г. Манизер дал указанным словарям П. Эренрейха и лексическим материалам, опубликованным К. Марциусом (C. F. Ph. Martius, Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Brasiliens, II — Zur Sprachenkunde, Leipzig, 1867): «Сравнение этих словарей с фонетической записью моею очень поучительно, так как показывает наглядно, чего не слышали и толковали каждый по-своему эти два разно воспитанных уха европейцев (французов и немцев). Марциус и Эренрейх... считают французские записи искаженными» (Г. Г. Манизер. Материалы по языкам четырех индейских племен Бразилии. Рукопись, фонд К - 01, опись 1, N 419, л. 46).

[4] Записи и материалы Г. Г. Манизера публикуются нами в его транскрипции, которую, очевидно, следует считать наиболее точной, поскольку она выработана исследователем, имевшим специальную подготовку в области общей фонетики. Материалы Г. Г. Манизера воспроизводятся в точном соответствии с оригиналом; при этом осуществлены лишь некоторые редакторские приемы (ботокудский текст и слова даны курсивом, их перевод на португальский или на русский языки, также принадлежащий Г. Г. Манизеру, заключен в кавычки; написание некоторых португальских слов исправлено в соответствии с орфографией 1931 г.). Наши немногочисленные дополнения (оснащение ряда ботокудских слов, имеющих в записях Г. Г. Манизера только португальский перевод, еще и переводом на русский; уточнение ссылок Г. Г. Манизера на работы Эренрейха и Рудольфа; подстрочные замечания пояснительного характера) приводятся в квадратных скобках.

ны: в языке нет фон [5] европейского, *b*, ни *m*; первое обычно передается *mb*..., где взрыву *b* предшествует выход воздуха через нос, т. е. на место *b* — „двухсогласная" *mb*. Что касается до *m*, то он тоже начинается с шума струи воздуха, выходящей в нос, и производит на слух впечатление *xm* или „хмыкающего" звука... Когда струя не порождает шипящего шума, а делает маленький взрыв у мягкого нёба перед устремлением в нос, то порождается звук, похожий на *pm*. В записях у меня обычно и фигурируют *mb* и *xm* = *pm*, из которых только *mb* есть приблизительное изображение, а *xm* = *pm* — чисто условны и означают одну и ту же фону. Рядом с *n* употребительно *ŋ* как в Aus-, так и в Anlaut'e, имеется и *ɲ*. Палатальное *d* (*ʤ*) и *t* (*ʧ*) в большом ходу, *l*, *v* и *f* отсутствуют, *r* какуминальное с дрожанием, очень чистое, *j* и палатальное *ž* слиты в одной фоне и друг друга сменяют безразлично... Гласные есть носовые и чистые, причем очень в ходу задние ряда *a* — *ы*. *ɛ* и *æ* — одна фона (и *e* тоже?)» [6].

В своих подготовительных заметках по морфологии ботокудского языка Г. Г. Манизер писал: «Глагол и имя (т. е. соответствующие в переводе европейскому глаголу и имени) не имеют неотъемлемых морфологических признаков, а в глаголе мне остались неизвестными сэмы [7] времени и модальные — нигде в текстах не попадается ничего, что могло бы претендовать на такое название» [8]. Для иллюстрации методов работы Г. Г. Манизера, стремившегося постичь морфологическую структуру ботокудского языка, приводим одну из наиболее полных карточек составленной им словарной картотеки.

Jun — морфема острия, зуба, зубья.

(Krn.) [9] *krak-kjun-ton-tɔn* «гвоздики (в подметке) железные»;

(Kr.) *xattaran-kjun* «клюв арара» [арара — вид попугая];

(Kr.) *nimbɔ-ʤuɔn* [10] «зубы (резцы) капибары»;

(Kr.) *kitɔm-jun* (nom. prorp. ♀) [имя собственное женское] «глаз торчком»;

(Chr.) *krɛn-jun* «cabeça de ponta (острая голова)»;

(Chr.) *ʧɔn-jun* «pau de ponta» (♂ nomen prorp.) [«палка острая» (мужское имя собственное)];

(Jr.) *mæŋ-k-žun-wa*: «pega com dente!» [«хватай зубами!»];

(Jr.) *ti-põg-an-kut-kžun-wa* «eu como mel com dente» [«я ем мед зубами»];

(Jr.) *k-žun-ʧiŋ-krɔp-tɛ*... «com dente morde (o carne? o bicho?)», «зубами кусает (мясо? червя?)»;

(Jr.) *kjun-pάŋ-* «dente apontado», «спиленные з[убы, зуб заостренный]»;

(Jr.) *jun-mrɛp* «ponta de flecha» [«острие стрелы»];

(Jr.) *krak-jut-naŋ* «a faca tem ponta» [«нож имеет острие»];

(Ehrenr.) «dens» [«зуб»] *žũn*, *kižũm* [E_1, 52]; *krak-žũn* «jugum montium» [E_1, 54];

(Bis.) *quijúne* «dente» [«зуб»];

(Br. R.) «Zahn» [«зуб»] — *tschini jun*, *kijun*, «Zahnfleisch» [«десна»] — *kijun nik*, «Zahnschmerzen» [«зубная боль»] — *kijun hek hek* [R, 70];

(Ehrenr.) «rostrum» [«клюв»] — *ziun* [E_1, 57].

Материалы уникальной ценности, собранные Манизером, представляют интерес не только для изучения ботокудского языка, но и для общего языкознания. Таков, например, способ называния новых понятий посредством описательных определений. В ботокудском языке, носители которого принадлежали к числу отсталых индейских племен Южной Америки, после открытия и захвата Бразилии португальцами появились названия новых, ранее не известных предметов. Подобно словам, которыми ботокуды называли предметы, находившиеся вне их физической досягаемости, эти предметы обозначались определениями, образованными по принципу «от известного к неизвестному» [11]. Так, например, и звезда, и старинная металлическая монета тостан (100 рейсов) по отдаленному сходству со светлячком стали обозначаться словом *tɔm-*

[5] [Манизер предлагает термин «фона», не соглашаясь с определением фонемы, которое дал И. А. Бодуэн де Куртенэ. «Фона,— пишет он в той же рукописи (л. 5),— обозначает собой единицу, объединяющую много разных звуков, оттенков произношения, которые не различимы носителями языка»...]

[6] Г. Г. Манизер, Материалы по языкам..., лл. 54—55.

[7] По определению Манизера, «сэма есть единица речи (иногда просто оттенок звука — отдельная фона), связанная условно с одной определенной подробностью действительности» (указ. рукопись, л. 5). Считая термин «морфема» в определении И. А. Бодуэна де Куртенэ не научным, Манизер все же признает, что практически, по употреблению оба термина очень близки.]

[8] Г. Г. Манизер, указ. рукопись, л. 56.

[9] В начале записи Г. Г. Манизера в скобках указывается имя лица, со слов которого производилась запись. Krn., Kr., Krenak—старик из группа кренаков, Chr.— Christino — бразилец-переводчик, с помощью которого Манизер собрал небольшую часть языковых материалов среди кренаков; Jer., Jeronimo — старик из группы nak-ræxáˀ. Отметим кстати, что в настоящей статье использованы главным образом материалы по языку группы nak-ræxáˀ. Иногда в начале записи в скобках приводится фамилия автора, данные которого привлечены для сравнения].

[10] В записях Г. Г. Манизера *nimbɔ-guɔn* встречается только один раз.]

[11] Часть материала по вопросу о названии новых понятий посредством подобных определений подобрана Г. Г. Манизером.

rɐ-ʔɐt. Не вдаваясь в этимологию этого сложного слова, отметим лишь, что, как указывает Г. Г. Манизер, «у кренаков и звеады и светляки называются просто *ɛ-ʔɐt*». Это же слово со значениями «звезда», «светлячок», «блестящий» и др. имеется в словаре Рудольфа (R, 2, 6, 15, 55, 56).

Большое число слов, обозначающих новые предметы, представляет собой заимствования из португальского или — что значительно реже — из одного из негрских языков, измененные в соответствии с фонетикой ботокудского языка. Так, например, португальское *compadre* «кум» по-ботокудски звучит *cumpat*; *lençо* «платок» — как *rɛ:n* (*r* — заменяет отсутствующий в ботокудском звук *l*). Иногда предметы европейского происхождения имеют два названия: описательное и заимствованное. Пример: *krak-ntak* «canivete» [«перочинный нож»]. Слово это состоит из двух компонентов: *krak* — обычно переводимое как «камень»; однако, имея в виду, что с появлением металлических орудий ботокуды перенесли это название материала для своих (не металлических) орудий на новые для них предметы, привезенные европейцами, Манизер дает ряд значений для слова *krak*: «камень, железо, нож-скребок» и др., ибо одним из компонентов таких новых слов, как «нож», «серп», «топор» и др., служит *krak*. Вторая часть слова *-ntak* пока не поддается точному объяснению. Наряду с этим существует гермин *kani-vet* < португ. *canivete* «перочинный нож».

Примером своеобразного сложения заимствованных португальских слов с ботокудскими для наименования предметов европейского происхождения служит название никелевой (не серебряной!) монеты — *prat-kuji*. Первая часть его восходит к португ. *prata* «серебро, серебряные деньги», вторая представляет собой ботокуд. *kuji* «малый, не настоящий» [12].

К числу новых словообразований и заимствованных слов следует прежде всего отнести названия предметов одежды, которые ботокуды впервые увидели на белых пришельцах. Манизер записал у кренаков название ботинка — *pɔ-ɣ ɐm*, состоящее из *pɔ* «нога» и *ɣ ɐm* «жилище», буквально: «ногй жилище». «Ботинок», по Эренрейху,— *pō-kat* (E_1, 50), по Пери — *po'cat*, по Рудольфу — *po cat* (R, 65) [13], где *po* «нога», *kat* (*cat*) «кожа», т.е. «ногй кожа». Записанное у кренаков *mutina* восходит к португ. *botina* «ботинок» [14]. У кренаков Манизер записал также название шляпы: *krɐn-kat-mbruk* «красная шляпа»; этимологический анализ допускает буквальный перевод: «головы кожа красная». Кренаки называли также головной убор *tapɛt* или *tapɛn* < португ. *chapeu* «шляпа». Ср. *krenkat* (R, 58) и *krenikat* (R, 24), которые Рудольф переводит как «покрытие головы» («Kopfbedeckung»); ср. также в записях Пери: «Видя шляпу и зная ее употребление, они обозначили ее *krene tepó* „голова для солнца“»(N, 66), где *krene* (по Манизеру *krɛn*) «голова», *tepó* (по Манизеру *tɛppɔ*) «солнце».

К числу заимствованных из португальского языка названий одежды принадлежат также упоминаемые в одной из записанных Манизером сказок *palitɔ* < португ. *paleto* «пиджак», *boné* < португ. *bonê* «фуражка, кепка» и др. Из других записей, фиксирующих названия предметов одежды, укажем: *taŋ-kittɔm* «пуговица кармана», буквальный перевод: [«сумка-глаз», т. е. «глаз сумки»], где *taŋ* «сумка», *kittɔm* «глаз»; по-видимому, ботокуды ассоциировали карман как вместилище с сумкой, вязанной из растительных волокон, которая использовалась для переноса собранных в лесу съедобных растений и добытой на охоте мелкой дичи; пуговица по форме, очевидно, ассоциировалась с глазом.

Сравнительно большое распространение в ботокудском языке получили названия домашних животных, привезенных из Старого Света. Примеры: *krɐn-ju* «burro, cavalo (cabeça grande!!)» [«осел, лошадь (голова большая!!)»], где *krɐn* «голова», *ju* «большой»; *krɐnju-jɔppu* «кобыла», буквально: «голова — большая — самка», где *jɔppu* или *jɔ-ppu* «женщина, мать, самка»; *krɐnju'-waxxa* «macho cavalo» [«самец, конь»], буквально: «голова — большая — самец», где *waxxa* «самец, мужчина». По данным других исследователей: *kran žũn* «лошадь», буквально: «голова — зубы», где *kran* «голова», *žũn* «зубы» (E_1, 44); ср. *crêm djum* «лошадь», буквально: «голова зубы», где *crêne* «голова», *djúm* «зуб» (A, 595, 596).

Название быка—животного, не известного ботокудам, Манизер возводит к слову с первоначальным значением «олень». Примеры: *mbɔk-krī*, *pɔk-krī*, *pukri* «boi, veado», «бык, олень»; *pukri-waxa* ♂ «бык» [буквально: «бык-самец»]; *pukri-jɔppu* ♀ «корова» [15]. У кренаков «бык» — *mbɔkɔkri*. К одной из записей Г. Г. Манизер сделал примечание:

---

[12] Объяснение составлено по отрывочным замечаниям Манизера.

[13] *pɔ-kat* или *ji-pɔ-kat*, где *pɔ* «нога», *kat* «кожа», Манизер переводит как «чулок» Значение *ji* пока неясно; Манизер склонен был считать *ji* субстантивной частицей.

[14] См. S. F. Abreu, Os Indios Crenaques (Botocudos do Rio Doce) em 1926, «Revista do Museu Paulista», XVI, São Paulo, 1929 (далее — A), стр. 600.

[15] То же происхождение названия быка от наименования оленя можно установить по данным Пери: *bokri* «олень»; *pococa'* «бык» (N, 62). Сходные примеры имеются и у других авторов. Предположение о том, что ботокуды назвали быка по известному им до появления европейцев оленю, косвенным образом подтверждается данными словаря Фройш де Абриу. Название оленя осталось прежним, ботокудским — *bocrim* (A, 600). Бык получил два названия: ботокуд. *mbococri* (A, 596) и *mboi* < португ. *boi* «бык» (A, 600).

cf. et. *pɔ-gri* «dois dedos?» [ср. этимологически: *pɔ-gri* «два пальца?»]. В словаре Манизера имеются записи: *grim* «dois, 2, dois junto» [«два, 2, два вместе»]; *grimpɔ* «два»; *grim pɔ* «dois dedos» [«два пальца»]. Эти лаконические записи Манизера могут быть конкретизованы, если обратиться к примерам и выводам П. Эренрейха (см. E_1, 44, 46), которые были известны исследователю.

Названия различного происхождения имеют привезенные из Старого Света растения и некоторые виды пищи. Так, например, *arɔ́t* происходит из португ. *arroz* «рис». Манизер записал и иное название этого злака: *maŋ-arɔ́t*, которое, очевидно, состоит из ботокуд. *maŋ* и португ. *arroz* (*maŋ* — один из компонентов слова *maŋkùt* «еда, есть» или *maŋ-kɔk* «глотать», по-видимому, служит пояснением к новому слову *arɔt*: *maŋ-arɔ́t* должно означать, таким образом, «еда-рис»). По ассоциации с известной им кукурузой ботокуды назвали рис также *uwati kuschi* «кукуруза маленькая» (R, 63).

Два названия в записях Манизера имеет также и мука: ботокуд. *am-ɔʔi*: или *cɔ-cɨ* и *pɔri'ɲ* < португ. *farinha* (где *p* заменяет отсутствующий в ботокудском языке звук *f*; ср. *kapɛ* < португ. *café* «кофе»). Арбуз называется *krɛn-wɛt-wɛt*, буквально: «голова полосатая (чёрканая)» и *maran ɟ ia* < португ. *melancia* (*r* и *ɟ* заменяют соответственно отсутствующие в ботокудском языке звуки *l* и *s*).

Название сахарного тростника *kumrin*, приводимое Манизером, сходно с аналогичными названиями, упоминаемыми Нери, Рудольфом и др. В меньшей степени это сходство имеет место в записях слова «сахар». По Манизеру: *kumrin-ʔɔ-ʔi* «farinha da cana (açúcar)» [«мука из сахарного тростника, сахар»]. По записям других исследователей: *cōnim-nēk* «что-либо сладкое» (E_2, 60), *cumrin quiton-nic* «вещь, сделанная из слезы тростника» (N, 66) и, наконец, *tchúca* < португ. *açúcar* «сахар» (A, 600).

Название тростниковой водки, также описательное, определяющее ее вкус, почти полностью совпадает в доступных нам материалах. По записям Г. Г. Манизера: *naŋ-grɔk* «amargo, parati, cachasa» [«горький, водка, кашаса (тростниковая водка — бразильск.»]; ср. *magnan-corock* (Mar.), *munia krok* (E_2, 58), *minhangrok* (N, 62), *minjangrok* (R, 28), что означает «вода горькая, острая»[16].

Ботокудам, жилище которых представляло собой навес-заслон из древесных ветвей или пальмовых листьев, были неизвестны такие детали европейского жилища, как дверь и окно; последние также получили описательные названия по аналогии с известными индейцам предметами.

Примеры: *ma* «porta (= qualquer buraço)» [«дверь (= какое-либо отверстие)»]; *kjɛ:m-ma*: «a porta da casa» [«дверь дома»]; *am-pma-pɔwiɲ* «окно, отверстие (дверь) высоко». Слово со значением «окно» состоит из: *am* — частицы, которую Манизер предположительно считает безличной; [*p*] *ma*, по определению Манизера: «морфема пустого пространства, прорехи, дыры»[17], *pɔwiɲ/pa-wî/pau̯i:m* «высокий, высоко». В одном из черновых вариантов словаря имеется запись: *amp-ma:-nжá:k* «janela, outra que a porta» [«окно; другое, чем дверь»]. Если такое слово имелось в ботокудском языке, то не исключена допустимость иного толкования. *n ɟ ak* имеет два значения: 1) «другой, иной»; 2) «брат». Возможно, что это определение окна можно понять как «двери брат». «Окно», по Рудольфу: *kischem kitom* (буквально: «глаз дома») (R, 20), где *kischem* «хижина, дом» («большое гнездо») (R, 20), *kitom* «глаз», «то, что дает большое видение» (R, 20).

Сравнительно невелико, как можно судить по записям Манизера, число звукоподражательных слов. Пример: *pu:m* «espingarda», «ружье». Ср. *pu* (E_2, 41), *pum* (N) *poung* «ружье», *poung-ourouhou* «двустволка»[18] (Mar.), *pum* «ружейный выстрел», *pum jipakischu*[19] «ружье» (R, 39, 56). В словаре Ф. де Абриу имеется другой термин: *pingarda* < португ. *espingarda* (A, 601).

Насколько можно судить по известным нам, собранным после Манизера материалам, число заимствованных слов в ботокудском языке увеличилось. Слова эти, по-видимому, в значительной мере вытеснили описательные определения, которыми обозначались некоторые новые понятия. Об этом, в частности, свидетельствует словарик

---

[16] Аналогичные или близкие по своей семантической структуре названия водки имеются во многих языках. Так, например, в чукотском — *æqæ-mímьl*, также *æqímьl* «спирт, водка», которое образовано от *æqæ* (прилагательное употребляется только комплексно) «дурной, злой, худой, плохой», *mímьl* «вода, жидкость» [см. В. Г. Богораз, Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь, М.—Л., 1937, стр. 26, 96]. Сходные наименования имеются в романо-германских языках, например в испанском и португальском, где *aguardente* (португ.) и *aguardiente* (исп.) «водка» (буквально: «жгучая вода») состоит из: *agua* «вода» и *ardente* (португ.), *ardiente* (исп.) «жгучий».

[17] Манизером подобран ряд слов («скорлупа ореха сапукайи», «рот», «бамбук», «отверстие в груди» и др.), иллюстрирующих значение этой морфемы. В работах Эренрейха, Рудольфа и других имеются слова, в состав которых входит *mā*, *ma* и которые имеют аналогичные значения.

[18] *poung ourouhou* — в буквальном переводе значит: «ружье много».

[19] *jipakischu* «большой, очень большой» (R, 14, 56).

Ф. де Абриу, составленный в правительственном посту Панкас одиннадцатью годами позднее Манизера (А, 600—601).

В заключение краткого обзора названий и описательных определений новых для ботокудов предметов укажем два характерных примера из числа записанных Манизером у кренаков. 1. Слово *ɟ eŋ-kat-nak* «железная дорога, поезд», «maquina» [«машина»] состоит из: *ɟ əŋ-kat* «каноэ», *nak* «земля»; в свою очередь, *ɟ əŋ-kat* состоит, как неоднократно указывалось в литературе, из *ɟ ən* «дерево», *kat* «кожа, кора». Поезд, ранее не известное ботокудам средство передвижения, означается как «лодка земля», «наземная лодка». Ф. де Абриу, не давая анализа компонентов, из которых состоит не столь точно фонетически записанное им то же слово *joncát-nac*, также дает перевод: «поезд железной дороги» (буквально: «наземная лодка») (А, 599). 2. *kitɔm-tɛ-pɔk-papɛ-jikɯt* «очки (затычки для глаз, чтобы показать, видеть бумагу)». Объяснение Манизера уточняется переводом отдельных частей: *kitɔm/kittɔm* «глаз», *tɛ* — частица, значение которой не выяснено, *pɔk* — морфема со значением «затычка», *papɛ́* «бумага» (< португ. *papel*), *jikɯt/ jɯkɯt* — морфема со значением «показывание».

Приложение

К статье приложена одна из подготовляемых нами к печати сказок ботокудов группы nak-ræxǽ. Перевод сказки на русский осуществлен с португальского. Попытка дословного перевода с ботокудского показала, что сказка остается непонятной для читателя, не знакомого с грамматикой этого языка. Здесь же приводится перечень используемых в тексте сказки морфем и слов, снабженных русским переводом.

Urubu, morcego e beija-flor [20]

«Урубу [американский гриф], летучая мышь и колибри

Колибри сказал урубу: — Я тебя не боюсь.— Ну, так ударь меня,— отвечал урубу. Колибри разлетелся и проткнул ему клюв. Улетел колибри, встретил летучую мышь и тоже говорит: — Я тебя не боюсь, но летучая мышь не стала дожидаться удара — убежала — боится за свой нос! (У urubu и впрямь дыра!)»

mɔjɔkɲu:n-amp̄ъ-wɛ́-au̯ mɔɲɔkɲu: amp̄ъ kukkí nuk

«beija-flor a urubu falou beija-flor d'urubu não tem medo»

[«колибри урубу сказал колибри урубу не боится»]

nы:ɲapmɔ̄ŋ mɔjɔkɲu: tыn-tы́: n(e) kiri:m[21] *tы*[22]*-mapmā̯u*

«vem bater? beija-flor.» «eu vou lá mesmo» «para lá» (cf. *xira*) «vou batendo!» [23]

[«иди бить? колибри» «я иду туда сам туда» (ср. *xira*) «иду бить» (буквально: «иду бия»

«urumbú nы-ɲapmaú̯ nы ɲapmaú̯ kž̌ina-ttu: pmau kž̌in-kupaŋ ri:'ŋ [24]

«urubu vem bater vem bater no nariz furou batendo da nariz no meio»

[«урубу иди бить, иди бить в нос проткнул, бия носа в середину»]

x̥ɲ̃ъxgы k kuki-nuk! mɔ̃-xi(x̥)mirá[25] *kž̌ina-tú — kukki:n*

«morcego não tenho medo! vai espera lá nariz furada tem medo»

[«летучей мыши не боюсь! иди жди там носа проткнутого боится».]

*

Ниже приводятся в алфавитном порядке слова и частицы, а также, где это оказалось возможным, морфемы, встречающиеся в тексте сказки. Поскольку они даны здесь в той форме, в какой приведены в словарных записях Г. Г. Манизера, во многих случаях имеются отличия от формы того же слова, представленной в связном тексте. Что касается глагола, то, как указано выше, система глагольных форм в ботокудском языке не выяснена. Поэтому глаголы приводятся в той форме, в какой они даны в связном тексте, в частности в сказке. В каждом гнезде на первом месте дается основная форма и — в случае наличия — фонетические варианты (они приводятся после слова: см.). Синонимы и омонимы, если они не упоминаются в словарной статье самого Г. Г. Манизера, в приложение не внесены. Условный знак < означает, что слово заимствовано из португальского языка.

am — безличная частица (?);

amp̄ъ, amp̄ъ́, am-p̄ъ(ы́:ᶜ), amp(b)ы́.ᶜ «американский гриф»;

---

[20] Ботокудский текст, построчный португальский перевод и впоследствии переведенное на русский краткое изложение содержания сказки записаны Г. Г. Манизером со слов упоминавшегося выше Жеронимо. Построчный перевод сказки с португальского на русский принадлежит нам.]

[21] *kirim*, так же как и *riŋ*, по-видимому, являются наречиями места, которые в словосложении имеют усилительное значение.]

[22] Точного перевода *tы* установить не удалось.]

[23] Во многих случаях Манизер переводит португальский герундий как инфинитив; *batendo* — герундий глагола *bater* «бить».]

[24] В оригинале пропущен перевод *ri:ŋ* «varou» [«пронзил»].]

[25] Произвести анализ всех компонентов выражения *mɔ̃-xi(x̥)mirá* пока не удалось.]

an — морфема действия;
артāu «бить». См.: *ɲартэ̃ŋ*, *ртau*;
au, *au̯*, *au̯n* «говорить в широком смысле» [«говорить; слово; язык (речь)»];
ɟi — префикс неясного значения. Субстантивная частица (?);
ɟu' [«большой»]. См.: *pakɟu*;
kɟin, *kj-in* «нос, [клюв], выступ»;
kju:n «зуб»;
krэp «укусить»;
kuɟi, *kuɟi'* «малый, ненастоящий»;
kukki, *kuk-ki*, *kukki:n* [«боится»];
kupan «середина»;
kut — морфема со значением «еда»;
mɛn, *mæn* — морфема со значением «ловля (чего-либо живого?)»;
mэ — в словосложениях повелительная частица;
mэjэkɲu:n, *mэɲэkɲu'*:(ŋ), *muɲukɲú:ɲ*, *mэɲэkɲu*:[«колибри»];
nak «земля»;
nы — «1) прийти; [2) иди]»; 3) морфема со значением приближения; 4) в словосложениях частица;
nta «другой раз; [еще раз], уже»;
nuk — 1) морфема отрицания; 2) в словосложениях отрицательная частица;
ɲартэ̃р, *ɲа-ртэ̃ŋ*, *партau*, *ɲа-ртāu̯* [«бить»]. См.: *артāu̯*, *ртau*;
pakju, *pakjú:*, *pa-kjú*, *i-pakju'*: «большой». См.: *ɟu'*;
pma, [*p*]*ma* — 1) морфема, означающая пустое пространство; 2) «отверстие, дырка в помещении»; 3) «самое скрытое помещение» etc.;
ртau̯ (*ртэŋ*?) 1) «бить», 2) морфема со значением удар (?). См.: *артau*, *ɲартэ̃ŋ*;
ra «1) красный; 2) желтый; [3) зрелый]»;
rɛ — частица (?) (что-то, касающееся места);
tɛ — частица;
ti «я»;
tu — морфема со значениями «дырявление? опускание? давление?»;
tu-ti — частица со значениями: «обращение внимания? призыв? начало речи?»;
wa — частица (*instrumentalis*? *locativus*);
wɛ — частица (*ablativus*?);
xɲъ̃xgы́:k, *x̃ɲъ̃xgы́:k*, *x̃ɲъ̃xgъ́':t* «летучая мышь»;
xi-ra «1) там, потом, туда; 2) подожди! погоди!» (кренаки).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

О СТИЛИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА ПИСАТЕЛЕЙ *

Исследование языка художественной литературы является предметом особой филологической дисциплины со своим кругом проблем и задач[1]. Большое количество работ, посвященных языку и стилю художественных произведений, многообразие их тематики свидетельствуют о весьма интенсивном развитии этой новой отрасли филологии. Достаточно сказать, что только за последние два с половиной года было опубликовано свыше двухсот статей о стилистических функциях различных пластов лексики, о роли тех или иных видов фразеологизмов, о стилистическом использовании морфологических и синтаксических средств языка в произведениях писателей и публицистов. Разрабатываются и проблемы семантики слова [2], слова и контекста[3], уточняются отношения стилистики к науке о языке и к литературоведению[4]. Научную теорию обогащают изложения взглядов выдающихся писателей на язык художественных произведений[5]. Разрабатываются также методические приемы изучения языка художественной литературы и публицистики[6].

Стилистическое своеобразие писателя всегда постигается в перспективе истории[7]. Его оригинальность полностью познается путем широкого применения сравнительного метода исследований, который показывает черты новаторства и то, что в творчество изучаемого автора вошло из традиций[8]. Трудно доказать, что индивидуальное своеобразие писателя можно уяснить лишь из анализа его произведений[9]. Впрочем наблюдения над отдельными значениями, которые возникают у некоторых «опорных» слов и их сочетаний, становящихся таковыми только в данных идейных и образно-эстетических условиях литературного текста, содействуют познанию своеобразных черт индивидуального использования языка в художественных целях. Такие слова и обороты могут быть связанными с архитектоникой произведения. Они становятся возбудителями сложных ассоциаций, которые вызываются воздействием всей идейной, образной эмоциональной среды произведения, его связями с действительностью и обращенностью к сознанию читателя. Эти проблемы и ряд других теоретических вопросов затрагиваются в содержательных статьях С. Ш. Чагдурова «К изучению индивидуальных особенностей языка писателя» и «О языковых средствах архитектоники романа Л. Леонова „Русский лес“» [10].

В обширной работе Ю. Р. Геннера

---

* По материалам статей, опубликованных в «Ученых записках» и «Трудах» университетов и педагогических институтов (1958—1960 гг.).

[1] См. В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959.

[2] Л. Г. Воронин, Семантика слова в свете марксистско-ленинской теории отражения, «Уч. зап. [Шахтинск. гос. пед. ин-та]», II, 5, 1958.

[3] Н. Н. Амосова, Слово и контекст, «Уч. зап. [ЛГУ]», 243. Серия филол. наук, 42, 1958. Предлагая различать контекст и речевую ситуацию, автор не упоминает «общую теорию высказывания», разработанную Ш. Балли, некоторые положения которой прямо относятся к данной теме.

[4] См. И. Аничков, Стилистика, лингвистика и литературоведение, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 189. Фак-т иностр. языков, 2, 1959.

[5] См. Н. П. Раздорова, Взгляды К. Г. Паустовского на язык художественных произведений, «Уч. зап. [Латв. гос. ун-та]», XXX. Филол. науки, 4А, 1959.

[6] См., например, Л. Б. Барлас, О двух этапах изучения языка писателя, «Уч. зап. [Шахтинск. гос. пед. ин-та]», II, 5, 1958.

[7] Но ср. высказывания А. Ф. Ефремова о своеобразии стиля, которое создается целенаправленным отбором языковых средств (А. Ф. Ефремов, Метафоричность стиля в повести Ф. В. Гладкова «Вольница», «Уч. зап. [Сарат. пед. ин-та]», XXX, 1958, стр. 114).

[8] Ср. Г. Лансон, Метод в истории литературы, М., 1911, стр. 9. О сравнительном методе см. еще: Н. К. Гудзий, Сравнительное изучение литератур в русской дореволюционной и советской науке, ИАН ОЛЯ, 1960, 2; В. М. Жирмунский, Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур, ИАН ОЛЯ, 1960, 3.

[9] См. Л. Шпитцер, Словесное искусство и наука о языке, сб. «Проблемы литературной формы», Л., 1928, стр. 212—213.

[10] См. «Сб. трудов по филологии [Бурят-Монгольск. научно-исслед. ин-та культуры]», III, Улан-Удэ, 1958. См. также: С. Ш. Чагдуров, О выразительности слова в художественной прозе, Улан-Удэ, 1959.

«О стилистических функциях языковых средств (На материале русского языка)»[11] дана не только сводка известного материала, но и выражены точки зрения самого автора. Ю. Р. Геннер считает невозможным довольствоваться «схематическим описанием экспрессивно-стилистических ресурсов языка» (стр. 3). Стилистика, по его мнению, «должна изучать и те мотивы, которые обусловливают выбор той или иной грамматической формы, того или иного слова для выражения мысли автора» (там же). Исследователь предостерегает против наивных заключений, на которые наталкивает статистический метод, неумело используемый. Конечно, «низкий процент причастных и деепричастных оборотов» не является верным «показателем „простоты" языка произведения», вопреки мнению некоторых критиков. «Одной калькуляции совершенно недостаточно для тех или иных выводов обобщающего характера»,— правильно замечает Ю. Р. Геннер (стр. 60).

Но автору не всегда удается избежать нечетких формулировок и неверных суждений. Употребление просторечия «во всех жанрах литературного языка» он считает правомерным, потому что поэзия и художественная проза знают немало случаев, когда просторечные и бытовые слова и обороты используются в самых высоких стилях речи. Однако хорошо известно, что язык поэзии и художественной прозы не вполне подчиняется тем нормам, какие обязательны для других видов использования литературного языка. Поэтому и ссылка на художественную литературу не обосновывает требуемого доступа просторечия во все речевые стили. Выяснению проблемы просторечия и правильному взгляду на него могли бы содействовать, например, статья Ю. С. Сорокина «„Просторечие" как термин стилистики»[12], а также книга О. С. Ахмановой «Очерки по общей и русской лексикологии»[13]. Но эти источники, по-видимому, не были учтены Ю. Р. Геннером.

Местнодиалектную лексику автор не признает доброкачественной и противопоставляет диалектизмы «хорошим литературным словам и выражениям» (стр. 16). Меру употребления диалектизмов он выдвигает критерием оценки художественных достоинств литературного произведения, по-видимому, не принимая в расчет то, что «качества» речевых элементов нельзя установить вне зависимости от мотивов и целей выражения определенного «содержания». Принципиально же противопоставление местных диалектизмов языку художественной литературы не выдерживает критики по многим причинам и, в частности, потому, что возможно существование богатых художественных литератур, основанных на местных говорах[14]. Все же Ю. Р. Геннер допускает «употребление слов из отдельных говоров в целях придания известного колорита высказыванию не только в речи действующих лиц, но и в речи автора» (стр. 15). Мы не знаем, на чем основывается исследователь, когда он заявляет что «наши классики не пользовались местными говорами» (стр. 17).

Об усилившейся тенденции отрицать художественное значение диалектизмов см.: С. И. Котков, Местный речевой колорит в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки», «Материалы и исследования по русской диалектологии», Новая серия, I, М., 1959, стр. 132.

Чрезвычайно сложным и во многом неясным остается вопрос о роли языка поэтических произведений в развитии и упрочения различных элементов структуры литературного языка. Разыскания в этой области вызывают к себе повышенный интерес. В исследовании Л. Н. Санжарова «О номинативных предложениях в языке поэзии»[15] устанавливается связь между художественной практикой поэтов и стабилизацией в языке данной синтаксической формы. Изучая распространенность номинативных предложений в произведениях многих русских поэтов, Л. Н. Санжаров показывает, что эта конструкция была «довольно широко представлена уже в начале XIX века, но отдельные виды их (нераспространенные и группы номинативных предложений) начали интенсивно развиваться на рубеже XIX и XX веков» (стр. 130)[16]. Любопытно утверждение автора, что такое развитие происходило под определенным воздействием поэтических опытов символистов (стр. 131).

Естественно было бы ждать, что Л. Н. Санжаров даст обоснование этой мысли путем анализа отношений между творческим методом поэтов-символистов и их речевой практикой. Но исследователь находит возможным ограничиться следующим высказыванием: «Занимаясь формалистическими опытами в области языка поэзии, сами того не подозревая, символисты натолкнулись на то, что отвечало потребностям языка, что было впоследствии узаконено языковой практикой, что было нужно языку в качестве одного из средств лаконизма-

[11] «Научн. зап. [Харьковск. гос. пед. ин-та]», XXIX. Лингвистич. серия, 1958.

[12] «Докл. и сообщ. филол. института [ЛГУ]», I, 1949.

[13] М., 1957.

[14] См., например: F. Schön, Geschichte der deutschen Mundartdichtung, 1—3, Freiburg im Breisgau, 1920—1931; Krüger, Die plattdeutsche Literatur der Gegenwart, «Niedersachsenbuch», 1919 и мн. др.

[15] «Уч. зап. [Шахтинск. гос. пед. ин-та]», II, 5, 1958.

[16] Л. Н. Санжаров пользуется приемом подсчетов и таким путем достигает выразительных результатов; метод количественных показателей применен и в статье Т. Мревлишвили «Придаточные сказуемые в художественной речи Н. В. Гоголя», «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 71, Серия филол. наук, 1, 1958. Ср. аналогичные исследования придаточных определительных (там же, 47, 1952) и придаточных образа действия (там же, 55, 1954); ср. ее же итоговую работу: «Виды сложноподчиненного предложения в языке Н. В. Гоголя» (Тбилиси, 1960).

ции речи» (стр. 131). Но замечание это оставляет много неясностей и далеко не исчерпывает проблемы, к которой, по-видимому, вполне самостоятельно подошел Л. Н. Санжаров. Положение могло бы быть иным, если бы была привлечена научная литература из истории вопроса об экспрессии номинативных предложений, причем в этой связи были бы интересны и факты художественной прозы[17]. Критическое освоение опыта предшественников, знание материалов и выводов, содержащихся в работах некоторых зарубежных филологов, оказались бы плодотворными и в тех нередких случаях, когда приходится не принимать, а только отталкиваться от спорных, ошибочных или субъективных оценок и наблюдений, какие подчас содержатся в иностранной литературе по стилистике[18].

Недостаток библиографической осведомленности, прочных сведений из историографии изучаемого вопроса иногда приводит к тяжелым последствиям. Так, например, М. П. Мишин в статье «Несколько справок из истории лексики русского литературного языка (К вопросу о неологизмах Н. М. Карамзина)»[19] собрал соответствующие факты и сделал вывод, который показывает, что неологизмы, традиционно связываемые с именем Карамзина, встречаются в произведениях более ранних авторов, а поэтому Карамзину не следует приписывать инициативу образования некоторых «новых слов». М. П. Мишин не подозревал, что еще за два года до выхода в свет его статьи была опубликована в Вене книга Г. Хюттль-Ворт[20], где дан более широкий анализ тех же самых фактов и сделаны такие же заключения. Следовательно, материал этой статьи оказался только повторением того, что уже успело достаточно прочно войти в научный оборот.

Многих авторов привлекает изучение языка и стиля публицистики. В статье П. Я. Хавина «Из наблюдений над языком и стилем публицистики В. И. Ленина»[21] показано, как строго соблюдались литературно-языковые нормы в исследуемых произведениях. Если народники и экономисты в своих агитационных выступлениях нарочито подделывались под народную речь путем сгущения местнодиалектной и просторечной лексики, то для большевистской публицистики, которая руководствуется ленинскими традициями, характерно использование средств литературного языка. Статья В. В. Щеулина «Причинные сложноподчиненные предложения с союзами *ибо*, *затем что*, *потому что*, *как*, *так как* в публицистических произведениях В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова (Из истории развития сложноподчиненных предложений в русском литературном языке середины XIX столетия)»[22] ставит задачей определить роль языка публицистики в укреплении лексико-грамматических средств выражения причинных отношений.

В работах о языке публицистических произведений выявляются внутренние закономерности, присущие речевой манере того или иного автора, и черты, типические для произведений данной жанровой разновидности. Например, С. А. Савицкая в статье «Некоторые синтаксические особенности языка публицистики М. Горького»[23] говорит о том, что одной из характерных особенностей его публицистики является «нанизывание... причастных и деепричастных оборотов»; это, как полагает исследователь, находится «в полном соответствии с ораторски приподнятым тоном» горьковской публицистики (стр. 171). Автор уточняет понимание горьковских традиций: М. Горький «расширил тематику публицистики, углубил стилистическую емкость ее, внес в нее боевую страсть, придал ей образность художественных произведений, расширил границы публицистического языка, обогатил его афоризмами» (стр. 174)[24].

Наблюдения А. И. Дубяго над естественно-научной лексикой, используемой Н. Г. Чернышевским (см. его статью «Естественно-научная лексика в „Эстетических отношениях искусства к действительности“ Н. Г. Чернышевского»)[25], показывают ее функции и помогают выявить значение Чернышевского в развитии языка публицистики, а более широко — установить роль произведений демократической публицистики в обогащении смысловой системы и выразительных средств языка. Общественно-политическая лексика произведений отечественной публицистики и

---

[17] Ср., например: G. Loesch, Die impressionistische Syntax der Goncourt, 1919, где рассматриваются номинативные предложения как выразительные средства, типические для стиля писателя.

[18] См. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, Göttingen, 1957; E. Richter, Impressionismus, Expressionismus und Grammatik, ZfromPh, 47, 1927; см. также и стилистические исследования Л. Шпитцера, в частности, о синтаксисе французских символистов. Оценка этих работ дана в критической статье Г. Рольфса (G. Rohlfs) (ZfromPh, 52, 1932, стр. 122—124).

[19] «Уч. зап. [Пермск. гос. пед. ин-та]», 17. Кафедры русск. и иностр. языков, 1958.

[20] G. Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII Jahrhundert, Wien, 1956.

[21] Сб. «Вопросы печати» («Уч. зап. [ЛГУ]». 257, Серия филол. наук, 47), 1959.

[22] «Уч. зап. [Шахтинск. гос. пед. ин-та]», II, 5, 1958.

[23] «Праці Одеськ. держ. ун-ту», 148. Серія філол. наук, 8, 1958.

[24] Здесь же упомянем статьи: Ф. В. Поцов, Несогласованные определения в языке памфлетов А. М. Горького (1906—1907 гг.), «Уч. зап. [Сарат. гос. пед. ин-та]», XXX, 1958; его же, Наречия — обстоятельства в языке памфлетов А. М. Горького (1906—1907 гг.), «Уч. зап. [Магнитогорск. гос. пед. ин-та]», VII, 1958.

[25] «Уч. зап. [Калинингр. гос. пед. ин-та]», IV, 1958.

научной прозы занимает многих языковедов. Ю. Д. Соболева изучает этот слой лексики в сатирических журналах Н. И. Новикова [26]; А. М. Вирковская проводит свои наблюдения по работе В. И. Ленина «Что делать?» [27], Е. А. Быстрова — по статьям В. Г. Белинского [28].

О «профессионально-технической лексике послевоенных советских романов на индустриальную тему» пишет И. С. Михалко [29]. Автором не были учтены материалы и выводы диссертации Ф. П. Сороколетова «Производственно-техническая лексика в прозе после Великой Отечественной войны» [30]. Бесспорно, литературные произведения бывают проводником терминологической лексики в общенародный речевой обиход. Но нельзя вместе с И. С. Михалко преувеличивать в этом процессе «прикладное» значение художественной литературы и считать литературные произведения своего рода пособиями, «обобщающими передовой опыт производства», чтобы «в образной форме передать его миллионам читателей» (стр. 136; см. также стр. 121).

Н. П. Раздорова в статье «Специальная лексика в произведениях К. Г. Паустовского „Повесть о лесах“ и „Рождение моря“» [31] освещает вопросы об отборе профессионально-технической лексики, о приемах ее использования и средствах раскрытия значений специальных терминов. О терминах горного дела в произведениях Мамина-Сибиряка пишет Ю. И. Чайкина [32]. Попытки выявить специфические закономерности отбора словесных средств писателем не всегда бывают плодотворными. Так, в исследовании «лексики публицистических стилей 40-х годов XIX в. в языке романа А. И. Герцена „Кто виноват?“» [33] Н. П. Рудneва уверяет, что «определяющей, наиболее характерной особенностью словарно-фразеологического состава романа является... подчинение... основной идейной задаче писателя...» (стр. 250). Но ведь «особенностью» признана черта, которая может характеризовать речевую деятельность любого писателя.

Среди работ, в которых освещение частных вопросов стилистики речи литературных произведений ведет к более широкому кругу теоретических проблем, выделяется статья Р. П. Шагиняна и Э. П. Магазаника об «экспрессии собственных имен в русской художественной литературе» [34]. Авторы строят свое исследование на большом фактическом материале, тщательно подобранном, классифицируют его и делают ряд выводов.

Использование отдельных частей речи с их лексико-грамматическими категориями в произведениях литературы прослеживает А. К. Смольская в статье «К вопросу о синонимике существительных с суффиксами оценки (по материалам произведений А. М. Горького)» [35]. «Стилистические функции форм субъективной оценки имен прилагательных в прозе А. М. Горького (на материале повестей окуровского цикла)» определены в статье Б. А. Оррраса [36]. К М. Горькому автор этой работы обращается потому, что считает его строгим стилистом, факты языка которого можно признать как бы иллюстрацией к нормам словоупотребления, описываемым языковедами.

Когда наблюдают те или иные явления языка писателей, то ставят целью проникнуть в тайну искусства слова или же стремятся показать высокие образцы, которыми можно руководствоваться в речевой практике. При этом иногда предполагают, что для достижения этих целей достаточно привести в известность, например, грамматические формы, которые писатель использовал. «Излюбленным приемом осложнения у Лермонтова является осложнение сложноподчиненного предложения деепричастной и причастной конструкциями» (стр. 215),— пишет С. А. Бах в статье «Один из способов структурного осложнения сложноподчиненного предложения в современном русском языке (на материале прозы Лермонтова)» [37]. Он замечает, что у Лермонтова сложные синтаксические по-

---

[26] «Уч. зап. [Башкирского гос. ун-та]», VI. Серия филол. наук, 5. Язык и литература, Уфа, 1958; см. также Ю. Д. Соболева, Из истории общественно-политической лексики XVIII века, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 173. Кафедра русского языка, 1958.

[27] «Уч. зап. [Полоцк. гос. пед. ин-та]», I, Минск, 1958 (см. еще там же, 2).

[28] «Уч. зап. [Туркм. гос. ун-та]», XIV, Ашхабад, 1958; ср. еще В. Н. Новицкая, Из общественно-политической лексики и фразеологии Н. А. Некрасова, «Уч. зап. кафедры русск. языка [Тюменск. гос. пед. ин-та]», I, 1960.

[29] «Наук. зап. [Кіровоградськ. пед. ин-та]», IV, Киев, 1958.

[30] См. Автореферат канд. диссерт., Л., 1952.

[31] «Уч. зап. [Латв. гос. ун-та]», XXV, III А, 1958.

[32] «Уч. зап. [Таганрогск. гос. пед. ин-та]», 5. Кафедра русск. и иностр. языков, 1958.

[33] «Уч. зап. [Коломенск. пед. ин-та]», III, Ист.-филол. фак-т, 1, М., 1958.

[34] «Труды Узб. гос. ун-та», Новая серия, 93. Кафедра русск. и зарубежн. лит-ры, Самарканд, 1958.

[35] «Праці Одеськ. держ. ун-ту», 148. Серія філол. наук, 8, 1958; см. еще: А. Д. Крейман, Стилистическая функция суффиксов субъективной оценки в басенном языке И. А. Крылова, «Уч. зап. [Шадринск. гос. пед. ин-та]», 3, 1959.

[36] «Уч. зап. [Сведловск. гос. пед. ин-та]», XVI. Русский язык и языкознание, 1958; см. еще статью: Л. М. Чистякова, К вопросу об использовании прилагательных при создании художественного образа (На материале романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»), «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 173. Кафедра русск. языка, 1958.

[37] «Уч. зап. [Сарат. гос. пед. ин-та]», 67. Вып. филологический, 1959.

строения «отличаются удивительной прозрачностью, легкостью». Нужно, однако, уточнить, возникает ли это впечатление лишь в результате использования определенной синтаксической формы. Ведь причастные и деепричастные обороты в прозе Лермонтова созданы по моделям, хорошо известным синтаксису русского литературного языка, а интересующие нас приемы осложненного синтаксического построения, что правильно отмечает С. А. Бах, могут вызвать впечатление тяжеловесности. Поэтому тот положительный эффект («прозрачность, легкость»), о котором пишет автор, достижим не только при помощи определенных структурных «формул» синтаксической организации словесного материала, но и путем подбора того, что является предметным, идейно-образным содержанием высказывания. Конечно, «организующая структура языка» предопределяет способы соединения элементов языка как носителей того или иного «содержания». Но «организующая структура языка» лишь в ограниченных пределах «заставляет» писателя «выбирать для описания те или иные детали», т. е. элементы «содержания» речи[38].

При изучении диалектизмов в литературном произведении прежде всего стремятся уяснить их функции, определить их способность быть необходимым средством обрисовки образа рассказчика, образов действующих лиц и показа данной социальной среды. Мысль исследователей направляется на то, чтобы установить принципы, которыми руководствуется писатель, отбирая диалектный материал для реализации определенных целей выражения и изображения. Нередко встречаются «оценки» диалектизмов по признаку отношения их к лексике литературного языка, которая или пополняется за их счет, или не допускает их в свой состав. Указывают и на источники диалектизмов в местных говорах или наречиях[39]. Ознакомимся со статьей Е. П. Артеменко «Принципы использования диалектной лексики в драме Л. Н. Толстого „Власть тьмы“ (На материале рукописных вариантов»[40]. Драма эта, как говорит исследователь, сыграла «важную роль в развитии литературного языка конца XIX в.» (стр 143). К сожалению, автор не подкрепляет свою мысль фактами, показывающими, какое именно воздействие на русский литературный язык оказал язык драмы «Власть тьмы». Определение диалектизмов как «элементов народнодиалектной речи в составе литературного языка» (стр. 144) нельзя признать четким, тем более что здесь же говорится о «выборе разнообразных нелитературных элементов». Е. П. Артеменко пишет: «...Толстой добивается такой органичности, сплавленности всех элементов, при которой отдельная единица, отдельное слово перестает ощущаться, вливаясь в общий языковой комплекс, в единый склад повествования (?) каждого отдельного героя...» (стр. 145). Но с этим утверждением не так просто согласуется характеристика «„экзотичности“ диалектизмов в тексте художественного произведения» (стр. 148), если только автор не приписывает экзотического характера языку всей драмы, «в общем контексте» которой диалектизмы обладают «предельной органичностью» (стр. 157).

Как полагают некоторые филологи, писатели всегда сознательно стремятся избегать диалектных слов, которые для широкой публики оказываются непонятными, причем стремление это, будто бы, может повлечь за собой даже перестройку структуры образов действующих лиц или вызвать изменение мотивов и замены одной ситуации другой. Но мы склонны думать, что при такой трактовке принципов отбора словесных средств создается несколько упрощенное представление о творческом процессе. Словесные средства подбираются писателем для воплощения идейных, образных экспрессивных целей высказывания, но содержание отнюдь не подыскивается по признаку общей понятности слов, при помощи которых оно может быть воплощено. Само собой разумеется, что одни и те же местнодиалектные слова и этнографические названия могут быть в произведениях писателей,

---

[38] Ср. Г. Глисон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 33.

[39] Ср. В. И. Кузнецов, К характеристике областной лексики в языке Г. Р. Державина, «Уч. зап. [Черновицк. гос. ун-та]», 39. Серия филол. наук, 10, 1960.

[40] См.: «Славянский сборник [Воронежск. гос. ун-та]», II. Вып. филологический, 1958. Анализ работы писателей над языком и стилем рукописных вариантов произведений или над различными редакциями печатных текстов позволяет проникнуть в творческую лабораторию художника слова и выявить характер изменений, какие он счел нужным сделать для наиболее полного воплощения своего замысла. Архивные материалы использованы Г. А. Мамаевым в статье «Из наблюдений над языком и стилем повести А. Н. Толстого „Иван Грозный“» («Уч. зап. [Астраханск. гос. пед. ин-та]», VIII, 1959); разные печатные редакции рассказов М. Горького «Дед Архип и Ленька», «Старуха Изергиль», «Супруги Орловы» рассмотрены в статье С. А. Бурнашевой «Работа А. М. Горького над языком своих ранних произведений» («Труды кафедры русск. языка [Орехово-Зуевск. пед. ин-та]», М., 1960) и многие другие. На материалах архива А. М. Горького построены наблюдения Л. А. Вороновой «О работе А. М. Горького над языком рассказов 1892—1896 гг.» («Уч. зап. [Туркм. гос. ун-та]», XIV, 1958); см. также: Т. И. Пабауская, Работа А. П. Чехова над языком (Три варианта рассказа «В море»), «Уч. зап. [Латв. гос. ун-та]», XXX, 1959; Л. А. Лавровская, Из наблюдений над предложениями с однородными сказуемыми-глаголами в произведениях М. Горького, «Уч. зап. [Сарат. гос. ун-та]», 67, 1959.

индивидуальные стили и творческие методы которых различны. Если у П. И. Мельникова-Печерского мы находим слово *загодя* в речи действующего лица и сочетание *шляпа гречушником*, а у Тургенева *загодя* приведено в речи рассказчика и употреблено слово *гречневик*, то эти факты не дают никакого права говорить о «совпадениях в художественной практике» упомянутых писателей, вопреки мнению Д. А. Маркова, выраженному в его «Заметках о диалектизмах в романе П. И. Мельникова-Печерского „В лесах“ (Материалы для областного словаря)»[41]. Подобное применение сравнительного метода нельзя признать продуктивным или имеющим какой-то познавательный смысл. Ведь аналогии, устанавливаемые таким путем, являются внешними и чисто формальными.

Неразличение слов областных и просторечных только в отдельных случаях объясняется некритическим использованием сведений, содержащихся в некоторых словарях. Обычно же такого рода неточности бывают у авторов, которые не пользуются лексикографическими пособиями. С. А. Колтаков, например (см. его статью «Диалектизмы в речи персонажей романа М. А. Шолохова „Тихий Дон“»[42]) относит к лексике донецких говоров такие просторечные слова, как *нешто*, *остатний*, *негоже*, *добрый* (в значении «очень хороший») (стр. 176—177) и некоторые другие. Глагол *хоптить* в значении, подсказываемом контекстом («Выехал как-то к ветрякам, гляжу — заяц коптит прямо на меня»), С. А. Колтаков причисляет к диалектным глаголам, появившимся «в результате переносного употребления общеупотребительных слов» (стр. 176). Автор намечает и грамматические связи элементов языка романа Шолохова с южнорусской диалектной средой. Правда, выявление генезиса тех или иных слов, грамматических форм — это совсем особый аспект изучения языка, неприемлемый в работах о языке и стиле писателя. Если рассматриваются слова по их происхождению (например, из областных говоров, из церковнославянского источника или заимствованные из греческого, латинского, немецкого или какого-нибудь другого языка), то этот материал «сам по себе», и вне связи с функциональным применением не способен служить стилистическому изучению языка литературных произведений[43]. Но стилиста может интересовать установление местнодиалектной «натуры», отдельные черты которой воспроизведены писателем. Однако следует различать диалектизмы по их связи с определенными местными говорами и диалектизмы как стилистически значимый элемент художественной речи. Думается, что такие морфологические черты южнорусских говоров, как встречающееся в «Тихом Доне» М. А. Шолохова инфинитивное образование на *-ть* (типа *произвесть*, *грести*, *плесть*), которому соответствует в литературном языке ударное *-ти* (стр. 182), вряд ли можно считать диалектизмами при стилистическом подходе к языку литературного произведения.

Встречаются и неточности географической паспортизации местнодиалектной лексики, когда область распространения диалектизма устанавливается не на исчерпывающем подборе источников. Например, А. И. Чижик-Полейко в статье «Диалектная лексика сказов П. П. Бажова „Малахитовая шкатулка“»[44] говорит о том, что территория бытования слова *присударь* была ограничена районами Полевского и Сысертского заводов быв. Екатеринбургского уезда Пермской губернии (стр. 161). Но в литературе есть сведения, не подтверждающие эту территориальную паспортизацию[45]. «Чрезвычайно ограниченным» признает автор и распространение слова *учь* в значении «наставление», «наказание» и закрепляет его за районами тех же заводов, хотя уральский словарь А. Луканина дает другие показания[46].

Чаще всего бывают погрешности при обобщениях, не имеющих под собой вполне надежной основы в виде обстоятельного знакомства с источниками. Так, Е. П. Дубровина, отобравшая для своих целей только определенные виды лексиконов (см. ее статью «Территориальные диалектизмы поэтических произведений Н. А. Некрасова в словарях литературного языка XIX—XX вв.»)[47], утверждает, что слово *сохатый* «не было зарегистрировано во времена Некрасова» (стр. 220), вопреки свидетельству «Опыта терминологического словаря» В. Бурнашева (II, СПб., 1844, стр. 232) и др. Вдумчивый анализ структуры фразеологизмов и их функций мы находим в статье Л. А. Шевченко «Роль фразеологизмов в создании комического в творчестве А. П. Чехова»[48]. На-

[41] «Труды кафедры русск. языка [Орехово-Зуевск. пед. ин-та]», 1960, стр. 137.

[42] «Наук. зап. [Кіровоградськ. пед. ін-та]», IV, 1958.

[43] Мы не касаемся вопроса о возможном пристрастии писателя к иноязычным словам, не безразличном для познания его стилистического облика.

[44] «Славянский сборник [Воронежск. гос. ун-та]», II, 1958.

[45] См. А. Зырянов, Крестьянское движение в Шадринском уезде Пермской губернии в 1843 г., «Древняя и Новая Россия», XV, 2, 1879.

[46] А. Луканин, Сборник простонародных слов, употребляемых в Пермском, Кунгурском, Осинском, Оханском, Соликамском и Чердынском уездах Пермской губернии (1856 г.), рукопись № 31/174 Архива Словарного отдела Ин-та русского языка АН СССР.

[47] «Уч. зап. [Арзамасск. гос. пед. ин-та]», 3, 1958.

[48] «Даследаванні па беларускай і рускай мовах [Беларус. дзярж. ун-т. Кафедры беларус. і руск. моваў]», Мінск, 1958; см. еще Ф. Краснов, Приемы создания комического средствами книжно-беллетристической фразеологии в прозе Н. С. Лескова, «Славянский сборник», I («Уч. зап. филол. фак-та Киргизск. гос. ун-та», V), Фрунзе, 1958.

прасно только автор сводит значение знаний работы классиков к «усвоению» советскими писателями приемов мастерства выдающихся художников слова. «Опыт Чехова как в реалистическом изображении жизни, так и в создании комического служит примером для выработки в творческой практике советских писателей языковых средств юмористического и сатирического изображения...»,— заявляет Л. А. Шевченко (стр. 95).

Языковое творчество в области фразеологии изучается В. Т. Шкляровым. Его интересуют «основные приемы использования фразеологических единиц в трилогии Ф. В. Гладкова»[49]. В. Т. Шкляров показывает, в чем проявляется творческая инициатива писателя, когда он изменяет готовые фразеологические модели и производит перегруппировки фразеологических связей слов, создавая новые контексты их употребления. Черты фразеологического новаторства писателя представлены в обусловленности целями конструирования образной системы произведения[50].

Фразеологией тех же произведений Ф. В. Гладкова занимается и Н. А. Кирсанова. К сожалению, деятельность авторов, исследующих один и тот же материал, не координируется, вследствие чего создается неизбежный параллелизм. Статьи Н. А. Кирсановой называются «Синонимика фразеологических единиц в трилогии Ф. В. Гладкова»[51], «Народно-разговорная фразеология трилогии Ф. Гладкова» и «Работа Ф. Гладкова над фразеологией общенародного языка»[52]. Устанавливая творческую инициативу писателя, который допускал расширение значений и переосмысление некоторых фразеологических единиц, Н. А. Кирсанова исходит из показании словаря Ушакова. Но поскольку этот лексикографический источник не всегда полно раскрывает значения, какие имеют фразеологизмы в общенародном языке, свидетельства словаря Ушакова не во всех случаях могут быть приняты на веру. Например, фразеологизм *поставить на ноги* по этому словарю означает: 1) «вылечить», 2) «вырастить, воспитать, довести до самостоятельности» (II, стр. 589). В примере же «А Бляхин всю полицию на ноги поставил» (стр. 93 последней статьи Кирсановой), как справедливо замечает Н. А. Кирсанова, этот фразеологизм имеет иное значение. Поскольку оно не отмечено в словаре Ушакова, Кирсанова утверждает, что Ф. В. Гладков расширил семантические границы данного фразеологизма. Однако *поставить на ноги* здесь означает «вызвать к действию, заставить делать что-либо, действовать в каком-либо направлении», и это значение фразеологизма известно общенародной речевой практике.

Не всегда убедительно ссылаются некоторые авторы на источники индивидуальных новообразований, входящих во фразеологический состав общенародного языка. Например, О. С. Нестеренко («Фразеология ранних произведений А. П. Чехова»)[53] уверяет, что выражение *Без водки хорошо, а с водкой еще лучше* является переработкой известного речения *Ум хорошо, а два еще лучше* (стр. 155). Автор признает высказывание *От закуски моей остались одни только ножи, вилки да две ложки. Остальные шесть ложек исчезли* реминисценцией фразеологизма *остались рожки да ножки* (там же). Поиски писателем языковых средств представлены как деятельность, направленная на то, чтобы «обогатить» общенародный язык, «внести нечто новое в приемы использования общеизвестного языкового материала» (стр. 136) и пр. Но работа Чехова над языком произведений направлялась прежде всего образно-эстетическими побуждениями, а не заботой об обогащении выразительных ресурсов языка общенародного.

Известны и другие попытки подменить подлинные идейно-художественные цели выражения и изображения какими-либо лингвистическими задачами, которые филолог произвольно приписывает художнику слова и которые не входят в идейно-образное содержание произведения. Едва ли, например, можно признать, что А. Н. Толстой в романе «Петр Первый» часто показывал, как увлечение иностранщиной уродует речь, потому что иноземные обороты чужды русскому языку (см. статью Л. А. Кищинской «Наблюдения над использованием просторечной и устаревшей лексики в романе А. Н. Толстого „Петр Первый“»)[54]. И, конечно, крайней формой той же тенденции следует признать, например, утверждение, что к важ-

[49] «Труды Иркутск. гос. ун-та», 26. Серия языкознания, I, 1958.

[50] См. еще: В. Ф. Рудов, Применение М. Горьким фразеологических выражений в произведениях различных жанров, «Уч. зап. [Таганрогск. гос. пед. ин-та]», 6, 1958; Р. К. Превратухина, Лексика и фразеология комедии В. Лукина «Задумчивой» (Из истории развития русского литературного языка во 2-й половине XVIII в.), «Уч. зап. [Шахтинск. гос. пед. ин-та]», II, 5, 1958; Ф. Краснов, Стилистические функции книжно-беллетристической фразеологии в художественных произведениях Н. С. Лескова, «Славянский сборник», I («Уч. зап. филол. фак-та Киргиаск. гос. ун-та», V), 1958; Л. И. Ройзензон, К изучению эпистолярного наследия А. П. Чехова (Фразеология чеховских писем), сб. «А. П. Чехов (проблемы творчества)», («Труды Узб. гос. ун-та». Новая серия, 100), Самарканд, 1960; В. И. Вдовичева, Некоторые приемы работы Н. С. Лескова над фразеологией (на материале повестей 70—90-х гг.), «Уч. зап. [Саратовск. гос. ун-та]», 67, 1959.

[51] «Уч. зап. [Саратовск. гос. ун-та]», 67, 1959.

[52] «Труды научн. библиотеки Саратовск. гос. ун-та», II, 1959.

[53] «Уч. зап. [Владимирск. гос. пед. ин-та]», 4, 1958.

[54] «Уч. зап. [Уральск. гос. ун-та]», 28. Кафедра русской лит-ры, Свердловск, 1959.

нейшим целям советского исторического романа относится художественный показ «единства основного словарного фонда и строя речи в прошлом с речью современной...»[55].

Авторы работ о языке и стиле писателя исходят из следующего положения, сформулированного акад. В. В. Виноградовым: «при стилистическом подходе язык в художественной литературе неотделим от идейного замысла писателя, от образной ткани произведения, от характеров действующих лиц и от той творческой личности повествователя, которая создается всей композицией художественного произведения»[56]. «Стилистический подход» к языку литературного произведения отличает огромное большинство рассмотренных нами работ. Как мы видели, исследователи выясняют мотивы отбора языкового материала, ставят его в зависимость от идейного замысла, от образно-эстетических задач, изучают специфику «языка» художественной литературы, которая «не может быть раскрыта во всей ее сложности только с помощью методов и приемов лингвистического изучения языковой системы или структуры»[57].

Методологические основы чаще всего излагаются авторами в общем виде[58] или же обнаруживаются в самом характере обработки материалов. Впрочем, теоретические принципы исследования не так-то просто обнаружить, если прием регистрации фактов занимает господствующее положение, а обобщающие высказывания не отличаются достаточной ясностью. Вообще в тех случаях, когда деятельность филолога не направляется четко осознанной задачей и вполне ясным пониманием проблем, которые побуждают заняться исследованием, то и выводы из работы не будут оправдывать труда, затраченного на извлечение языковых фактов из литературного текста.

Перед нами статья М. И. Литвинова «Язык крестьян в „Записках охотника“ И. С. Тургенева как средство их характеристики»[59]. Здесь рассмотрены разговорные, просторечные и диалектные элементы речи каждого персонажа. Автор называет свои наблюдения «анализом», который позволяет установить, что, например, «в целом язык Софрона носит просторечно-диалектный характер» (стр. 313); «язык главного контрщика Николая Еремеича в целом просторечно-диалектный» (стр. 315); «Язык Бирюка просторечно-диалектный» (стр. 322); «речь Ермолая типично просторечно-диалектная» (стр. 325). Такими же уныло однообразными определениями наделяется и речь других действующих лиц (см. стр. 326, 330, 332, 334). М. И. Литвинов обнаруживает, что персонажи в состоянии гнева употребляют «бранные слова и выражения», а «формы вежливости снимаются, тон интонации (!) еще более повышается» (стр. 315—330). Спрашивается, в чем же состоит мастерство писателя? Очевидно, в том, что он показывает выражение гнева средствами бранной лексики, а не при помощи слов, обозначающих ласковое отношение к собеседнику? Стоит ли вообще заниматься изучением языка и стиля писателя, чтобы после обзора многочисленных иллюстраций установить, что в речах действующих лиц из народной крестьянской среды встречаются народные (просторечные, местнодиалектные) элементы, а не, например, научно-терминологическая лексика?

Такого же рода «проблема» обсуждается и в статье М. А. Генкель «Приемы индивидуализации речи Савки, героя рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка „На Шихане“»[60]. Автор говорит еще о «сопоставлении словесных приемов языка писателя с составом речи (!) общенационального языка...» (стр. 1). «Разговорная речь и элементы бытового просторечия привлекаются автором в тех местах романа, где повествуется о простых людях, выходцах из народа...» (стр. 29),— пишет В. Яценко в статье «Из наблюдений над языком и стилем романа Л. Леонова „Русский лес“»[61]. В. Яценко считает, что есть «типичные для русского языка слова» (стр. 18). Сравнительный союз *как* в контексте «прямая, как луч» (стр. 23) он называет «модальной частицей» и др.

Весьма сомнительная возможность назвать в статье Д. Горелик «Разговорно-просторечная лексика и фразеология в романе Д. А. Фурманова „Чапаев“»[62] «лингвистическим комментированием» грамматический разбор, вроде определения пренебрежительного суффикса *-ишка* в *шинелишка* как уменьшительного (стр. 384)[63], или характеристику формы глагола *брось*! как повелительного наклонения (там же). Содействуют ли пониманию литературного

[55] Р. Мессер, Советская историческая проза, Л., 1955, стр. 27.

[56] В. В. Виноградов, Насущные задачи советского литературоведения, «Знамя», 1951, 7, стр. 148.

[57] В. В. Виноградов. О языке художественной литературы, стр. 115.

[58] Ср.: Ф. А. Аронова. Некоторые вопросы изучения языка художественных произведений (на материале слов-предложений в драмах А. М. Горького), «Науч. зап. [Харьковск. гос. пед. ин-та]», XXIX. Лингвистич. серия, 1958; Э. Н. Аламдарова, О некоторых приемах речевых характеристик в пьесе К. А. Тренева «Любовь Яровая», «Уч. зап. [Полоцк. гос. пед. ин-та]», I, 1958 и др.

[59] «Уч. зап. [Шуйск. гос. пед. ин-та]», VII, 1958.

[60] «Уч. зап. [Пермск. гос. пед. ин-та]», 17, 1958.

[61] «Уч. зап. Казахск. гос. ун-та», XXXIII, 2. Язык и литература, Алма-Ата, 1958.

[62] «Уч. зап. [Оренбургск. гос. пед. ин-та]», Серия ист.-филол. наук, 13, 1958.

[63] Пренебрежительный суффикс *-ишка* в слове *планетишка* почему-то назван уменьшительным и М. А. Генкель (см. «Речевые средства комического в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка», «Уч. зап. Пермск. гос. ун-та», XVI, 1, 1960, стр. 86).

текста или раскрытию художественного мастерства писателя простые указания, что глаголы *ползти* и *гнездиться* в контекстах: «ползли деловые, серьезные разговоры», «в толпе гнездились пересуды»— употреблены не в прямом, а в переносном смысле? (стр. 382). Переносное значение Д. Горелик видит у глагола *зацепиться* в сочетании «зацепился за изгородь» (стр. 384) и др.

Перечень сомнительных, неточных ошибочных определений, допущенных в статье А. В. Касьянова «Лексика и фразеология комедии Н. В. Гоголя „Ревизор"»[64], также мог бы быть обширным. Но мы приведем лишь несколько иллюстраций. Например, одной из «особенностей» языка комедий Гоголя А. В. Касьянов признает употребление «нейтрального» слова *одолжить* («Вот одолжил ответом») в «переносном» значении «огорчить» (стр. 196). «Переносным» он считает значение глагола *очнуться* в «Не могу очнуться от страха» (стр. 196). Или Гоголю приписывается инициатива употребления «нейтральных» (!) слов *мошенник*, *рыло* (вульгарное, о лице человека) в качестве «грубых и бранных» (стр. 197). Использование слов *бестия* и *каналья* как бранных А.В. Касьянова считает «чисто гоголевским приемом» (стр. 200) и пр.

[64] «Уч. зап. [Армавирск. гос. пед. ин-та]», III. Кафедра русск. языка и лит-ры, I, 1958.

*

Даже неполное ознакомление с печатной продукцией показывает, как разнообразна тематика работ о языке и стиле литературных произведений и как велик контингент языковедов, занятых исследованиями в этой области. Вокруг «Ученых записок» и «Трудов» целого ряда периферийных высших учебных заведений сформировались крепкие авторские коллективы. Многие статьи содержат в себе ценный фактический материал, интересные наблюдения и теоретические выводы. Но вместе с тем нельзя не заметить, что в печать проникают и работы незрелые, не способные внести какой-либо вклад в науку. Ответственность за это лежит не только и, может быть, не столько на молодых авторах, которые спешат поделиться результатами своих научных наблюдений, сколько на коллективах кафедр. Кафедры русского языка и редакционные коллегии «Ученых записок» или «Трудов» некоторых педагогических институтов и университетов должны значительно повысить требования к качеству публикуемых работ о языке и стиле литературных произведений.

Р. Р. Гельгардт

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

РЕЦЕНЗИИ

Сб. «Evidence for laryngeals. Work papers of a Conference in Indo-European linguistics on May 7 and 8, 1959», ed. by W. Winter.— Austin, 1960 (Department of Germanic languages, The University of Texas). 238 стр. [ротапринт].

Более восьмидесяти лет прошло с тех пор, как Ф. де Соссюр, развивая идеи, имплицитно содержавшиеся в учении о «schwa primum indogermanicum», построил свою систему индоевропейского вокализма и тем самым заложил основания современной ларингальной теории. Возникнув как чисто структурное построение в рамках теории индоевропейского корня и опередившись позднее на довольно шаткие основы «ностратической» (индоевропейско-семитской) гипотезы (Г. Мёллер, А. Кюни), эта теория получила неожиданный импульс к развитию в интерпретации Е. Курилович ем и А. Кюни хеттских слов, содержащих *-ḫ-*, *-ḫḫ-* (1927 г.). С этого времени и до 40-х годов хеттский язык являлся главным объектом исследования «ларингалистов» (ср. работы Х. Хендриксена, Г. Педерсена, В. Куврёра, Э. Х. Стертеванта). Новая теория индоевропейского корня (Э. Бенвенист, Е. Курилович) лишь пассивно использовала данные, полученные ларингальной теорией, не давая нового материала этой последней.

Только в последние два десятилетия обнаружилось, что многие индоевропейские языки дают для реконструкции исчезнувших звуков, по традиции называемых ларингальными, материал зачастую более надежный, нежели хеттский. Появились исследования, посвященные интерпретации данных этих языков в свете ларингальной теории, причем не во всех случаях такая интерпретация была наиболее очевидной из возможных. Это обстоятельство еще раз убедило довольно многочисленных противников теории (упомянем хотя бы Ф. Шпехта, Дж. Бонфанте, А. Дебруннера, Г. Кронассера) в правильности их позиций и безупречности бругманновских реконструкций. Однако критика ларингальной теории все чаще ограничивается повторением старых тезисов (касающихся главным образом хеттского материала), в то время как сама теория развивается; показательно отсутствие после трудов Г. Хирта работ, основанных на антисоссюрианской концепции.

Ларингальная теория вступает в период относительной стабилизации. Верный признак этого — появление итоговых исследований, где критически рассматривается сделанное. Такие работы уже имеются для ряда индоевропейских диалектов: древнеиндийского, армянского, германского, хеттского [1]. Существуют обзорные труды более широкого масштаба, посвященные индоевропейскому в целом [2].

Итоговый характер имеет и рассматриваемый здесь сборник докладов, прочитанных на Техасской конференции лингвистов. Это документ американских «младоларингалистов», если так можно назвать группу исследователей, выступивших главным образом в 50-е годы и подвергших основательному пересмотру ряд положений «классической» школы американской «ларингалистики» (Э. Сэпир — Э. Х. Стертевант). Сборник интересен и как сводка сделанного по отдельным индоевропейским языкам, и как источник ряда новых идей, имеющих несомненное значение для дальнейшего развития ларингальной теории. Он состоит из десяти докладов, рассматривающих рефлексы ларингальных во всех основных индоевропейских диалектах (исключение представляют анатолийские языки, примыкающие к хеттскому: хеттский иероглифический, лувийский, ликийский и др.), и двух сообщений общего характера: вступительного

[1] См.: F. B. J. Kuiper, Traces of laryngeals in Vedic Sanskrit, сб. «India antiqua. A volume of Oriental studies presented by his friends and pupils to J. Ph. Vogel...», Leyden, 1947, стр. 198—212; E. Polomé, Reflexes des laryngales en arménien, «Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave», X, Bruxelles, 1950, стр. 539—569; его же, Théorie laryngale et germanique, сб. «Mélanges de linguistique et de philologie. F. Mossé in memoriam», Paris, 1959, стр. 387—402; Т. В. Гамкрелидзе, Хеттский язык и ларингальная теория, «Труды Ин-та языкознания [АН Груз. ССР]», III. Серия восточных языков, Тбилиси, 1960, стр. 17—91; ср. еще (с учетом данных других анатолийских языков): Вяч. В. Иванов, Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник МГУ», Ист.-филол. серия, 1957, 2.

[2] См.: W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952; L. Zgusta, La théorie laryngale, «Archiv orientální», XIX, 3—4, 1951, стр. 428—472; E. Polomé, Zum heutigen Stand der Laryngaltheorie, «Revue belge de philologie et d'histoire», XXX, 1952, стр. 444—471, 1041—1052.

доклада Я. Пухвела, где дается остроумный и сжатый обзор развития ларингальной теории и высказывается ряд соображений о ее современных задачах, и доклада К. Уоткинса, посвященного реконструкции дифференциальных признаков ларингальных. Три доклада специального характера, прочитанные на конференции, не были включены в сборник.

Одно из основных положений, отличающих современных молодых американских исследователей от ученых школы Э. Сэпира — Э. Х. Стертеванта,— признание относительно позднего характера падения ларингальных, завершившегося уже в период самостоятельного развития отдельных индоевропейских диалектов. Это положение было обстоятельно обосновано У. Ф. Леманом в книге «Proto-Indo-European phonology». Из него молчаливо исходит большинство авторов докладов, исследующих именно диалектные (а не общеиндоевропейские) рефлексы ларингальных.

Я. П у х в е л в статье «Индоевропейские ларингальные в хеттском» (стр. 163—172) не пытается дать обзор предшествующих исследований, так как это потребовало бы рассмотрения большинства работ по ларингальной теории. Не вызывающим сомнения результатом более ранних работ Я. Пухвел считает различение в хеттском палатальных и велярных ларингальных и интерпретацию графического противопоставления *-ḫ-*: *-ḫḫ-* как противопоставления звонкого ларингального глухому. Категоричность последнего вывода едва ли оправдана, ведь аналогичные хеттские написания *-m-*: *-mm-*, *-r-*: *-rr-*, *-s-*: *-ss-* отнюдь не предполагают различения в хеттском звонких и глухих (или ненапряженных и напряженных) сонантов и спирантов.

Основную часть доклада Я. Пухвела представляет обоснование его гипотезы об отражении в хеттском восьми индоевропейских ларингальных (звонкий и глухой ряды, состоящие из палатального, палатализованного, велярного и лабиовелярного звуков) [3]. Такой результат служит хорошей иллюстрацией к кажущемуся на первый взгляд парадоксальным положению о невозможности делать далеко идущие выводы о количестве ларингальных на хеттском материале. Хотя хеттский — единственный язык, где ларингальные представлены специфической фонемой, он отражает уже начавшееся падение ларингальных, условия которого остаются неясными: это допускает различную интерпретацию материала. Достаточно сказать, что в своем недавнем исследовании (упомянутом выше) Т. В. Гамкрелидзе пришел к выводам, резко отличным от выводов Я. Пухвела и приближающимся скорее к результатам Х. Хендриксена: хеттская графика указывает на существование одного звука *ḫ*, в котором совпали несколько (вероятно, 3) индоевропейские фонемы. Такой вывод кажется более реалистичным. Именно потому, что хеттская графика (и фонетические процессы, прошедшие в языке) скрывает от нас первоначальную систему «протоанатолийского» вокализма, материал этого языка, вероятно, никогда не сможет дать решающих аргументов в пользу той или иной версии ларингальной теории, хотя именно этот материал подтверждает реальность ларингальной теории в целом. Более того, построение новых гипотез на хеттском материале и их приложение к другим индоевропейским языкам (по образцу работ Э. Х. Стертеванта) способно лишь сильно затормозить развитие теории. Целесообразней, вероятно, было бы использовать выводы, полученные на материале других индоевропейских языков, для истолкования хеттских данных; это помогло бы выяснить позиции утраты или сохранения ларингальных в хеттском.

Интересен трезвый анализ армянских данных, сделанный В. У и н т е р о м в докладе «Индоевропейские ларингальные в армянском» (стр. 27—40). Опираясь на немногочисленные положительные результаты предыдущих работ, В. Уинтер смог с достаточной степенью вероятности показать, что один из ларингальных (или все ларингальные в определенных позициях) отражается в армянском как *h-* в начале слова (арм. *haw*: лат. *avis* «птица»), как *-kʿ-* или *-w-* в определенных позициях в середине слова (арм. *mukn*<**mukʿn* «мышь», греч. μῦς; арм. *canawtʿ* «известный», греч. γνωτός). Такие же рефлексы дает в армянском и.- е. **k/kʷ*, так что можно предполагать совпадение одного из ларингальных (или всех в определенных позициях) с этой фонемой. Конечно, малое число примеров, объясняющееся немногочисленностью надежно этимологизируемых слов в армянском, делает все эти выводы только гипотетичными.

Албанский материал фактически впервые подробно анализируется Э. П. Х э м п о м (см. статью «Ларингальные в албанском», стр. 54—92). Автор защищает выдвинутое им ранее положение о том, что ларингальный тембра *-a-*, не отраженный в хеттском (*-ḫ-* в обозначении Лемана, [;] — у Стертеванта), давал в албанском *h-* в начале слова перед гласным (одно из лучших сопоставлений Э. П. Хэмпа — алб. *hut* «пустой»:греч. αὐτος «пустой, бесполезный»), в то время как остальные ларингальные выпали в той же позиции. Не решаясь судить о качестве этимологий Хэмпа, многие из которых построены на новых сближениях [4], укажем

[3] Подробнее те же идеи развиваются в кн.: J. P u h v e l, Laryngeals and the Indo-European verb, Berkley — Los Angeles, 1960, где, между прочим, дается наиболее полная библиография по ларингальной теории.

[4] В языках, подобных албанскому, где многообразие фонетических изменений позволяет предполагать несколько различных праформ почти для каждого слова, чрезвычайно большое, если не решающе , значение приобретает семантическая безупречность этимологии. Не все сопоставления Э. П. Хэмпа можно назвать удачными с этой точки зрения. Ср., например: алб. *hap* «открывать»: др.-инд. *ápa* «прочь» (прежняя этимология <и.- е. **skep-* «расщеплять»); алб. *holle* «тонкий»: арм. *atam* «размалывать» [прежняя этимология < <и.- е. **skel-* (ср. нем. *Schale*) «оболочка»].

только, что при определении качества ларингального автор опирается главным образом на показания хеттского, о ненадежности которых говорилось выше. Несомненное достоинство доклада Хэмпа заключается в привлечении значительного по объему нового материала, действительную ценность которого еще предстоит определить.

Индо-иранские языки явились первой индоевропейской языковой группой, материал которой был истолкован в духе ларингальной теории (объяснение глухих придыхательных из сочетаний простых глухих с ларингальными, данное Ф. де Соссюром). И позднее эти языки наряду с хеттским представляли основной объект исследования «ларингалистов». Г. Хенигсвальд останавливается лишь на некоторых приложениях ларингальной теории в этих языках, так что его доклад «Ларингальные в индо-иранском» (стр. 13—26) отнюдь не повторяет прекрасной обзорной статьи Ф. Кейпера (см. выше) или соответствующих разделов известной книги Т. Барроу «The Sanskrit language» (London, 1955).

Из положений Г. Хенигсвальда интересны новые соображения структурного порядка, подтверждающие соссюровское объяснение глухих придыхательных. Он показал, что *-th-*, как правило, представлено в исходе глагольных корней со структурой типа др.-инд. *śnath-* «пронзать» (примеров на другие глухие придыхательные нет), которые легко истолковываются как «основа II» (по терминологии Э. Бенвениста) в сочетании с «распространением» *-H-* (по Бенвенисту, только такое сочетание основы с «распространением» возможно в первичных глаголах), т. е. *śnath* $<$ *$\hat{k}$net-H*. Весьма проблематичными остаются предположения Хенигсвальда о том, что глухие придыхательные восходят к сочетаниям глухих именно со вторым ларингальным Стертеванта [;] (*h* Лемана), а случаи озвончения глухих (др.-инд. *pibati* «пьет») и аспирирования простых звонких (др.-инд. *ahám* «я»: греч. ἐγώ) объясняются влиянием четвертого ларингального Стертеванта [x]. Тембр ларингального в индо-иранском установить нельзя; приходится опираться на ненадежные хеттские данные.

Один из труднейших вопросов исторической фонетики индо-иранского — вопрос о рефлексации ларингальных между неслогообразующими (в традиционной терминологии: судьба schwa primum) — Г. Хенигсвальд пытается решить, принимая различное положение назвука $_e$ (schwa secundum) в соседстве с ларингальным, регулируемое законом Э. Зиверса, и развитие *$_eH$*$>$индо-иран. *i*, *H_e*$>$нуль звука (*dhitá-* $<$ **dh$_e$Hto-*, но *deva-tta* $<$ **dhH$_e$to-*). То же объяснение он выдвигает и для дублетов с долгим и кратким слоговым сонантом (др.-инд. *bhūtá-* $<$ **bhw$_e$ Hto-*, но греч. φῡτόν$>$**bh$_e$wH$_e$to-*). Ограниченность места не дает возможности автору доклада полемизировать с отличными во многом взглядами Кейпера и Куриловича. В распределении вариантов с *-i-*(*<ə*) и без *-i-*, затемненном в древнеиндийском процессами выравнивания, могли сыграть роль и такие факторы, как качество окружающих согласных, место словоударения. Нельзя исключать возможности того, что место назвука $_e$ определялось первоначально ступенью редукции той основы (I или II по Бенвенисту), которая была представлена в данном слове.

Из других возможных областей применения ларингальной теории Хенигсвальд указывает еще на так называемые отклонения от закона Бругмана (3-е лицо ед. числа перфекта *cákāra* $<$ **kekore*, но 1-е лицо ед. числа *cákara* $<$ **kekorHe*). Он довольно скептически относится к «ларингалистским» истолкованиям как долготы в аугментах и удвоениях, так и метрического удлинения в ведах.

Обширное исследование греческого материала предпринято в докладе У. Каугилла «Ларингальные в греческом» (стр. 93—162). Здесь не излагаются гипотезы автора, как в большинстве других докладов сборника, а дается подробный критический обзор достижений ларингальной теории в объяснении греческих фактов. У. Каугилл приходит к выводу, что лишь немногие «ларингалистские» объяснения могут быть предпочтены традиционным; это прежде всего объяснение трех тембров долгого неаппофонического гласного и истолкование некоторых случаев протезы. Напротив, отвергаются как неудовлетворительные объяснение начальных долгих сонантов из сочетаний ларингальных с сонантами (в том числе *ζ* $<$ **Hi̯-*), гипотеза Стертеванта о возникновении некоторых греческих глухих придыхательных из сочетаний простых глухих с ларингальными, гипотеза Пухвела о суффиксе дезидератива *-Hs-*, идеи Сэпира и Мартине о вторичном происхождении некоторых суффиксальных *-k-* (*-k-* $<$ *-HH-* или *-ks-* $<$ *-Hs-*), новая интерпретация корней с «долгими дифтонгами» (А. Мартине, У. Дайвер), многочисленные предположения Х. Розена. По мнению У. Каугилла, греческий материал не дает решающего подтверждения и сделанной А. Мартине на основе италийских данных гипотезе о процессе **-eH^{w}e-*$>$**-āwe*.

В ряде случаев скептицизм У. Каугилла нельзя не признать оправданным. Многим современным исследователям-«ларингалистам» могут быть с бо́льшим или меньшим основанием переадресованы слова, направленные Каугиллом против Х. Розена: «Вместо того чтобы помогать более глубокому пониманию истории и предыстории индоевропейских языков, ларингальные в руках Розена стали вездесущими духами, готовыми материализоваться где угодно и в любом облике, объясняющими любое образование из индоевропейской праформы: при этом Розен нисколько не заботится о разработке действительной истории данного образования и избавляет себя от затруднений, связанных с признанием того факта, что источник его неизвестен» (стр. 151) [5].

[5] Автор данной рецензии должен с сожалением признать, что подобный упрек во

Отчасти справедлива и критика теорий Мартине, содержащих принципиально важные положения о возможности объяснения ряда неясных индоевропейских суффиксов (*-k-*, *-w-*) из первоначальных корневых элементов (*-H-*), ставших суффиксальными формантами в результате переразложения. Эти теории не всегда опираются на бесспорные факты; ср., например, слав. **novakъ*, объясняемое Мартине как **neu̯eH-s*, но являющееся, по всей вероятности, попросту одним из представителей продуктивного славянского типа на *akъ*.

Проявлением излишнего критицизма нам кажется отрицательное отношение Каугилла к гипотезе о происхождении некоторых начальных долгих сонантов в греческом (т. е. таких сонантов, которые требуют удлинения предшествующего гласного в языке Гомера). По мнению Каугилла, если начальный ларингальный перед сонантом отражается в греческом как протетический гласный, то он не может удлинять соседний сонант в той же позиции (**Hme-*>**αμε-*, но не **μ̄ε-*). Отрицание существования редуцированной ступени огласовки наряду с нулевой ступенью, обосновывающее такой подход, не устраняет принципиальной возможности различной рефлексации ступени редукции «основы I» (**kert*>**kₑrt* и соответственно **Hert* >**Hₑrt*) и «основы II» (**kret*>**krₑt* и **Hret*>**Hrₑt*). Трудно согласиться с Каугиллом также и в том, что во всех тех случаях, когда в греческом представлены родственные слова с протезой и без нее [6], нельзя говорить о корнях с начальным ларингальным. Помимо возможности объяснения, упомянутой выше, следует считаться также с существованием форм с «s mobile» от корней, начинающихся с ларингального. Так, гомеровск. **Ϝέρξαν* может восходить к **s-Hu̯erg-*, а гомеровск. **εϜέργω* — отражать тот же корень без «s mobile» (**Hu̯erg-*).

Принятие начального ларингального в корнях с начальным *e* во всех индоевропейских языках, энергично оспариваемое У. Каугиллом, диктуется не наличием каких-либо конкретных рефлексов исчезнувшего звука в отдельных языковых группах, но соображениями чисто структурного характера: параллелизм чередования двух «основ» в корнях *ert/ret* и *kert/kret* требует реконструкции первого корня как *Hert/Hret*, причем *H* может рассматриваться как нулевая фонема еще в общеиндоевропейском; отсутствие корней типа *ert-* делает маловероятными корни *er-*, *et-*.

В докладе «Ларингальные в италийском» (стр. 187—197) К. У о т к и н с поддерживает гипотезу Мартине, не подкрепляя ее, однако, какими-либо новыми доказательствами. При объяснении *-u-* в латинских перфектах эта гипотеза(*-u̯-*<*-Hₓ-* перед гласными, первоначально только в корнях *seṭ*) справедливо предпочтена им мало правдоподобному объяснению Хэмпа (*-u̯-*, оскско-умбрское *-f-* из сочетания двух ларингальных при прибавлении окончания 1-го лица ед. числа перфекта *-He* к корням *seṭ*). Из новых идей, выдвинутых Уоткинсом, особенного внимания заслуживает объяснение парадигм презенса ряда латинских глаголов 3-го склонения (например, *linō*, *linis*, *vomō*, *vomis* и т. п.) как первоначально атематических парадигм глаголов с корнями *seṭ* с обобщением нулевого вокализма перед окончаниями: *vomō*<**u̯emH-ō*; *vomis*<**vomas*<**u̯emH-si* (ср.литов.*vémti*); *linō*, *linis*<**li-n-H-ō*, **li-n-H-si* с инфиксацией.

Специфических рефлексов ларингальных в кельтских языках найти не удается, как показывает доклад Э. П. Х э м п а «Ларингальные в кельтском» (стр. 199—221). Оставляя в стороне ряд интересных экскурсов в пракельтскую фонетику, не имеющих связи с рефлексацией ларингальных, отметим соображения Хэмпа, касающиеся возникновения слоговых сонантов в сочетаниях типа *tre-*: они могут появляться не только в результате развития слоговости по закону Зиверса, но и после упрощения сочетаний типа *trHe-*, где сонант закономерно становится слогообразующим между двумя неслогообразующими. Многие кельтские формы получают при этом удовлетворительное объяснение; так, ирландские формы названия крови им. падеж ед. числа *cru*, род. падеж ед. числа *cróe* могут восходить к **kruH*, *kruHos*, точно так же как слав. **kry*, *krъve* восходит к **kruH*, *kruHes*.

Германские рефлексы ларингальных, исследовавшиеся неоднократно, были систематически рассмотрены У. Ф. Леманом в его цитированной выше работе «Proto-Indo-European phonology». Поэтому в своем докладе «Ларингальные в германском» (стр. 222—231) Леман не столько рассматривает конкретные языковые данные (из изложения видно, что он по-прежнему видит рефлексацию ларингальных в явлениях типа «Verschärfung» и германском $\bar{e}_2$), сколько ставит ряд вопросов методологического характера. Он справедливо указывает, что в ряде случаев гипотезы, связанные с использованием ларингальной теории, конкурируют уже не с «бругмановскими теориями», но с современными структурно-фонологическими объяснениями, зачастую весьма удачными. Отметим в этой связи, что такой ученый, как Е. Курилович, все более склоняется к объяснениям подобного рода, заменяя ими свои более ранние «ларингалистские» объяснения.

У. Ф. Леман считает целесообразным оперировать не рефлексами ларингальных в отдельных индоевропейских диалектах, а самостоятельными фонемами, функцио-

---

многих отношениях может быть отнесен и к его статье «О некоторых рефлексах индоевропейских „ларингальных“ в праславянском» (ВЯ, 1959, 2); неправомерное восстановление ряда форм как первоначально идентичных структурно (что было вызвано односторонним увлечением внутренней реконструкцией) привело к ложным выводам.

[6] Иногда с начальным долгим сонантом (см. подробнее: Ф. О. Н і к і т і н а, Про прохождения деяких початкових голосних старогрецької мови, Київ, 1957).

нирующими наравне с другими единицами фонологической системы. При таком подходе, по мнению Лемана, анализ тех или иных рефлексов ларингальных дает более ясное понимание всей фонологической системы языка; так, германские явления типа «Verschärfung» (по Леману, *-ewwe-*<**euHe* и т. п.) аналогичны удвоению перед ˆ*-i-*, *-w-* (*-elle-*<**elje-* и т. п.) и предполагают распределение долгого согласного между двумя соседними слогами.

Некоторые проблемы балто-славянской исторической фонологии в свете ларингальной теории рассматривает К. У о т к и н с в докладе «Ларингальные в балто-славянских языках» (стр. 42—53). Совершенно правомерно он сосредоточивает свое внимание на вопросе о том, всегда ли акутовая интонация в литовском и праславянском свидетельствует об утрате ларингального в слоге. Уоткинс указывает на тот несомненный факт, что акут представлен в литовском и в слогах с долгим гласным апофонического происхождения (ступень удлинения). В этой связи едва ли правильно обходить молчанием интересную концепцию Дж. Бонфанте, согласно которой в последнем случае в литовском будет представлен только акут в подвижной акцентуационной парадигме («подвижный акут»), которому соответствует в праславянском циркумфлекс, а в латышском — прерывистая интонация [7]. Если эта концепция будет подтверждена достаточным количеством фактов, балто-славянские данные («неподвижный акут» в литовском, акут в праславянском, плавная интонация в латышском) смогут быть не только подтверждающим, но и решающим доводом в пользу первоначального присутствия ларингального в слоге.

Новое истолкование ряда тохарских фактов предложено В. Уинтером в докладе «Индоевропейские ларингальные в тохарском» (стр. 173—186). Он считает, что в соседстве с сонантом между неслогообразующими ларингальной сохраняется в тохарских языках как *-a-*, и, таким образом, данные этих языков могут помочь при определении точного места ларингального (так, например, тохарск. В *puwar* «огонь» указывает на то, что греч. πῦρ восходит к **puHr*, а не к* *pHur*). Это положение используется Уинтером для объяснения некоторых германских фактов. По его мнению, **euHe-*>герм, **-ewwe-*, но **-eHue-* герм. *-ekw-* [что в основном подтверждает формулировки Лемана (см. «Proto-Indo-European phonology», стр. 62)]. К сожалению, точка зрения Уинтера не может быть принята безоговорочно ввиду немногочисленности тохарских примеров. В еще большей степени это относится к предполагаемому Уинтером процессу *-HH-*>*-k-* (ст. тохар. А *lwākam*, локатив мн. числа *lwa* от *lu* «животное»).

Можно ли на основании часто несопоставимых рефлексов ларингальных в отдельных индоевропейских диалектах определить то место, которое исчезнувшие звуки занимали в индоевропейской фонологической системе? Этот вопрос стал в последнее время центральным в кругу проблем ларингальной теории. Неслучайно поэтому решению данного вопроса в значительной своей части посвящены два доклада общего характера: вступительный доклад Я. П у х в е л а «Современное состояние ларингальной теории» (стр. 1—12) и доклад К. У о т к и н с а «Анализ ларингальных по компонентам», заключающий сборник (стр. 232—238). Оба исследователя сходятся на том, что единственный путь к решению очерченной выше задачи — частичная реконструкция дифференциальных признаков исчезнувших фонем в результате анализа по компонентам, т. е. на основании характера их реально засвидетельствованных рефлексов. Здесь Я. Пухвел и К. Уоткинс следуют за А. Мартине и частично за У.Ф. Леманом. Мы бы назвали такое направление в ларингальной теории «фонологическим». Его сущность была удачно сформулирована Мартине «...наши.. символы ларингальных должны пониматься только как пучки дифференциальных признаков (a complex of simultaneous distinctive features), которые могут быть восстановлены в тех или иных образованиях на основании фактических данных» [8]. В американской лингвистике «фонологическое» направление пришло на смену фонетической школе Э. Стертеванта, без достаточных оснований дававшей количественное (4 ларингальных) и качественное определение утраченных звуков. В своем докладе Я. Пухвел подвергает резкой критике школу Э. Стертеванта. Более терпимы как Пухвел, так и Уоткинс к так называемым «алгебраистам», для которых и фонетическая, и фонологическая характеристика ларингальных не существенна, а имеет значение лишь то, что те или иные особенности структуры индоевропейского корня (например, система апофонических чередований) требуют восстановления определенных единиц структуры.

Рассматриваемый сборник ярко демонстрирует сильные и слабые стороны американской «ларингалистики». Методологические положения «фонологической школы» сами по себе не вызывают существенных возражений. В сущности они немногим отличаются от методов реконструкции, применяемых в соответствующих случаях традиционной индоевропеистикой. Однако правильность реконструкции может быть обеспечена лишь в том случае, если все ее исходные пункты не вызывают сомнения, а этого как раз нельзя сказать о многих предполагаемых рефлексах ларингальных в отдельных диалектах. Таким образом, остается несколько вполне очевидных рефлексов (долгота гласного, тембр гласного, индоиранские глухие придыхательные и т. п.). Эти рефлексы позволяют с достаточной степенью уверенности дать лишь общую характеристику утраченному ряду фонем (по соображениям структурного порядка вероятнее предполагать именно ряд фонем, ана-

[7] Ср. G. B o n f a n t e, L'accento lettone gästoßen (ˆ) e l'«acuto mobile» lituano, «Studi baltici», IV, 1934.

[8] См. A. M a r t i n e t, Non-apophonic *o*-vocalism in Indo-European, «Word», IX, 3, 1953, стр. 267.

логичный, например, ряду глухих взрывных и т. п.); в настоящее время большинство исследователей, в том числе большинство авторов сборника (за исключением, пожалуй, Э. П. Хэмпа и Г. Хенигсвальда, склонных принять определения Э. Стертеванта), рассматривают ларингальные как фрикативные звуки (спиранты).

Трудности начинаются с того момента, когда мы пытаемся определить взаимные отношения ларингальных; ведь перед нами рефлексы нескольких фонем, количество которых также остается неизвестным. Это обстоятельство позволяет в значительной степени произвольно комбинировать друг с другом отдельные рефлексы, а следовательно, и отдельные дифференциальные признаки реконструируемых фонем, в результате чего можно восстанавливать различные по количеству членов ряды ларингальных. Что это действительно так, подтверждает хотя бы различие систем, реконструированных Я. Пухвелом (8 фонем; ср. подробнее выше) и К. Уоткинсом (4 фонемы; отсутствуют пары палатальных и палатализованных ларингальных, восстанавливаемых Пухвелом). Оба автора забывают в данном случае о границах применения используемого ими метода.

Гораздо предпочтительнее в данном пункте позиция основоположника «анализа ларингальных по компонентам» А. Мартине, предупреждавшего недавно: «Предполагать определенное число ларингальных фонем... значит считать без достаточных оснований, что определенные дифференциальные признаки, которые рассматриваются как свойства утраченного ларингального, всегда находится в неразрывном сочетании» [9]. Впрочем, возможно, молодые американские исследователи оптимистически считают, что пришел предсказываемый Мартине «день, когда... из массы собранных фактов будут вычленены определенные комбинации особенно частых и неизменных дифференциальных признаков, которые позволят установить отдельные (ларингальные) фонемы» [10]. Едва ли, однако, этот желанный день сможет прийти, пока единственным оружием исследователя-ларингалиста является метод «анализа ларингальных по компонентам», по своему существу предполагающий произвольное (в лучшем случае вероятностное) комбинирование дифференциальных признаков.

По-видимому, для истолкования и корректировки данных, полученных «фонологическими» методами, необходимо привлечение методов «структурно-алгебраических». Примером такой корректировки может служить замечание У. Каугилла к докладу Я. Пухвела, где указывается, что существование палатализованных ларингальных едва ли вероятно, так как другие индоевропейские фонемы не различались по признаку палатализованности (имеются только палатальные). Подходя к вопросу с этой точки зрения, можно указать, что единственный сохранившийся индоевропейский спирант не противопоставлен по глухости — звонкости и что подобное состояние допустимо и для утраченных спирантов, т. е. ларингальных. Отметим кстати, что данные, свидетельствующие о наличии такого противопоставления у ларингальных, весьма ненадежны: это совершенно изолированное др.-инд. *pibati* и допускающее иную интерпретацию хеттское противопоставление *-ḫ-*: *-ḫḫ-*. С другой стороны, поскольку в индоевропейском, вероятно, существовало не троичное противопоставление $k^w : k : \hat{k}$, а двоичное $k^w : k$ или $k : \hat{k}$, аналогичную пару можно было бы предположить и для ряда спирантов, сократив, таким образом, число ларингальных до двух, что принципиально допускает и индоевропейская система апофонии. Пристального внимания заслуживает ряд специальных апофонических проблем: «проклятый вопрос» schwa secundum, чередование $\bar{e} : \bar{a}$, отмеченное еще Ф. де Соссюром, чередования в так называемых «долгих дифтонгах» и т. п. Дальнейший прогресс ларингальной теории, вероятно, неразрывен с новыми достижениями теории индоевропейского корня в широком смысле слова; изучение известных ограничений в структуре корня и сочетаемости в корне отдельных фонем могло бы дать особенно много в этом отношении.

В. М. Иллич-Свитыч

[9] A. Martinet, Phonologie et «laryngales», «Phonetica», I, 1959, стр. 29.
[10] Там же, стр. 19.

W. E. Bull. **Time, tense, and the verb.** A study in theoretical and applied linguistics, with particular attention to Spanish.— Berkeley and Los Angeles, University of California press, 1960. 120 стр. («University of California publications in linguistics», XIX).

Настоящая монография, над которой автор работал семнадцать лет, содержит описание системы времен испанского глагола, выполненное на фоне широкой лингвистической панорамы, охватывающей пятьдесят языков Европы, Азии и Африки. Однако У. Булл не ограничивается изложением фактов, он стремится выработать новую методологию анализа, которой дает название «системной лингвистики».

Монография У. Булла построена по следующему плану, обнаруживающему теоретические установки автора. У. Булл начинает свое исследование не с языкового выражения категории времени, а с рассмотрения явлений объективной действительности. Этот анализ служит основой для построения гипотетической системы времен, исчерпывающей все возможные комбинации между действиями на бесконечной линии времени. Затем определяется отношение к этой абстрактной схеме реально существующих временных систем разных языков. Лишь после этого автор приступает к описанию времен испанского языка. В заключительной главе У. Булл

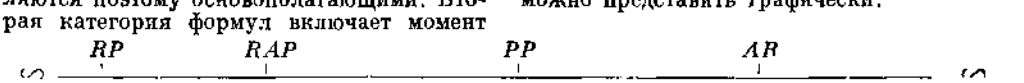
обобщает принципы системной лингвистики, противопоставляя их теоретическим положениям и исследовательским приемам структурного языкознания. Таков общий план работы У. Булла. Перейдем теперь к рассмотрению ее конкретного содержания.

В первой главе («Определения», стр. 1—19) автор формулирует ряд аксиом, касающихся философской и физической концепции времени как четвертого измерения объективной действительности, характеризуемого линейностью, неограниченной протяженностью и делимостью на бесконечное число сегментов. На линии времени устанавливаются оси ориентации. Основной осью (prime point), используемой во всех языках, является момент речи (point present, или PP). Рассмотрев отношение действий к оси ориентации, У. Булл выводит четыре категории формул: 1) векторные формулы, указывающие на направление, в котором ведется наблюдение за действием (event, или *E*) с точки зрения оси (*P*). Существует три векторных формулы: *E*(*P*0*V*) — формула нулевого вектора, указывающая на совпадение события с осью ориентации; формула отрицательного вектора *E*(*P* — *V*), обозначающая событие, предшествующее моменту речи; наконец, формула положительного вектора *E*(*P* + *V*), соответствующая событию, ожидаемому в момент речи; 2) скалярно-тензорные формулы. Скаляром (*x*) обозначается промежуток времени, разделяющий два неодновременных события. Скаляр не имеет направления и в этом смысле противостоит вектору. Он ограничивает вектор и может быть поэтому назван тензором, т. е. элементом, изменяющим или устанавливающим длину вектора. Имеются следующие скалярно-тензорные формулы: *E*(*P*0*V*), *E*(*P* — *Vx*), *E*(*P* + *Vx*); 3) календарно-тензорные формулы, по которым определяется промежуток времени, отделяющий событие от оси ориентации по календарным единицам. Если знаком *B* обозначить интервал календарного времени, а знаком *x* — число интервалов, то мы получим следующие формулы: *E*(*P*0*VB*), *E*(*P* — —*VBx*), *E*(*P* + *VBx*); 4) точечно-тензорные формулы, согласно которым расстояние между действием и осью ориентации измеряется от точки до точки при помощи единиц времени (*S*): *E*(*P*0*VS*), *E*(*P* — *VSx*), *E*(*P* + *VSx*).

Легко заметить, что приведенные четыре категории формул неравноценны. Первая устанавливает общее отношение события к оси ориентации. Векторные формулы являются поэтому основополагающими. Вторая категория формул включает момент времени, отделяющего действие от оси, а последние две категории устанавливают принцип измерения этого периода времени. В соответствии с перечисленными формулами взаимоотношений между действием и осью возможно существование двух систем времен (tense systems), одна из которых основывается только на понятии вектора, а другая опирается на тензорные формулы, выражающие как понятие последовательности (order), так и понятие времени (time). Языки обычно используют все четыре категории формул, но часть их выражается глагольными аффиксами, другая же часть (обычно скалярно-тензорные отношения) отражена лишь в лексических средствах языка. Ни в одном индоевропейском языке нет аффиксов, выражающих понятие времени (time). Поэтому оно не может быть в языках этой группы использовано для определения функций глагольных форм.

Действия обычно обладают определенной протяженностью. Поэтому, когда речь идет о взаимоотношении во времени, имеются в виду не события целиком, а их разные стадии или аспекты — начало, середина и конец. Таким образом, в грамматической системе времен принцип последовательности переплетается с понятием вида (aspect). По существу система времен в индоевропейских языках, и в частности в испанском, возникла из слияния двух систем — системы, основанной на принципе последовательности, или порядка, и системы, базирующейся на понятии вида.

Во второй главе («Гипотетическая система времен», стр. 20—33) У. Булл конструирует своего рода метасистему времен, в основу которой положены три понятия — последовательность, вид и ось ориентации. Эта система, или «конструкт», используется автором подобно таблице атомных весов в химии в качестве «frame of reference» при выяснении функций морфем. Для того чтобы создать конструкт системы времен, необходимо установить число осей ориентации, одна из которых определяется моментом речи, все же другие являются проекцией этой основной оси в прошлое или будущее. Оси образуют открытую систему и поэтому число их не ограничено. Однако практически количество осей, используемых в языках, не превышает четырех: *PP* (point present), *RP* (retrospective point) — проекция основной оси в прошлое, *AP* (anticipated point) — проекция основной оси в будущее, и *RAP* (retrospective anticipated point) — проекция *RP* в будущее. Расположение этих осей на бесконечной времени можно представить графически:



По отношению к каждой из четырех осей события могут занимать три позиции: предшествования, одновременности и следования. Поэтому гипотетическая система времен предполагает наличие в языке двенадцати глагольных форм, содержание которых может быть передано следующими формулами, составленными путем включения в приведенные выше векторные формулы показателей оси ориентации: *E*(*PP* — *V*), *E*(*AP* — *V*), *E*(*RP* — *V*), *E*(*RAP* — *V*), *E*(*PP*0*V*), *E*(*AP*0*V*), *E*(*RP*0*V*), *E*(*RAP*0*V*), *E*(*PP* + *V*), *E*(*AP* + *V*), *E*(*RP* + *V*), *E*(*RAP* + *V*). В этих формулах событие

(*E*) и три возможных векторных отношения являются константами, варьируется же только ось ориентации. Приведенная система составлена из двух структурно идентичных подсистем, одна из которых имеет в качестве основной оси *PP*, а другая — *RP*. Первая система складывается из основных времен («prime tenses»), вторая из так называемых «ретроспективных времен» (retrospective tenses), ориентированных на *RP*.

Гипотетическая система времен построена на основе максимального потенциала. Однако ни один из обследованных автором языков не имеет достаточного количества грамматических форм, чтобы покрыть весь этот потенциал. Во многих языках встречаются четыре формы, обозначающие отрицательный вектор (— *V*), т. е. предшествование относительно всех четырех осей ориентации, но нет языковых систем, располагающих особыми формами для обозначения одновременности и следования применительно ко всем четырем осям. Так, ни в одном из языков не было обнаружено грамматических категорий, соответствующих формулам $E(AP + V)$ и $E(RAP + V)$.

Обзор языков, принадлежащих к двенадцати не связанным между собой группам, убедил У. Булла в том, что разница между системами времен в разных языках заключается преимущественно в разной степени избыточности (redundancy), т. е. регулярности, с которой обозначаются оси ориентации. Эти различия между языками на структурном уровне вовсе не являются показателем существенных различий между ними в понятийном плане.

Системы времен в английском и испанском языках чрезвычайно избыточны. Лишь тринадцать из пятидесяти языков обладают столь же разветвленными системами. В этой избыточности и заключена их слабость, ведущая к тому, что большое количество временных форм имеет очень низкую частотность употребления. Так, семь глагольных форм испанского языка обладают частотностью, не превышающей 4%. Из этого не следует, однако, что испанцы перестали прибегать к понятиям, соответствующим данным формам. Это означает лишь, что они находят более простые способы для их выражения, прибегая к другим, преимущественно простым, глагольным формам. Все это приводит к смещению функций времен.

Третья и четвертая главы (стр. 34—108) посвящены описанию системы времен испанского языка. У. Булл стремится выработать свой метод определения значения временных форм. Структуралисты обращаются в этом случае к методу совместимости (compatibility). Например, форма прошедшего времени совместима с наречием *вчера* (*он пришел вчера*), но несовместима с наречием *завтра* (сочетание *он пришел завтра* невозможно). Недостаток этого метода заключается в том, что грамматическая система определяется путем апелляции к другой, лексической, системе значений, с которой она оказывается совместимой. Задача же исследователя заключается в том, чтобы определить индивидуальную роль каждой формы в рамках всей системы [1].

Итак, У. Булл считает неприемлемым метод определения языкового элемента по его дистрибуции. Эта критика представляется справедливой в той части, в которой она касается принципов определения языковых элементов. Однако, как мы увидим ниже, недооценка У. Буллом дистрибутивного метода приводит его к ошибкам в описании функций испанских временных форм.

Различение системных свойств формы и ее комбинаторного потенциала подсказывает автору мысль о необходимости разграничивать значение и функцию формы, т. е. ее системные качества и реальные функционирование. Последнее относится к сфере того, что У. Булл называет прикладной лингвистикой (applied linguistics). Задача прикладной лингвистики заключается в том, чтобы определить соотношение между системными свойствами формы и значением реальных синтаксических комбинаций. Последнее нередко возникает в результате взаимодействия разных понятийных систем. Так, например, поскольку глаголы, выражающие цикличное действие, лишены начинательного вида, постановка их в перфектном времени (*se ha levantado, se había levantado, se levantó* «он встал») автоматически указывает на завершение действия. Значение языкового символа не равноценно его функции в передаче сообщения. Все языковые знаки наделены способностью порождать дополнительную информацию при сочетании с другими символами, относящимися к другим системам. Число таких комбинаций теоретически бесконечно, но не произвольно. Всякая форма имеет стабильный комбинационный потенциал и порождает совершенно определенную информацию.

Значение формы определяется по тому месту, которое она занимает в ряду языковых символов, соответствующих одной понятийной системе. Этот признак противопоставляет данную форму другим членам системы. Напротив, функция речевого знака является у него общей с другими элементами серии. Так, все скаляры времени, т. е. слова, обозначающие промежутки времени, в испанском языке могут указывать либо на продолжительность действия (в сочетании с неперфективными или, по терминологии автора, нецикличными глаголами), либо на промежуток между двумя действиями (в сочетании с перфективными или цикличными глаголами).

Функционирование временных форм обнаруживает ряд сдвигов на временной шкале. В испанском языке существуют отступ-

[1] Чтобы сделать более понятным сформулированное положение, У. Булл проводит следующую параллель. Химик дает определение кислорода не путем выяснения всех окислов и анализа их свойств, а с точки зрения того места, которое занимает кислород в ряду других элементов. Именно этим местом, определяющим атомный вес кислорода, число изотопов и пр., и объясняется его комбинаторный потенциал.

ления от системного значения формы, вызванные свободным варьированием, стандартным смещением форм, их миграциями, десинхронизацией и стандартными заменами. Все испанские временны́е формы, за исключением ретро-перфекта (т. е. претерита, типа *hablé*), могут функционировать так, что основная формула, с которой они соотносятся в гипотетической системе, перестает выражать их значение.

В языке существует три типа употребления времен: 1) все формы используются в соответствии с их основным системным значением; 2) вся система времен может быть сведена к так называемым основным временам, т. е. немаркированным формам, ориентированным на основную ось (*PP*). Эти времена получают способность соотноситься с любой осью ориентации. Происходит их десинхронизация; наконец, 3) формы времен могут сочетаться с наречиями, несовместимыми с их векторным потенциалом. Существование этого последнего типа функционирования опровергает мысль У. Булла о том, что десинхронизация основных времен объясняется их немаркированностью. Все маркированные формы, полагает автор, должны выполнять ту функцию, которая выражена соответствующей морфемой, иначе рушится вся система. Немаркированные же формы имеют неограниченные потенциальные возможности. На самом деле сдвиги на временно́й шкале затрагивают почти все времена, независимо от того, содержат они положительные или нулевые показатели грамматической категории.

Итак, автор приходит к выводу, что времена испанского языка могут в своем функционировании отражать системные и несистемные значения. С этой точки зрения и осуществляется их анализ. Приведем в качестве образца отрывки из описания функций настоящего времени в книге У. Булла.

Системные функции настоящего времени выражают: 1. Единичное несовершенное действие в момент *PP*. При этом: а) действие могут наблюдать говорящий и слушающий. Например: *¿ Por qué lloras, Anita?* «Анита, почему ты плачешь?»; б) действие может наблюдать говорящий. Например: *Me preparo a oír horrores* «Я готовлюсь выслушать ужасные вещи»; в) наблюдение предшествует сообщению и ни говорящий, ни слушающий не могут наблюдать действие. Например: *Sé que él viene y que espera premio* «Я знаю, что он едет и ожидает награды». 2. Решимость совершить действие. Например: *Mamá, me caso* «Я выхожу замуж, мама»; *Vuelvo a recordarte mis recomendaciones* «Я вновь напоминаю тебе мои советы».

Несистемные функции настоящего времени выражают: 1. Действие, происходящее во времени, лишенном оси ориентации (axis-free continuum). При этом субъект абстрактен. Форма сохраняет лишь свое значение несовершенного вида. Например: *Lo malo cunde como el fuego* «Дурные вести распространяются подобно огню». 2. Действие, соотносящееся с осью, которая лишена фиксированного положения на бесконечной времени: а) ось определяется контекстом. Например: *Somolinos* (*Dictando. Aguilar copia en una pequeña máquina de viaje*) «Сомолинос (Диктуя. Агилар пишет на маленькой дорожной машинке)»; б) действие происходит в книге, поэме, рассказе и пр. Например: *En la primera estrofa, la oposición tú-yo se mantiene hasta el verso tercero* «В первой строфе противопоставление я-ты сохраняется до третьего стиха»; в) субъект высказывания — книга, поэма, автор, письмо, закон и пр. Например: *Hubbe defiende otra hipótesis* «Хуббе защищает другую гипотезу»; г) действие фигурирует в описании опытов, научных процессов и пр. Например: *Se coloca el documento sobre una tablita* «Документ помещается на дощечку»; д) действие является гипотетическим. Например: *Si su temperatura sube hasta los* 107 *grados, aunque sea por un breve tiempo puede considerarse cadáver* «Если температура у Вас поднимется до 107 градусов, хотя бы на короткое время, Вы можете считать себя мертвецом».

Мы привели некоторые системные и несистемные функции настоящего времени, чтобы нагляднее показать, к чему ведет применение метода У. Булла на практике. К числу достоинств этого метода можно отнести попытку автора отделить системное значение формы, основанное на оппозиции к другим элементам ряда, от его побочных значений. Однако конкретное деление функций на системные и несистемные, равно как и вся их классификация, не представляются убедительными. Справедливо возражая против техники структурного анализа, исключающего значение как критерий классификации, У. Булл построил свою монографию на выяснении непосредственного соотношения формы и обозначаемого ею явления действительности. Поэтому вместо классификации функций грамматических форм У. Булл предлагает классификацию и описание тех действий, которые могут обозначаться данной формой. Анализ произведен по сути дела на нелингвистическом уровне. Языковое значение формы подменяется автором какой-то абстрактной категорией, а функции сводятся к понятию о referent'e, т. е. к тому явлению действительности, которое обозначается данной формой. Поэтому в характеристику времен вкраплены многие признаки действия, нерелевантные с точки зрения значения или функции формы. Ср. ссылки У. Булла на то, что действие может созерцать либо говорящий субъект, либо оба (говорящий и слушающий); либо, если говорящий и слушающий лишены возможности наблюдать действие, они знают «понаслышке», что оно происходит в момент речи. Очевидно, что если особенности действия не вносят никаких дифференциальных признаков в употребление времени, нет оснований использовать их как критерий классификации функций. Не будем перечислять другие нерелевантные признаки, включенные автором в описание времен,— они самоочевидны.

Отсутствие лингвистической строгости в анализе материала не является случайным, а закономерно вытекает из теоретических установок У. Булла, согласно которым за отправную точку исследования языка принимаются предметы и явления объективной действительности.

Другим немаловажным недостатком методики описания является отказ автора от анализа синтаксических условий употребления форм, т. е. в какой-то степени от учета их дистрибуции. Очевидно, например, что использование настоящего времени изъявительного наклонения для обозначения будущего действия в условных предложениях после союза *si* ограничено лишь данным синтаксическим окружением. Такое употребление является связанным и не может быть приравнено к функционированию этого времени для обозначения будущего действия в независимом предложении. Это невозможно сделать еще и потому, что в первом случае для говорящего нет выбора формы, во втором же имеет место свободное варьирование, т. е. чередование с будущим временем. Все это наводит на мысль о том, что в языке (во всяком случае в испанском) нет единой системы времен, независимой от синтаксических построений. В некоторых видах предложений могут употребляться лишь определенные временные формы. Количество элементов, образующих систему, тем самым сокращается; изменяются и дифференциальные признаки, противополагающие формы друг другу.

В разных синтаксических условиях действуют разные типы оппозиций. Вполне естественно поэтому, что и системное значение формы меняется в зависимости от того, в какой ряд оппозиций она входит. Отсюда вытекает, что ни одна временна́я форма не обладает единым для всех употреблений, независимым от синтаксических условий функционирования системным значением. Очевидно также, что это системное значение (если бы оно даже было) никак не могло бы быть выведено из гипотетической системы без учета реального количества форм, имеющихся в арсенале языка. Так, значение будущего не может быть приравнено к формуле $E(PP + V)$, если в языке нет специальных времен, соответствующих формулам $E(AP0V)$ и $E(AP - V)$, и все они обслуживаются одной формой. В аналогичную ошибку впадает автор, давая единообразный анализ времен изъявительного и сослагательного наклонений. Эти системы неадекватны уже хотя бы по числу составляющих их компонентов. Неравны и синтаксические условия их функционирования: объем системных функций этих времен совпадать никак не может. Заметим попутно, что недопустимо относить к настоящему времени грамматизованные глагольные перифразы типа «ir a + инфинитив», «*acabar de* + инфинитив», обладающие другим временны́м значением.

В свете всего сказанного можно было бы сделать вывод, что описание испанских времен как единой, независимой от синтаксических условий функционирования системы не является адекватным отображением фактов языка. Задача исследователя, по нашему мнению, заключалась бы в том, чтобы определить количество подсистем, действующих в испанском языке для выражения категории времени, характер оппозиций в этих подсистемах и синтаксические условия, которые служат рамкой для их функционирования. Эта задача, насколько нам известно, еще ждет своего осуществления.

В пятой главе («Заключение и очерк системной лингвистики», стр. 109—120) автор делает теоретические выводы, вытекающие из предложенной им методики исследования, и дает общую характеристику системной лингвистики, противопоставляя ее структурной школе. У. Булл пытается обосновать более широкий взгляд на язык как предмет лингвистики. Язык не есть система произвольных знаков, существующая в пустом пространстве. В то целое, частью которого является язык, входят: говорящий, слушающий, их действия, непосредственное окружение, знание определенных фактов. Все это помогает установлению единого фокуса (common focus), т. е. общей точки зрения, общей оси ориентации. Язык — это лишь выраженная, «открытая» система (overt system). В процессе коммуникации она сочетается с действием невыраженных, «скрытых» систем (covert systems). Слушатель должен извлечь всю невыраженную (несимволизированную) информацию, порождаемую взаимодействием скрытых и открытых систем, установить с говорящим общий фокус. Лишь непониманием активной роли слушающего можно объяснить то удивление, которое вызывает у некоторых общение на таких языках, как гавайский, наваха, пилага. Слушая разговор на одном из этих языков, бывает трудно, а иногда просто невозможно, определить, идет ли речь об истории, текущих событиях или планах на будущее.

Чтобы понять значение языковых форм, необходимо выяснить, как они служат для достижения коммуникативных целей. С языковыми символами следует обращаться так же, как с объектами материальной культуры. Отсюда вытекает необходимость изучения не только значения формы, но и ее роли в процессе коммуникации.

Стремление выяснить функцию языкового знака и составляет существо системной лингвистики, а также определяет применяемую в ней методику исследования. Это коренным образом отличает системную лингвистику от структурной. Разница между ними может быть определена как разница между инвентарем форм и инвентарем функций, свойственных этим формам. Структурная лингвистика — это отдел языкознания, целью которого является достижение систематической классификации произвольных языковых знаков, т. е. собственно таксономия. Лингвист-таксономист элиминирует в своей классификации значение и функцию как принцип деления. Поэтому он может установить только формальные классы, но не в состоянии дать определение этих классов или выяснить их роль в коммуникации.

В структурной (или теоретической) лингвистике отправной точкой является форма, в системной (или прикладной) лингвистике отправная точка — объективная реальность. Практически структурная школа также прибегает в анализе материала к фактору значения. Аналитический метод структуралистов есть операция, в которой носитель языка, являющийся источником информации, и лингвист пользуются критериями разного уровня абстракции. Лингвист, который может вовсе не знать данного языка, применяет критерий идентичности или различий формы, в то время как носитель языка, который столь же мало разбирается в морфемике, как лингвист в значении, подходит к этим формам с точки зрения семантических различий или идентичности. Лингвист в конце концов классифицирует формы согласно суждения носителя языка. Правда, апелляция к значению тщательно вуалируется. Так, вместо того чтобы прямо установить значение английского суффикса мн. числа *-s (es)*, структуралист прибегает к методу совместимости, доказывая, что этот суффикс потому может считаться знаком множественности, что он совместим с числительным *two* «два» и несовместим с числительным *one* «один». Но для того чтобы сделать подобное заключение, необходимо предварительно определить понятие *two*, выяснив его отличие от понятия *one*. Иными словами, следует вскрыть особенности той концептуальной системы, с которой соотносятся числительные. Здесь структуралист вынужден сослаться на предметную отнесенность слов. Но в таком случае вся процедура определения и классификации путем проекции становится излишней.

Столь острая критика методов структурного анализа, в частности метода совместимости, была вызвана главным образом работой датского структуралиста К. Тогебю, который широко применил этот прием при анализе испанских времен. Как известно, книга У. Булла является второй монографией, посвященной видо-временной системе испанского глагола за последнее десятилетие. В 1953 г. вышло исследование К. Тогебю «Наклонение, вид и время в испанском языке» [2]. Датский романист, так же как и У. Булл, стремится разработать серию приемов, дающих адекватное описание строя языка, в частности его глагольной системы. Основной принцип методики К. Тогебю заключается в том, что семантическое содержание формы определяется исходя из норм ее синтаксического функционирования, т. е. совокупности определенных грамматических правил. К. Тогебю поэтому детально описывает синтаксический контекст и лексическое окружение каждой формы. Он принимает во внимание такие факторы, как тип предложения, влияние сопряженного или соседнего предложения, воздействие союзов, сочетание с наречиями, модальными словами, значение управляющего глагола.

Слабой стороной работы К. Тогебю является стремление ограничить определение грамматической категории указанием на те факторы, которые обусловливают ее появление. Ср. определение наклонения (стр. 64), вида (стр. 97) и времени (стр. 104). Эти формальные определения оторваны у К. Тогебю от определений семантических (см. стр. 117—131). Следует заметить, что, переходя к выяснению значения формы, Тогебю далеко не последовательно соблюдает свою исходную установку и часто предлагает вполне традиционный семантический анализ. Что же касается изучения синтаксических условий функционирования глагольных форм, то эта часть работы К. Тогебю представляется, несомненно, очень полезной и имеет преимущества сравнительно с исследованием У. Булла. Однако датский ученый все же не приходит к определению тех временных подсистем, в которых выражается видо-временная категория испанского языка.

Многие положения У. Булла, равно как предложенная им методика анализа, вызовут споры [3]. Но его книга — несомненно интересное и во многом самобытное исследование. Оно представляет собой попытку, сохранив и даже заново обосновав исходные положения доструктурного языкознания, обогатить его некоторыми понятиями и принципами, выдвинутыми современной структурной лингвистикой. К их числу относятся понятия системы языка, лингвистических оппозиций, системного значения формы, избыточности и пр. Заслуживает внимания попытка автора глубже проникнуть в самый механизм коммуникации, подчеркнуть закономерности взаимодействия в нем разных системных рядов.

Н. Д. Арутюнова

[2] K. T o g e b y, Mode, aspect et temps en espagnol, Kφbenhavn, 1953.

[3] См. рецензии на работу У. Булла К. Х е г е р а в «Zeitschrift für romanische Philologie» (1960, 76, 5—6, стр. 547—557) и Г. Т. Ф и ш а в «Hispania» (1961, 2, стр. 366—367).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1961

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ЗВУКОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(о переходе *r* ~ *z*)

При внимательном рассмотрении установленного Б. А. Серебренниковым звукоперехода *z*→*r* [1] возникают соображения, на которых мы остановимся ниже. Прежде всего хотелось бы обратить внимание на факт обратимости звуковых переходов. В ряде случаев, когда фонетические нормы языка (особенно из числа тюркских), диалекта, говора в сознании его носителей соотносятся с фонетическими нормами непосредственно соседящего родственного языка, диалекта, говора, имеет место так называемая «обратная аналогия», т. е. такие явления звуковых изменений в данном языке, которые противоположны изменениям, происходившим в соседнем языке. Например, общетюркскому *jy/je* в начале слова в некоторых башкирских говорах соответствует *i*; ср. общетюрк. *jy(γ)-la* «плачь», *jep-æk* «шелк, шелковая нитка» и соответственно башк. *ila*, *ipæk*, хотя в других башкирских говорах имеем: *jyla*, *jepæk*, т. е. *i* в первой группе говоров соотносится с *jy*, *je* второй группы говоров. Согласно этому соотношению, в говорах второй группы наращивается *j* в начале слова и в тех случаях, когда корни этих слов, существующие во всех тюркских языках, не имеют начального *j*, например: *jetæk* «поводья», *je-ker* «цикни, гикни» (буквально: «крикни [*h*]*i*») (ср. общетюрк. *itæk*, *ætæk* «подол» и междометие *hi*, выражающее порицание). Следовательно, протеза во второй группе говоров возникла под влиянием и как бы в противовес выпадению начального *j* в первой группе; аналогичные явления наблюдаются и в других тюркских языках. Таким образом, если признавать только необратимые переходы, то на материале почти любого тюркского языка можно прийти к взаимоисключающим выводам, так как в каждом языке есть рефлексы и прямых, и обратных звуковых переходов.

Переход *z* ~ *r* нельзя рассматривать изолированно от других звуковых переходов. Современные звуковые соответствия возникли в результате довольно разнообразных и сложных процессов — «промежуточных» звуковых изменений. Возьмем для примера процесс восстановления сочетаний «гласный + согласный» из дифтонгов, который позволяет выявить многочленные соответствия. Др.-тюрк. *kæbiz* «ковер, вата» после дифтонгизации дало *kæu̯iz*. Но дифтонг *æu̯* может быть рефлексом не только *æb*, но также *æg*. Поэтому в тех говорах (например, узбекских), которые восстанавливают сочетание «гласный + согласный» на месте дифтонгов, может произноситься и *kæbiz*, и *kægiz*, и даже *kædiz*. Точно так же, по-видимому, возникли варианты слова *au̯* «охота, дичь» в разных языках — *ab*, *aw*, *ag*, *aγ* [2].

Признано бесспорным, что для установления фонетического закона тюркских языков необходимо определить целые системы звуковых переходов, которые изменяют свое направление и качество в процессе многократного отражения («обратных аналогий») в зависимости от морфологических, лексических и т. п. факторов. В отношении *r*→*z*, например, замечено, что *r* в глагольных основах соответствует *z* именных основ; см. татар. *kür-ü* «видеть» и *küz* «глаз», *simer-ü* «жиреть» и *simez* «жирный» [3]. Вообще в алтайских языках процесс укоренения звукового перехода распадается на четыре этапа: а) в результате предшествующих фонетических изменений создается возможность нового звукового перехода; б) осуществление этого перехода вызывает резонанс во всей системе фонем, т. е. обусловливает различные побочные явления; в) наступает период колебаний произношения корреспондирующих звуков (независимо от их происхождения, т. е. согласно закономерностям прямой и обратной аналогии) в определенных положениях, как, например, колебания произношения *dž*~*j* и *j*~*dž* в современном татарском общенародном языке. В этот период границы того или иного произношения зыбки, т. е.

[1] См. Б. А. Серебренников, О некоторых спорных вопросах сравнительно-исторической фонетики тюркских языков, ВЯ, 1960, 4, где автор исходит из постулированного им ранее тезиса о типологичности перехода *z*→*r* (см. его же, К критике некоторых методов типологических исследований, ВЯ, 1958, 5, стр. 29).

[2] См. В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, I, СПб., 1893, стб. 66, 67.

[3] См. Н. К. Дмитриев, Соответствия *p*/*s*, в кн. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I — Фонетика, М., 1955, стр. 325.

с трудом поддаются локализации. Когда устанавливаются твердые нормы, период колебаний произношения оставляет след в виде коррелятивных образований.

Условия звуковых переходов определяются в соответствии с условиями колебаний и с корреляциями. Корреляций для соответствия *r*∼*z* в тюркских языках довольно много, а период, когда в произношении этих двух звуков были колебания, давно прошел. Лишь в чувашском (как и в некоторых тунгусо-маньчжурских языках) сохранилось чередование *r* со звуками *d*, *t*, *s*, корреспондирующими в свою очередь с согласными *j*, *z*, *ž*, *š*, *x*, *h* и т. д. Поэтому выяснение первичности *r* в каждом конкретном случае сильно осложняется. При рассмотрении чередования *r*∼*z* на примере аффикса *-maz/-mas* необходимо учитывать, что этот показатель исторически не является единым: *-ma* — негативный аффикс, а *-z/-s* — видоизмененный вариант временного форманта *-(a)r*.

О первичности *r* могут свидетельствовать также следующие обстоятельства. Во-первых, возможность построения убедительных этимологий при допущении звукоперехода *r*→*z*, например: и.-е. *arha-n* «межа, граница»>чуваш. *jyran*∼татар. *yzan* «межа» [4]; татар. *käse/küze*<чуваш. *egüre*< <*jeggüre*<*jekexüre* «крыса», букв. «веретенохвост» [*jeke* (общетюрк. *ik*, *ij*) «веретено», *xüre* <общетюрк. *qujruq*<*quduruq* <др.-тюрк. *qudur*-«вилять») «хвост»].

Во-вторых, чувашскому *r*, корреспондирующему с *z* других тюркских языков, в нетюркских алтайских языках соответствует *r*:

Значение слов	Чуваш. язык	Татарский и др. тюркские языки	Монг. язык	Тунгусо-маньчж. языки
«Вино, пиво»	*părā̆n*	*buza* (древн. *pur*)	*bor*	—
«Бык»	*vă̆kă̆r*	*ügez*	*üxer*	эвенкийск. *xukur*
«Теленок»	*pă̆ru*	*buzau*	*buruu*	—
«Столбик, кол»	—	*qazyq*	*xadxu*, *xarxu*	нивх. *kargy*
«Море»	*tĕnĕs* (древн. *tenger*[5])	*diŋgez*	*tenges*	эвен. *tönger*[6] «озеро»
(«Близнецы»	*jekĕr-ĕš*	*igez* (древн. *iker*)	*ikir*	эвен. *igire*[7]

Можно предполагать, что все *r*-звучания распространялись из одного древнего источника; иначе оказывается необъяснимым факт наличия этих звучаний у ныне далеко отстоящих друг от друга народов (надо учитывать при этом, что не всякий *z* в тюркских языках восходит к *r*, и наоборот: не каждый *r* давал *z*). Вероятно, *z*-звучания возникли на тюркской почве [8], поскольку тюркскому *z* в других алтайских языках часто соответствует *r*, а общетюркским *r*-звучаниям *z*-соответствий в других алтайских языках почти нет (а если такие соответствия и отыскиваются, то оказывается, что аналогичные варианты имеются и в самих тюркских языках).

В-третьих, *r*-корреляции для соответствия *r*∼*z* в тюрских языках имеют, так сказать, пережиточный характер. Так, например, сохранение *r* в общетюркских словах [*tir-sak*<*ter-s-gek* «ножоть» (буквально: «коленки»), ср. чуваш. *tĭ̆r*, общетюрк. *tiz* «колени»; *qysyr*<*yq-syr*<*jyq-syr* «яловая», ср. чуваш. *jă̆x-să̆r*, татар. диал. *jek-sez* «беспородный, бесплодный», (*j*)*ek*, *džyq* «род, племя»] объясняется тем, что уже в древнейшие времена в большинстве тюркских языков эти слова понимались не как производные, а как самостоятельные корни. Таких слов довольно много. Все это наводит на мысль о том, что на месте современного *z* в прошлом звучал *r*.

Р. Г. Ахметьянов

[8] На этом предположении основывается периодизация истории тюркских языков в кн.: Н. А. Баскаков, Тюркские языки, М., 1960.

[4] См. В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, I, М.— Л., 1958, стр. 59.

[5] В числе других заимствований из древнетюркских языков, потомком которых является чувашский, это слово сохранилось в венгерском языке (см. Й. Балаша, Венгерский язык, М., 1951, стр. 16).

[6] «Русско-эвенский словарь», сост. В. И. Цинциус и Л. Д. Ришес, М., 1952, стр. 346.

[7] Там же, стр. 33.

№ 6 1961

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СОБИРАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОНИМИКИ В ЛИТОВСКОЙ ССР

Собирание и исследование материала по литовской топонимике началось уже давно. К числу первых более крупных топонимических исследований можно отнести труды: «Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия» И. Я. Спрогиса (Вильнюс, 1888), «Sąrašas geografiškųjų Lietuvos vardų» («Список географических названий Литвы») Ю. Тумаса-Вайжгантаса (см. «Dirva-žinynas», 10–11, 1904), «Lietuviszkų wardų Klėtelė» («Сборник литовских названий») В. Калвайтиса (Tilžė, 1910). В этом сборнике собрана часть топонимики Клайпедского края и др.

Систематическое собирание топонимики Литвы начато выдающимся литовским языковедом К. Бугой. В 1911 г. был издан его фундаментальный труд «Apie lietuvių asmens vardus» («Относительно литовских личных имен»). Балтийскими топонимами и собственными именами К. Буга оперирует и в других работах, опубликованных в 1913 г. Например: «Kalbų mokslas ir mūsų senovė» («Языкознание и наша древность»), «Apie senovės prūsų ir lietuvių tikrinius vardus» («Относительно собственных имен древних пруссов и литовцев»), «Славяно-балтийские этимологии», «Kann man Keltenspuren auf baltischem Gebiet nachweisen?» («Могут ли быть достоверными кельтские следы на балтийской территории»?) [1].

Но особое внимание топонимическим студиям К. Буга уделял в последние годы своей жизни, когда им были написаны такие труды, как «Upių vardų studijos ir aisčių bei slavėnų senovė» («Исследования названий рек и древность балтов и славян») («Tauta ir žodis», I, Kaunas, 1923), «Lietuvių įsikūrimas šių dienų Lietuvoje» («Поселение литовцев на нынешней территории Литвы») («Tauta ir žodis», II, Kaunas, 1924), «Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje» («Прошлое балтов в свете географических названий местностей») (Kaunas, 1924) и др. В этих работах он обосновал мысль, что в доисторические времена территория, населенная балтами, распространялась дальше к востоку и к югу от нынешних этнографических ее границ [2]. За всю свою жизнь К. Буга собрал около 47 тыс. различных собственных имен из разных мест Литвы, из древних книг и документов. К собиранию топонимического материала он привлекал довольно широкий круг помощников из среды учителей и других слоев интеллигенции. После смерти К. Буги в 1924 г. эта работа на некоторое время прекратилась. Позднее по изданной инструкции (см. «Instrukcija Lietuvos žemės vardynui surašyti», Kaunas, 1936) началось систематическое собирание топонимического материала на территории всей Литвы, за исключением восточных (Вильнюсский край) и западных (Клайпедский край) районов. Материал в основном собирали сельские учителя, а летом включались в работу студенты-языковеды. Часть собранного материала переписывалась в специальную картотеку, составлялись алфавитные списки собственных имен и т. п.

Топонимический материал, собранный в буржуазной Литве, имеет неодинаковую ценность: почти все записано литературным языком, весьма часто не указано ударение в топонимах или указано только его место, но не обозначена интонация.

В первые годы советской власти в Литве (1940—1941 гг.) Институт литовского языка АН Литов. ССР начал организовывать специальные бригады языковедов для собирания топонимики. В это время большое внимание уделялось исследованию топонимики Вильнюсского края, воссоединенного с Литов. ССР. После Великой Отечественной войны работа возобновилась, но некоторое время велась сравнительно слабо в связи с разработкой других важных проблем по литуанистике. С 1958 г. в Советской Литве начался новый этап собирания и научной обработки литовской топонимики. Коллектив языковедов Института литовского языка и литературы составил новую инструкцию для собирания топонимического материала («Instrukcija vietovardžių rinkėjams», Vilnius, 1960), в которой были установлены единые принципы собирания и точной записи всех названий населенных и географических местностей. Требовалась также по мере возможности запись исторических, фольклорных и других данных, связанных с отдельными топонимами. На основе этой инструкции в настоящее время

[1] Все эти работы см.: K. Būga, Rinktiniai raštai, I, Vilnius, 1958.

[2] К такому выводу в последнее время пришли и советские ученые (П. Третьяков, Х. Моора, Б. Серебренников, В. Топоров и др.).

и ведется сбор топонимического материала. Ежегодно организуются 2—3 научные экспедиции. За последние два года была собрана почти вся топонимика бывшего Клайпедского края и других еще не исследованных западных районов республики. Кроме того, топонимические данные собирают и во время диалектологических экспедиций. Немало нового топонимического материала каждый год записывают члены кружков краеведения, студенты вузов республики, учителя, географы, гидрологи, геодезисты и др. Таким путем собрано немало ценного. Только за 1960—1961 гг. фонды топонимического материала пополнились на 10 тыс. топонимов.

Собранный материал упорядочивается и каталогизируется, создаются фонды, доступные всем лингвистам. В настоящее время в фондах топонимического материала в Институте литовского языка и литературы АН Литов. ССР хранятся:

1. Алфавитная картотека географических названий (ок. 50 тыс. карточек), неалфавитная картотека географических названий (40 тыс. единиц). Картотеку географических названий значительно дополнят микротопонимические географические названия, которые до сих пор находятся в анкетных листах по собиранию топонимического материала (ок. 200 тыс. названий).

2. Картотека названий населенных пунктов (ок. 60 тыс. карточек). По ней для практических целей составлены списки (словники) названий населенных пунктов (около 30 тыс. названий). Эти списки проверены, установлена литературная форма многих названий мест, для многих из них определены ударения.

3. Алфавитный словник названий населенных пунктов Вильнюсской области (ок. 5 тыс. названий).

4. Алфавитная картотека личных имен (ок. 300 тыс. карточек), включающая и фамилии жителей Вильнюсских и Клайпедских окрестностей. Кроме того, в эту картотеку входит около 12 тыс. личных имен, собранных из древних документов и метрических свидетельств. По этой картотеке для практических целей составлен алфавитный список (словник) личных имен (ок. 51 тыс. единиц).

5. Картотека собственных имен, составленная К. Бугой (ок. 47 тыс. карточек).

6. Алфавитный список (словник) названий рек Литов. ССР (ок. 6 тыс. названий).

7. Алфавитный список (словник) названий озер Литов. ССР (ок. 3 тыс. названий).

Списки (словники) рек и озер составлены на материале алфавитной картотеки географических названий мест и значительно дополнены материалом из анкет по собиранию топонимики, а также собранным материалом экспедиций последних лет. На основе таких списков (словников) коллектив языковедов Института литовского языка и литературы в настоящее время приступает к подготовке «Словаря рек и озер Литов. ССР», объем которого составит ок. 30 авт. листов. При подготовке к печати этого словаря проверяется и устанавливается литературная форма по списку (словнику) названий населенных пунктов; уточняется и упорядочивается также и словник личных имен.

Литовские языковеды приступили к систематическому исследованию названий озер. См. статью «Ežerų vardai» («Названия озер») Б. Савукинаса, опубликованную в сб. «Lietuvių kalbotyros klausimai» («Вопросы литовского языкознания»), III, Vilnius, 1960. В этом же томе имеются отдельные статьи о происхождении названий *Неринга* (Neringa), *Девитис* (Dievytis), *Неклис* (Keklys), *Дане* (Danė) и др. Написано несколько дипломных работ по топонимике при кафедре литовского языка Вильнюсского гос. ун-та им. В. Капсукаса.

Материал по литовской топономастике отражен в словаре «Lietuvių kalbos rašybos žodynas» («Орфографический словарь литовского языка») (Kaunas, 1948); специально исследуется он также в статье проф. Ю. Бальчиониса «Названия литовских населенных пунктов, образованные от названий рек и озер» (см. «Lingua posnaniensis», VII, 1959); кратко говорится о том же в популярной брошюре С. Тарвидаса «Lietuvos vietovardžiai» («Топонимы Литов. ССР») (Vilnius, 1958) и в др. Литовская топонимика рассматривается также в крупном труде проф. Я. Эндзелина «Latvijas PSR vietvārdi» («Топонимические названия Латвийской ССР») (I, Rīga, 1956), в статьях В. Н. Топорова «Две заметки из области балтийской топонимики» (см. сб. «Rakstu krājums», Rīga, 1959) и «О балтийских следах в топонимике русских территорий» (см. сб. «Lietuvių kalbotyros klausimai», II, 1959) и в других работах. Много материала, несмотря на нелингвистическую его подачу и некоторые неточности, дается и в книге «Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas» («Административно-территориальное деление Литовской ССР») (Vilnius, 1959).

В настоящее время в республике проводится работа по установлению литературных форм топонимов всей территории Литов. ССР. Эту работу языковеды Института литовского языка и литературы выполняют совместно с Управлением землеустройства Министерства сельского хозяйства Литов. ССР, с Республиканским институтом проектирования водного хозяйства, с редакцией «Литовской советской энциклопедии», с Институтом ботаники АН Литов. ССР и другими научными учреждениями и ведомствами. В течение 1960 г. таким путем проверено и уточнено около 12 тыс. отдельных названий мест. В ходе этой работы М. Ласинскасом, Й. Мацевичюсом и Й. Яблонскисом составлен труд «Lietuvos upių kadastras» («Кадастр рек Литов. ССР») (I, Vilnius, 1959). Он подготовлен в Институте энергетики и электротехники АН Литов. ССР на основе картотеки Института литовского языка и литературы. В настоящее время собирание топонимического материала в Литовской ССР в общем подходит к своему завершению, и создаются возможности приступить к более обширным, обобщающим топонимическим исследованиям.

Э. И. Гринавецкене, Ю. Ю. Сенкус
(Вильнюс)

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛАВЯНСКОМУ СИНТАКСИСУ В БРНО

По инициативе группы славистов на философском факультете Брненского университета им. Я. Е. Пуркыне (Чехословакия) с 17 по 21 апреля 1961 г. проходила конференция по сравнительно-историческому изучению синтаксиса славянских языков. В работе конференции приняло участие большинство чехословацких славистов и 23 зарубежных языковеда (из Болгарии, ГДР, Италии, Польши и СССР). Некоторые зарубежные языковеды прислали свои доклады и сообщения. Общее число участников конференции превышало 120 человек; было заслушано 80 докладов, содокладов и сообщений [1].

Тематика конференции включала шесть основных разделов: 1) теоретические вопросы и предмет синтаксиса, 2) общие вопросы сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков, 3) изучение развития простого предложения, 4) изучение развития сложного предложения, 5) изучение синтаксиса разговорного языка и диалектов, 6) картографирование синтаксических явлений для славянского языкового атласа.

1. Основой для дискуссии о предмете синтаксиса послужил доклад акад. Фр. Травничка (Брно) [2] «Место синтаксиса в науке о языке». Исходя из тезиса о диалектическом единстве языка и мышления, докладчик устанавливал соответствие между понятием и мыслью (в плане психологическом) и словом и предложением. Основной единицей языкового процесса он считает предложение, являющееся главным предметом синтаксиса; сочетания слов, по мнению докладчика, надо изучать, исходя из их роли в предложении. В основе мысли (как единицы процесса мышления) лежит актуальное установление отношения между предметами или явлениями действительности; оно находит свое языковое оформление в предложении, в котором или оба носителя отношения получают словесное выражение (двусоставное предложение), или словом выражен только один из них, а другим является определенный отрезок действительности (односоставные предложения, например: *Моровит, Внимание!, Тепло, Ух!*). Наряду с выражением указанного отношения (которое является основой высказывания — větotvorný vztah) в предложении выражаются также готовые продукты мышления — таковы отношения между определяющими и определяемыми членами предложения (členské vztahy; ср. разницу между словосочетанием *pilný žák* и предложением *žák je pilný*). Кроме того, в предложениях отражается отношение говорящего к их содержанию (так называемая модальность): предложения оформляются говорящим как повествовательные, вопросительные или пожелательные и побудительные.

Доклад вызвал оживленную дискуссию. Некоторые участники предостерегали от опасности упрощения отношений между языком и мышлением или даже отождествления их категорий; с другой стороны, признавалась вспомогательная роль логики при анализе языка. В связи с дальнейшими докладами говорилось о зависимости развития языка от развития мышления, главным образом в области сложного предложения. Определение предмета синтаксиса, данное в докладе, подвергалось критике как очень узкое — оно не охватывает сложного синтаксического целого и сверхфразных синтаксических схем — и вместе с тем как излишне широкое — оно включает и морфологические категории (так называемую науку о значениях частей речи и их форм). Учение о синтагматических связях слов в предложении признается равноправным предметом синтаксиса наряду с учением о предикации, которая сама по себе (по мнению доц. И. Ружички) носит не синтагматический характер.

Вопросы словосочетания и сочетаемости слов вообще получили освещение в докладе Фр. Мико (Кошице), указавшего, что взаимоотношения слов вытекают из их принадлежности к той или иной части речи. Части речи и их взаимоотношения представляют особый план языка, не относящийся к строю предложения; взаимоотношения слов проявляются уже в самих наименованиях в виде их грамматической надстройки, обнаруживающейся в их парадигматике (или же в ее отсутствии). Плодотворность изучения групп слов как частей речи, а не как членов предложения продемонстрировал в своем докладе «К вопросу о сочетаемости (валентности) частей речи в болгарском предложении» проф. И. Лекова (София). Он подверг анализу возможность комбинации двух слов в болгарском предложении, отвлекаясь от их семантической «открытости» или «закрытости» и применяя новые методы лингвистического анализа — квантитативный и трансформационный. Связям синтаксиса с другими языковедческими дисциплинами был посвящен доклад «Синтаксис и словообразование» покойной проф. Г. Конечной (Варшава), прочитанный И. Юдыцкой (Варшава). В докладе были продемонстрированы параллельные отношения между основой и формантом в рамках сложных слов и между членами предложения.

2. Основные проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков были предметом доклада акад. Б. Гавранка (Прага). Развивая высказанные им ранее мысли о методологии исторического изучения синтаксиса славянских языков [3], докладчик подчерки-

[1] Материалы конференции выйдут отдельным сборником в 1962 г.

[2] Фр. Травничек скончался после непродолжительной болезни 6 июня 1961 г.

[3] См. «Metodická problematika historickosrovnávacího studia syntaxe slovanských

вал сложность синтаксического развития. В синтаксисе встречается не только смена типа *А* типом *Б*, но очень часто тип *А* продолжает существовать рядом с новым типом *Б*. Недифференцированные типы нередко превращаются в дифференцированные, но в других случаях утрачиваются древние дифференциации. Цель сравнительно-исторического анализа — объяснение всего исторического развития славянских языков вплоть до их сегодняшнего состояния; анализ не должен ограничиваться только попытками восстановить общий исходный пункт развития — состояние праславянское. Что касается основных синтаксических отношений, то в этом плане славянские языки близко сходятся, однако в реализации этих отношений встречаются важные различия, касающиеся не только средств выражения, но и целых синтаксических типов. Компаративистика помогает видеть развитие языка во всей сложности и широте его связей и избежать неправомерных упрощений. Свои тезисы Б. Гавранек иллюстрировал несколькими примерами: изменениями во взаимоотношении двусоставных и односоставных (безличных) предложений (нет основания утверждать, что безличные предложения представляют более древний тип; в древних языках разграничение обоих типов было менее ярким, чем теперь); закреплением именного предиката со связкой *быть* или с нулевой связкой в настоящем времени; изменениями в употреблении страдательного залога и др.

Дальнейшие доклады, содоклады и выступления касались более частных вопросов; в них было высказано много ценных наблюдений, развивающих мысли основного доклада. При изучении синтаксического развития нельзя искать всегда единый исходный пункт развития, как это имеет место в фонетике или морфологии, сказал в своем сообщении В. Барнет (Прага). Так, например, синтаксическое развитие причастий и деепричастий лежит не на одной линии, а представляет собою несколько ветвей, имеющих начало в разных исходных синтаксических функциях причастия в предложении (атрибутивной, предикативной и др.).

Развития причастных и деепричастных конструкций коснулся также проф. К. Горалек (Прага), указавший, что в развитии чешского языка произошел переход от выражения при помощи причастных оборотов к выражению при помощи сложных предложений. Переходный период представляется как известный кризис в развитии языка, который, однако, не позволяет судить о состоянии языка на более отдаленном этапе его развития. При оценке изменений в синтаксическом строе языка не все можно считать прогрессом: разные типы выражения могут быть равноценными. Основную часть своего доклада К. Горалек посвятил характеристике высокого уровня древнейшего славянского литературного языка — старославянского. Решающим фактором, сказал докладчик, нельзя считать греческое влияние или искусственный характер старославянского языка, созданного гениальным филологом,— в старославянском языке отразился высокий уровень языка устной словесности южных славян, находившейся под воздействием византийской культуры. Совсем другой была ситуация при возникновении чешского литературного языка.

В своем сообщении Я. Седлачек (Прага) говорил о том, что в синтаксисе старославянского языка встречается влияние не только греческих подлинников (язык которых отличался уже от живого греческого языка того времени), но также живого греческого языка нового периода; это придает старославянскому синтаксису черты балканского происхождения. Благодаря этому возникающий старославянский литературный язык отражал явления живого языка в большей мере, чем традиционный греческий литературный язык (ср., например, распространение предлога *отъ*, соответствующего новогреч. ἀπό, в отличие от ἐξ в греческом подлиннике Нового завета, союза *яко да* по образцу поздневизант, ὡζίνα и др.).

Несколько докладов и выступлений было посвящено проблематике изучения синтаксического развития славянских литературных языков. Р. Вечерка (Брно) говорил о различиях в синтаксическом развитии древних славянских литературных языков; он остановился главным образом на вопросе о влиянии одного славянского языка на другой при разных условиях их соприкосновения (ср. влияние древнечешского языка на древнепольский и церковнославянского на древнерусский). Влияние чужих языков (латинского и греческого) осуществлялось не только прямым путем, но также через посредство других славянских языков. Проф. А. Едличка (Прага) обратил внимание на синтаксическое развитие славянских языков в эпоху национального возрождения, когда происходило столкновение старого книжного языка (со сложным синтаксическим строем, восходящим к эпохе гуманизма) с влиянием живой разговорной речи. Сравнительное изучение этого процесса связано с большими затруднениями: время становления новых славянских литературных языков не совпадает, условия их развития в основном расходятся.

Вопросы формирования синтаксиса современного болгарского литературного языка осветил в своем докладе проф. Л. Андрейчин (София). В основе новоболгарского литературного языка лежит живая речь; попытки ввести синтаксические архаизмы успеха не имели. Но все-таки отклонения от живой речи возникли: в процессе обогащения литературного языка на него оказали влияние другие языки — из

jazyků», в сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků», Praha, 1958, стр. 77—88; ср. также тезисы его реферата в сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958, стр. 151—158, а также его статью «Textová kritika a primitivní typy spojování vět v staré češtině», в сб. «Studie ze slovanské jazykovědy», Praha, 1958, стр. 53—60.

западных главным образом французский, из славянских — русский, под влиянием которого развилось обособление членов предложения, активизировались деепричастия (сохранившиеся лишь в части диалектов) и причастные обороты и т. д. Русско-болгарские синтаксические параллели явились темой доклада доц. К. Попова (София).

Доклад проф. Н. С. Поспелова (Москва) определил место исследования истории литературного языка в историческом изучении языка вообще. Надо различать три аспекта такого изучения: а) в плане исторической лексикологии, исторической морфологии и исторического синтаксиса изучается история изменения отдельных слов, форм и конструкций, образующих определенную лексическую, морфологическую или синтаксическую систему, в зависимости от формы; б) в плане истории литературного языка как своеобразного синтеза лексики, морфологии и синтаксиса раскрываются функциональные тождества и различия отдельных фактов языка; в) в плане языка художественной литературы изучение явлений концентрируется вокруг основной задачи исследования композиционной структуры литературных произведений, на базе теории высказывания или учения о сложном синтаксическом целом.

Два сообщения затронули вопрос сопоставительного изучения синтаксиса современных славянских языков, в частности чешского и русского. Ст. Жажа (Брно), обобщая опыт работы над синтаксисом русского языка для чехов [4], подчеркивал необходимость конфронтации всей синтаксической системы обоих языков и интерпретации отдельных явлений в пределах системы данного языка. М. Затовканюк (Прага) считает важным сопоставительное освещение слова как синтаксического элемента.

3. Проблеме простого предложения был посвящен доклад доц. И. Ружички (Братислава), в котором рассматривался вопрос о взаимоотношении предложения и глагола. Основным типом славянского предложения являются предложения с определенной формой глагола; характер такого предложения можно объяснить путем сопоставления грамматического строя предложения со свойствами глагола как части речи. Решающим моментом здесь является семантическая категория интенции глагола, т. е. содержащегося в нем отношения к объекту действия и к его исходному пункту. В развитии предложения большое значение имело различие между личными и безличными глаголами, поскольку на его основе возникли оба основных типа предложения. Современное односоставное предложение как грамматически установившаяся категория не сводится к интенционному типу безличных глаголов: в нем употребительны также безличная форма личного глагола (*straší*, *его засыпало*), безличная возвратная форма [*)de se*, (*мне*) *не спится*, *zpívá se mi dobře*]. Что касается двусоставного предложения, то вследствие редукции его подлежащего возникают не односоставные предложения, а лишь варианты двусоставных — редуцированные двусоставные предложения. С другой стороны, вариантом односоставного предложения являются предложения с частицами *то*, *оно* (типа *to/ ono prší*). Во время дискуссии по докладу Е. Кржижковой (Оломоуц) обратила внимание также на предложения с безличной формой страдательного залога типа *chozeno*, *Rzym zalozono*.

В другом основном докладе, сделанном Р. Мразком (Брно), автор на основе критической оценки имеющейся литературы по историческому синтаксису славянских языков пришел к заключению, что недостатки в этой области связаны прежде всего с недостаточной изученностью развития типов (моделей) предложения — предложений с личным глаголом и без него (в частности, способов выражения значений «esse» и «habere»), односоставных и двусоставных, повествовательных, вопросительных и побудительных, активных и пассивных, выражения модальности в узком смысле и т. д. Р. Мразек предложил ряд методологических положений, важных для разработки сравнительного синтаксиса.

В чешском языкознании уже давно подчеркивалась роль именного предложения в развитии синтаксического строя славянских языков; по Й. Зубатому и Фр. Травничку, некоторые члены простого предложения восходят к первоначальным именным предложениям, утратившим свою самостоятельность. В. Грабе (Прага) в своем сообщении стремился указать, что возникновение приложения можно объяснить иначе — из сочетания двух параллельных форм падежей (ср. фольклорное русск. *на рыбе на хлебе*), которые могли носить характер, близкий однородным членам предложения. Свою теорию он подкрепляет ссылкой на подобное развитие в турецком языке. Его любопытное предположение вызвало некоторые сомнения.

С большим интересом участники конференции прослушали доклад доц. Р. Ружички (Лейпциг) о роли асимметрической корреляции в историческом синтаксисе. Исторические изменения обусловливаются состоянием синтаксической системы, важным структурным признаком которой являются асимметрические корреляции, способные к преобразованию. Докладчик демонстрировал это положение на примере развития причастных и деепричастных оборотов в старославянском, церковнославянском и русском языках. Беспризнаковым членом корреляции первоначально было причастие в именной (краткой) форме; признаком причастия в сложной (полной) форме являлась его непредикативность. В процессе развития русского языка члены корреляции сменили свою роль: маркированной становилась предикатив-

[4] J. Bauer, R. Mrázek, St. Žaža, Příručni mluvnice ruštiny pro Čechy, II — Skladba, Praha, 1960.

ность, признаковым членом — именная форма причастия или деепричастия, утратившая вследствие окаменения способность выполнять функцию атрибута; роль второстепенного предиката стала ее инвариантной функцией.

К проблематике порядка слов, затронутой в докладе И. Лекова, совещание вернулось еще раз, заслушав доклад С. Михалка (Лейпциг) о немецком влиянии на постановку личного глагола в конце предложения в лужицком языке. В отличие от немецкого в лужицком языке придаточное и главное предложения не различаются по этому признаку; по мнению докладчика, такое состояние можно объяснить самостоятельным развитием в лужицком языке, но само это развитие было вызвано влиянием немецкого языка. В последующей дискуссии доц. М. Елинек (Брно) обратил внимание на то, что постановка глагола в конце предложения была обычной также в чешском литературном языке вплоть до первой половины XIX в.; она объясняется влиянием латинского языка. Интересное сообщение Я. Фирбаса (Брно) о месте функционального плана предложения (т. е. его смыслового членения) в структуре языка из-за недостатка времени осталось непрочитанным.

Программу конференции обогатил доклад проф. Б. Мериддджи (Флоренция) об оппозиции детерминированности и недетерминированности глаголов в славянских языках (типа *бегать — бежать*, *летать — лететь*); в докладе рассматривалось их отношение к разным группам глаголов и их происхождение.

4. Проблематике развития сложного предложения участниками конференции было уделено большое внимание. Доц. Я. Бауэр (Брно) в своем докладе осветил цель и методы сравнительно-исторического изучения сложного предложения. Целью является прежде всего углубленное освещение системы сложного предложения в современных славянских языках и исследование путей его развития. Сложное предложение нужно изучать как своеобразную синтаксическую единицу со всеми ее элементами: союзные средства, грамматический строй, интонация. Сложное предложение представлено различными типами, исторически сложившимися на основе закрепления определенного значения за определенными формальными средствами его выражения. Историческое изучение развития сложного предложения в отдельных языках, по возможности обогащенное сравнительным подходом к материалу, создает предпосылки для выполнения главной задачи — подлинного сравнительно-исторического исследования. Только при таком условии станет возможным решить в полном объеме и вопрос о возникновении сложного предложения и о его состоянии в праславянском языке. Для осуществления этой программы необходимо наладить сотрудничество синтаксистов из всех славянских стран. В сообщении Ст. Жажи было подчеркнуто значение сложных союзов в развитии сложного предложения и определены основные тенденции их развития в чешском и русском языках. А. Вержбицка (Варшава) говорила о польском сложном предложении в литературном языке эпохи гуманизма.

Н. С. Поспелов показал в своем втором докладе основные тенденции в развитии сложноподчиненных предложений в русском литературном языке XIX в. [5]. На присубстантивно-повествовательный тип сложного предложения обратил внимание в своих тезисах доц. К. Габка (Грейфсвальд), объединивший его с присоединительными сложноподчиненными предложениями.

Теоретическим вопросам сложного предложения, намеченным в докладе Я. Бауэра, было посвящено несколько выступлений. Проф. М. Палевич (Белград) решает в своем докладе (присланном в письменном виде) вопрос о разграничении простого и сложного предложения и о сущности сложного предложения. Конструкции с однородными сказуемыми он считает сложными предложениями; сложное предложение образует синтаксическую единицу, которая при попытке разделить ее на отдельные простые предложения перестает существовать. Проф. З. Клеменсевич (Краков) дал примеры графического анализа сложных предложений усложненного типа, составной частью которых служит сочетание предложений, образующее само по себе сложное предложение (докладчик называет его skupienie wypowiedzeniowe); при анализе надо учитывать взаимоотношение частей сочетания предложений, его функцию и позицию в составе целого осложненного сложного предложения. Доц. Л. Дюрович (Братислава) обратил внимание на то, что возможность комбинаций в известной мере ограничена; задачей изучения будет определение условий и причин этого явления. Доц. И. Ружичка (Братислава) считает необходимым классифицировать сложные предложения по признаку совпадения и несовпадения их содержания и формы: таким образом можно установить основные типы сложносочиненного и сложноподчиненного предложения и типы вторичные.

Проблема генезиса сложного предложения решалась в докладе доц. Л. И. Ройзензона (Самарканд) и в сообщении доц. В. Барнета (Прага). В присланном докладе Л. И. Ройзензон путем сравнения древнечешских и древнелужицких конструкций старается определить их древность и выделить архаические черты, на основе которых можно было бы судить о праславянском состоянии. Он приходит к заключению, что сложное предложение прошло несколько стадий своего развития: стадию цепочных, нерасчлененных бессоюзных конструкций, стадию омонимических союзов, стадию многосоюзия, стадию возникновения специализированных союзов, особенно сложных. В. Барнет подчеркивал,

[5] Основные положения доклада изложены в статье Н. С. Поспелова (см. стр. 3 этого номера журнала).

что решение вопроса о происхождении сложного предложения немыслимо без учета развития простого предложения и прежде всего причастных оборотов, наиболее древней функцией которых было выражение второго действия; эти конструкции постепенно заменялись сложными предложениями, возникшими из сочетаний смежных, последовательно расположенных предложений. Я. Бауэр в дискуссионном выступлении добавил, что предложения с причастными оборотами и сложные предложения являются и двумя разными способами выражения взаимосвязанных действий; сложное предложение нередко замещает предложения с причастными и деепричастными оборотами, но не возникает из них. Древние высказывания состояли из ряда более или менее расчлененных мелких единиц, которые постепенно превращались или в самостоятельные предложения, или в члены предложения, или же в причастные и другие конструкции, обладающие полупредикативностью; при дальнейшем развитии происходило более тесное объединение предложений в сложные предложения.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос о связи развития сложного предложения с синтаксического развития вообще с развитием мышления. К. Свобода (Прага) привел несколько примеров, показывающих, какие явления в развитии чешского сложного предложения XVIII в. можно было бы объяснить в связи с развитием мышления. Г. Егер (Лейпциг) считает несомненным, что сложные отношения различались задолго до того, как появились сложные предложения; следовательно, возникновение и специализацию типов сложного предложения нельзя толковать как отражение развития мышления —оно находится в связи с расширением коммуникаций, не соотнесенных непосредственно с ситуацией и требующих поэтому более эксплицитного выражения отношений (что происходило главным образом после возникновения письменности). Я. Бауэр показал на примерах из развития чешского сложного предложения, что с развитием мышления можно связывать весь процесс развития, но не отдельные явления — возникновение того или другого союза, сужение его значения и т. п., которые нельзя считать непосредственным свидетельством о различении и неразличении соответствующих отношений. Проф. В. Скаличка (Прага) обратил внимание на то, что не все явления, связанные с развитием языка, укладываются в ряд причинной последовательности; надо иметь в виду также определяющую роль системы языка при его развитии и, с другой стороны, роль случайности. Трудности при объяснении развития языка на основе развития мышления вытекают из того, что развитие мышления доступно нашему познанию только на основе языка. Доц. П. Тросту (Прага) объяснение развития синтаксического строя на основании развития мышления кажется мало убедительным: сложные мысли могут существовать и без выражения в сложных предложениях (ср. период гуманизма). Вытеснение причастных оборотов придаточными предложениями наблюдается в современном литовском языке: причастные обороты носят характер «языка провинции», а придаточные предложения — «городского языка». В многих же развитых литературных языках происходит обратное развитие: номинальные конструкции вытесняют в процессе «синтаксической конденсации» придаточные предложения. Фр. Травничек, возражая против отождествления языка и мышления, подчеркивал вместе с тем неразрывную диалектическую связь того и другого: язык — средство мышления, вследствие чего изменения в языке отражают изменения в мышлении. К. Горалек считает наиболее вероятным, что в развитии языка имеет место целесообразное приспособление к коммуникативным и другим потребностям общества, хотя отдельные явления и нельзя толковать как усовершенствование языка. Проф. С. Урбанчик (Краков) остановился на том факте, что синтаксический строй языка живо реагирует на общественные задачи языка; на развитии сложного предложения сказываются также стилистические факторы и влияние чужих языков; в XIX—XX вв. возрастает роль разговорного языка. Результаты оживленной дискуссии по всем трем темам, касающимся сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков, подытожил Б. Гавранек.

Перспективам дальнейшей работы над сравнительно-историческим изучением синтаксиса посвятил свое выступление З. Клеменсевич. По его мнению, необходимо определить понятие синтаксического типа как основной коммуникативно-синтаксической единицы, обозначающей определенное синтаксическо-семантическое отношение членов и обладающей специфической грамматической формой выражения. При координации дальнейшего исследования большую помощь оказало бы составление списка основных синтаксических единиц. Очень полезным было бы создание межславянского органа для координации работы и основание журнала, посвященного проблемам славянского синтаксиса.

5. Изучение синтаксиса народных говоров также как и разговорного языка имеет большое значение для исторического и теоретического синтаксиса. Доц. К. Гаузенблас (Прага) говорил о необходимости изучения синтаксиса разговорного языка и отметил основные проблемы и задачи его разработки. В синтаксическом строе разговорного языка находят свое отражение следующие факторы: разговорность, т. е. устный характер высказываний, их неподготовленность, конверсационный и неофициальный характер, тесная связанность с ситуацией и прямой контакт со слушателем. Из этого вытекают основные свойства синтаксиса разговорных высказываний: свободный выбор языковых средств, имплицитность выражения, неполнота, с одной стороны, и

избыточность — с другой, эмоциональность.

Выступивший в дискуссии М. Гренпль (Брно) видит один из важнейших факторов, отражающихся в синтаксическом строе разговорного языка, в наличии адресата высказывания и его активном участии в разговоре. Доц. Г. Сафаревич (Краков) и П. Адамец (Прага) остановились на сравнительном изучении разговорного языка. Ф. Микo (Кошице) отметил широкое использование частиц в разговорном языке.

Я. Хлоупек (Брно) прочитал доклад о специфике синтаксиса народных говоров. Диалект — стабилизированный, географически ограниченный вариант общенародного языка — выступает только в функции разговорной речи; этим обусловлено много черт диалектного синтаксиса. Но он имеет, кроме того, и свои специфические черты, немногочисленные, но иногда весьма важные для объяснения развития общенародного языка. Важной характерной чертой диалектного синтаксиса является территориальная дифференциация; она менее глубока, чем дифференциация фонетическая и морфологическая, однако ее надо учитывать — нельзя считать правильным описание синтаксиса нескольких говоров без учета географических различий.

Выступления по докладу Я. Хлоупка сосредоточились отчасти на проблеме специфики диалектного синтаксиса и его отношения к синтаксису литературного языка [Я. Моравец (Прага), доц. И. Скулина и доц. А. Грегор (Брно), проф. И. Штольц (Братислава)], отчасти на более подробном рассмотрении некоторых его черт: на роли присоединительных связей [А. Вашек (Брно)] и эмоциональности [В. Михалкова (Брно)], на проблеме выделения архаизмов [Я. Балгар (Брно)].

Особую группу образовали выступления, касающиеся географической дифференциации синтаксиса народных говоров. В докладе о типах синтаксических различий русских говоров, представленном И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко (Москва), была дана характеристика этих различий и их классификация. О синтаксических различиях чешских и словацких говоров, установленных при помощи анкеты, информировали С. Утешеный (Прага) и А. Габовштяк (Братислава). Об опыте с исследованием польских говоров на основании вопросника, составленного под руководством Г. Конечной, сообщила Н. Перчиньска (Варшава).

6. Эти выступления относились одновременно и к последней теме совещания — к дискуссии о синтаксических явлениях в славянском языковом атласе. Проф. Я. Белич (Прага) в своем вступительном слове показал, что несмотря на все затруднения с собиранием и обработкой синтаксического материала включение синтаксиса в подготовляемый славянский языковой атлас является целесообразным и вполне осуществимым. Я. Бауэр изложил принципы подбора синтаксических явлений и обработки вопросов, которые должны обеспечить сходные ответы на всей славянской территории. Я. Хлоупек говорил о методах собирания синтаксических сведений на местах [6].

Все участники дискуссии признали необходимость и полезность сравнительного изучения синтаксиса славянских диалектов. Были высказаны и некоторые сомнения. Например, К. Горалек (Прага) поставил вопрос, можно ли обеспечить тождественные ответы на всей славянской территории, чтобы отобразить исследуемые явления на картах, и следует ли подчинять выбор явлений возможности их картографирования; но не было никаких сомнений в том, что собранный материал можно будет многосторонне использовать. Этот вопрос затронула Е. В. Немченко, опираясь на опыт работы над атласами русских говоров. И. Юдыцка (Варшава) говорила о том, можно ли произвести отбор явлений и подготовить вопросник без предшествующего исследования диалектов отдельных славянских языков. В своем ответе на этот вопрос Я. Бауэр обратил внимание на то, что при подборе явлений можно опереться на сравнительно-исторический анализ синтаксиса славянских языков; сотрудничество славянских диалектологов и синтаксистов сделает осуществление поставленной задачи вполне возможным. Б. Гавранек обратил внимание на необходимость включения в вопросник проблем, касающихся строя и типов предложения.

Синтаксическое совещание достигло, по нашему мнению, своей цели: оно сделало возможным широкий обмен мнениями, способствующий выяснению многих спорных проблем, наметило путь дальнейшего развития сравнительно-исторического синтаксиса славянских языков и диалектов. В результате совещания обнаружилась настоятельная необходимость углубления международного сотрудничества при исследовании славянского синтаксиса. Участники совещания единодушно решили признать целесообразными следующие мероприятия для обеспечения международного сотрудничества славянских синтаксистов: 1) учредить при Международном комитете славистов комиссию по изучению славянского синтаксиса. Роль комиссии должна состоять в следующем: быть центром информации о проводящейся в отдельных странах работе, намечать направление дальнейших работ, помогать при их координации и сосредоточивать усилия синтаксистов на основных задачах. Совещание считает целесообразным, чтобы для этих целей комиссия регулярно издавала информационный бюллетень, который мог бы содержать также библиографические справки

[6] Ср. также ответы чехословацкой диалектологической комиссии и Я. Бауэра на 9-й вопрос нашей анкеты «Об общеславянском лингвистическом атласе» (стр. 65).

(если последние не будут обеспечиваться какими-либо другими путями); 2) периодически издавать сборники синтаксических трудов с участием ученых из различных стран мира; сборники издавались бы поочередно отдельными славянскими странами, а начало будет положено сборником настоящего совещания. Планированием сборников должна руководить комиссия по изучению славянского синтаксиса при Международном комитете славистов; 3) рекомендовать, чтобы Польско-чехословацкая лингвистическая комиссия при Польской АН и Чехословацкой АН обратила внимание на сравнительное исследование синтаксиса польского, чешского и словацкого языков.

Я. Бауэр (Брно)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 17 по 20 мая 1961 г. в Тбилиси была проведена юбилейная научная сессия профессоров и преподавателей Тбилисского государственного университета, посвященная 40-летию установления Советской власти в Грузии и образования Коммунистической партии Грузии [1].

На секции языковедения по различным проблемам общего и грузинского языкознания было заслушано 16 докладов. В числе этих докладов были: «Учение Ф. де Соссюра об „языке“ и „речи“» (проф. В. Н. Панчвидзе), «О лингвистическом анализе художественных произведений» (доц. М. В. Янковшили), «К вопросу об историческом соотношении субъекта и объекта в эргативной конструкции» (проф. А. С. Чикобава), «Сопоставительная грамматика как научная дисциплина» (доц. Г. Г. Голетиани), «Грузинское *martve* („птенец“) и его западный вариант» (проф. К. В. Ломтатидзе), «К вопросу о строении глагольной основы *lesva* („точить“) в картвельских языках» (проф. Г. В. Рогава) и др.

На подсекцию русского языка было представлено восемь докладов по диалектологии, фонетике, лексике, синтаксису русского языка и изучению языка писателей [2]. Заслушаны и обсуждены были из этих докладов следующие пять [3]: Т. Н. Мревлишвили «О некоторых фонетических и морфологических особенностях языка К. Ф. Рылеева». Обилие характерных для поэзии Рылеева названных особенностей, присущих древнерусскому и старославянскому языкам, автор доклада связывает с определенной политической направленностью содержания произведений Рылеева. «Описание исторического прошлого русского народа являлось удобным поводом для проповедования декабристских идей, а средством создания исторического колорита служили также древнерусский и старославянский языки» («Тезисы», стр. 142). В широком же использовании Рылеевым живой разговорной и устной народной речи автор доклада прежде всего видит влияние творчества Пушкина. По фонетике был зачитан доклад доц. Т. А. Белинской «Изменения гласных, обусловленные ударением — безударностью в современном русском литературном языке». Рассматривая редукцию гласных фонем в безударном положении, докладчик характеризует позиционное видоизменение фонемы |о| как явление «существенное и устойчивое». Вместе с тем указывается на необходимость отличать от него многочисленные случаи фонематического изменения |о| в |а|, которое, в нарушение фонематического принципа русского письма, в подавляющем большинстве не отражено в орфографии. Доц. Н. П. Колесников в своем докладе «Отличие паронимии от сходных языковых явлений», дав определение термина «паронимия» как «ошибочного употребления одного слова вместо другого, в какой-то степени сходного с первым в звуковом отношении, но отличающегося от него своим значением», подробно рассматривает особенности этого явления.

Канд. наук В. В. Чедина, выступив с докладом «К вопросу синонимики словосочетаний», сделал попытку классификации синонимических пар словосочетаний с точки зрения их грамматической структуры, особо выделив три основные структурные группы: предложные пары, смешанные пары и беспредложные пары. В докладе доц. Л. Г. Хатиашвили «Присоединительные связи в русском устном народном творчестве» прежде всего отмечается, что в фольклоре имеются лишь союзные присоединительные связи, бессоюзные же не употребляются. Рассматривая многообразные по своей структуре в народной речи присоединительные конструкции, автор указывает на их синтаксические особенности наряду с отсутствием стилистического разнообразия. Вслед за проникновением из фольклора в письменную литературную речь союзных присоединительных конструкций в литературном языке нашей эпохи — по характеристике автора — распространяются как конструкции с подчинительными союзами, так и особенно широко конструкции бессоюзного присоединения.

Ф. К.

[1] Настоящая заметка составлена по материалам, поступившим в редакцию от деканата филологического факультета Тбилисского гос. университета.

[2] См. «Юбилейная научная сессия профессоров и преподавателей... План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1961, стр. XXIX и 141—150.

[3] Опубликованные в «Тезисах» три доклада (по русским говорам в Грузии) доцентов В. А. Жидко, А. А. Хидешели и М. И. Мулкиджанян, участвовавших в это время в VIII диалектологическом совещании Института языкознания АН СССР (Москва), не были зачитаны.

В июне 1961 г. в Советском Союзе находилась сотрудница группы машинного перевода научно-исследовательской Лаборатории электроники Массачузетского технологического института (МТИ) Э. К. Чарни. Она присутствовала на заседании Объединения по машинному переводу при 1-м МГПИИЯ и выступила с рассказом о некоторых работах по машинному переводу и математической лингвистике, ведущихся в МТИ.

Особенностью МТИ является то, что работа над машинным переводом носит там теоретический характер; все внимание уделяется таким сторонам и проблемам МП, которые позволяют смотреть на него как на науку о моделировании устройств человеческого мозга, управляющих языковой деятельностью человека. Примером подобного исследования, приходящего от описания языка для целей МП к определенной гипотезе об устройстве кратковременной памяти человека, может служить работа одного из ведущих сотрудников МТИ В. Ингве «A model and an hypothesis for language structure» («Модель и гипотеза о структуре языка)» [4]. В машинном переводе работники МТИ видят проблему, которая потребует длительного и принципиального исследования языковой структуры (long range problem). В связи с этим в МТИ нет групп, которые занимались бы непосредственно составлением алгоритмов машинного перевода. В основе работы лежат идеи трансформационного подхода к языку, сформулированные Н. Хомским — одним из ведущих исследователей института. В МТИ разрабатываются трансформационные грамматики немецкого и английского языков, ведется работа по составлению словарей, предназначенных для машинного перевода с немецкого языка на английский. Э. Клима, один из учеников Хомского, занимается трансформационным описанием французского языка, имеющим целью точный перевод всех оттенков значения французских глаголов.

С 1961 г. в МТИ, помимо поисковых групп машинного перевода, существует группа, занимающаяся специально вопросами лингвистики. М. Халле и Н. Хомский, сотрудничающие в этой группе, провели блестящее, по словам Э. К. Чарни, исследование в области английского ударения. Расстановка ударений в отрезках разных рангов (морфемах, словах, словосочетаниях, предложениях) описана как действие единого цикла, состоящего из 7 трансформационных правил.

Как отметила Э. К. Чарни, интерес к семантике среди американских лингвистов невелик, что объясняется значительными успехами американской дескриптивной лингвистики, верной направлению, данному ей Л. Блумфилдом. Однако, как считает Э. К. Чарни, принципиальный подход к машинному переводу как формализации отношений между различными языковыми системами требует отказа от понимания языка как некой замкнутой в себе системы. Поэтому естественно, что семантика вошла в круг поисковой работы МТИ над проблемами машинного перевода. Два года назад Э. К. Чарни — ученица известного логика Г. Рейхенбаха — была приглашена для работы над соотнесением различных языковых систем посредством построения абстрактной надъязыковой модели.

Э. К. Чарни считает, что использование уже существующих логических исчислений и построение новых, как она говорит, «физических» моделей (physical models) необходимо для решения проблем машинного перевода и создания трансформационной порождающей грамматики. В своем подходе к семантике Э. К. Чарни исходит из следующих положений. В естественных языках есть значительное количество слов, которые функционируют как чисто структурные единицы (function structurally). Это значит, что они не имеют денотативного значения и употребляются в сочетании с другими подобными единицами для связывания слов с денотативным значением в правильные и осмысленные предложения. Чарни предлагает называть такие единицы структурными константами. По ее мнению, поведение структурных констант не удается удовлетворительно описать при помощи правил трансформационной грамматики, разрабатываемой Хомским и его последователями. В зависимости от различий в структурном контексте (т. е. в характере структурных констант, окружающих в тексте данную структурную константу) меняются трансформационные возможности одной и той же константы. Это значит, что в одних случаях данная константа может быть без искажения смысла высказывания заменена некоторой другой константой, а в других — не может, и что правила замещения могут быть сформулированы в терминах контекста структурных констант. Так, например, английское слово *any* иногда можно заменить словом *all*, так что смысл предложения останется прежним, иногда же такая замена приведет к явному изменению смысла.

Э. К. Чарни полагает, что для того чтобы описать возможные семантически эквивалентные трансформации предложений, содержащих структурные константы, необходимо иметь для них некоторую семантическую интерпретацию. Орудием семантической интерпретации структурных констант могут служить формально-логические системы, с логическими константами которых предлагается соотнести языковые константы. Например, поведение констант *any*, *either*, *every*, *all*, *both* и т. д. может быть описано путем соотнесения их с такими логическими понятиями, как кванторы всеобщности и существования. На основе такой интерпретации, позволяющей воспользоваться теоремами, доказываемыми в логике относительно соответствующих логических констант, можно построить

[4] См. «Proceedings of the American philosophical society», CIV, 5 (см. также рецензию И. И. Ревзина в сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1961, 5).

правила замещения структурных констант в зависимости от контекста. Для того чтобы убедиться, правильно ли данная структурная константа соотнесена с логической константой (т. е. ведет ли она себя в соответствии с определением логической константы), достаточно посмотреть, получаются ли при заменах предложения, семантически эквивалентные друг другу.

Э. К. Чарни разбирает несколько примеров. В предложении *Either road leads to London* «Любая из этих двух дорог ведет в Лондон» слово *either* является структурной константой, соотносимой с логическим понятием свободной переменной. Логический закон обобщения гласит, что если суждение, содержащее свободную переменную, высказывается как истинное, то эту переменную можно связать квантором всеобщности, относящимся ко всему суждению. Это равносильно замене данной фразы на следующую: *Both roads lead to London* «Обе эти дороги ведут в Лондон». Однако это не значит, что *either* вообще можно заменять на *both*. Э. К. Чарни разбирает другой пример, где *either* стоит в условном придаточном предложении: *If either boy enters the library, Mary starts to study* «Если любой из этих двух мальчиков входит в библиотеку, Мэри начинает заниматься». Ясно, что замена *either* на *both* привела бы к изменению смысла фразы. Чем же объясняется перемена в значении *either*?

Как показывает Чарни, логическая соотнесенность *either* как структурной константы осталась неизменной. *Either* и здесь — свободная переменная, и в логической записи она может быть связана квантором всеобщности, относящимся ко всему суждению. Однако структура этого суждения уже иная, чем в первом примере. В импликации (т. е. условном суждении) утверждается истинность всей условной связи, а не посылки, содержащей свободную переменную и выраженной в языке условным придаточным предложением. Поэтому правила эквивалентных преобразований здесь другие: квантор всеобщности, относящийся ко всему суждению (т. е. к импликации как целому), может заменяться квантором существования, относящимся к посылке (условному придаточному предложению). Особенность языковых структурных констант состоит в том, что они относятся лишь к небольшим фразам, в которые входят, и не могут распространяться на сложные предложения. Поэтому, прежде чем давать языковое выражение логическим константам, нужно преобразовать запись так, чтобы константы относились в ней не к целым импликациям, а к их частям. Как видим, при таком преобразовании квантор всеобщности заменяется квантором существования. Действительно, из двух следующих предложений первое изменяет, а второе сохраняет смысл исходной фразы: *If both boys enter the library, Mary starts to study* «Если оба мальчика входят в библиотеку, Мэри начинает заниматься»; *If at least one of the two boys enters the library, Mary starts to study* «Если хотя бы один из двух мальчиков входит в библиотеку, Мэри начинает заниматься».

Таким образом, структурные константы языка соотносимы с логическими константами, т. е. их поведение соответствует законам, известным относительно последних. При этом замена одних структурных констант другими при сохранении смысла высказывания происходит не на уровне слов, а на уровне структурных контекстов: поведение данной структурной константы (*either*) зависит от других структурных констант (импликация, размер отрезка, к которому относятся логическая или структурная константы).

Как отмечалось выше, Э. К. Чарни не считает необходимым ограничиваться применением только логических моделей для выявления и описания структурных констант языка. Для единообразного описания временных систем английского и других языков она стремится построить «физическую» модель времени, продолжая попытку, сделанную в этом направлении Г. Рейхенбахом [5]. В отличие от Рейхенбаха, который представлял события во времени в виде точек на прямой, Э. К. Чарни предлагает видеть в них направленные отрезки. Кроме естественно напрашивающегося отношения предшествования, она предлагает ввести отношение полного или частичного совпадения (overlapping) во времени. Судя по ее высказываниям, она видит существенную связь между структурными константами типа *before, after, later, ago*, а также различными грамматическими временами, с одной стороны, и структурными константами типа разбиравшихся выше — с другой. Однако работа над временной моделью только в общих чертах задумана Чарни и о ее конкретных достоинствах говорить пока что трудно.

Вообще все то, что рассказывала Э. К. Чарни, представляет в настоящее время лишь первые попытки создания семантических моделей. Чарни занимается пока небольшим количеством слов, рассматривает лишь некоторые структурные контексты. Она сама говорит, что от первых идей и построений очень далеко до автоматического анализа семантической структуры текстов. Существенно, однако, что работа над точным описанием семантики начата в МТИ и признается необходимой для принципиального решения проблемы моделирования перевода.

В общем представляется правильным подход Э. К. Чарни к семантике, заключающийся: 1) в построении абстрактных моделей для описания различных областей смысла, таких, как время, логические отношения и т. д.; 2) в стремлении рассматривать значения, казалось бы, различных типов (время и кванторы, кванторы и условность) в связи друг с другом, с тем чтобы иметь некую общую семантическую интерпретацию текста, получаемую на основе анализа контекстов структурных констант.

А. К. Жолковский (Москва).

[5] См. H. Reichenbach, Elements of symbolic logic, New York, 1947.

26—28 июня 1961 г. состоялось седьмое пленарное заседание Словарной комиссии Отделения литературы и языка АН СССР, посвященное проблемам сравнительно-исторической лексикологии.

Общим вопросам о принципах и методах сравнительно-исторической лексикологии были посвящены доклады Б. В. Горнунга «Принципы и задачи сравнительно-исторической лексикологии и проблема „лексической системы языка“» и О. Н. Трубачева «К вопросу о реконструкции различных лексических систем». Второй цикл докладов был связан с конкретным применением сравнительно-исторической лексикологии для реконструкции доистории диалектных групп периода распадения индоевропейской языковой общности, территориального размещения этих групп и реконструкции исчезнувших звеньев между ними. Сюда относятся доклады Н. С. Чемодановой «Сравнительно-историческая лексикология и индоевропейская диалектология», Г. С. Кнабе «Словарные заимствования и этногенез (К вопросу о „балтийских заимствованиях“ в восточных финно-угорских языках)» [6] и Ф. П. Филина «О значении историко-лексикологических исследований для освещения проблемы прародины славян». Доклады Г. А. Климова «Из опыта работы над сравнительно-историческим словарем картвельских языков» [7] и А. К. Шагирова «О задачах и методах сравнительно-исторического изучения лексики абхазо-адыгских языков» были связаны с теорией и методикой построения сравнительно-исторических словарей близкородственных языков.

Темой последнего цикла докладов был вопрос: насколько исследование топонимики может помочь реконструкции утраченных частей словарного состава языков, т. е. слов, не засвидетельствованных памятниками письменности и не сохранившихся в живых говорах? Этому вопросу были посвящены доклады В. А. Никонова «Топонимика и сравнительно-историческая лексикология» и Н. В. Подольской «Новгородская топонимика славянского происхождения как источник для реконструкции некоторых лексических групп и форм словообразования языка новгородских славян». Обсуждение этих двух докладов было наиболее оживленным.

Н. Н. Уханова (Москва)

[6] Подробнее см. ВЯ, 1962, 1.

[7] См. ВЯ, 1962, 1.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. 1961, 99—102.

А. Аннануров. Дилиң сөзлүк составы хакында.— Ашгабат, 1961. 127 стр. [на туркм. яз.].

Р. А. Будагов. К теории отношений между словом, словосочетанием и предложением в латинском языке.— Кишинев, 1961. Стр. 5—36. [Отд. отт. из «Исследования в области латинского и романского языкознания».]

Иберийско-кавказское языкознание. XII.— Тбилиси, 1960. 448 стр. [Ин-т языкознания АН ГрузССР] [на груз. яз.].

М. В. Карпенко. Присоединительные конструкции в современном русском языке (лекции по спецкурсу для студентов-филологов университета).— Черновцы, 1961. 53 стр.

Коми-русский словарь.— М., 1961. 923 стр. [Под ред. В. И. Лыткина].

Арн. Чикобава. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. II. Теории сущности эргативной конструкции. — Тбилиси, 1961. 170 стр. [Ин-т языкознания АН ГрузССР] [на груз. яз.].

Årsbok 1957/1958, utgiven av seminarierna för slaviska språk, jämförande språkforsking och finsk — ugriska språk vid Lunds universitet samt östasiatiska språk vid Göteborgs universitet. — Lund, 1961. 155 стр.

Cercetări de lingvistică. V, 1—2, 1960. 211 стр. [Academia Republicii Populare Romîne. Filiala Cluj. Institutul de lingvistică.]

Československá rusistika. VI, 3. — [Praha], 1961. Стр. 129—192.

Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. V. — Нови Сад, 1960. 496 стр.

Język polski. XLI.— 1961. 1—2. Стр. 1—160.

Nyelv-és irodalomtudományi közlemények. (Akadémiai kiado). IV, 1—2.— 1960. 193 стр. [A Román Népköztársaság Akadémiája, Kolozsvári fiókjának, Nyelvtudomanyi intézete.]

Probleme de lingvistică generală.— Bucureşti, II — 1960. 176 стр.; III — 1961. 149 стр.

Revue de linguistique. V. 2 — Kraków, 1960. Стр. 187—366; VI. 1—1961. Стр. 1—139.

Slavia orientalis. X, 2.— Warszawa, 1961. Стр. 145—286.

Słownik języka polskiego. 3.— Warszawa, 1961. 1364 стр.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. 10 (1961). 4. Стр. 487—681. (Als Manuskript gedruckt).

Zpravodaj. Mistopisné komise ČSAV. II, 3. 1961.— Praha. Стр. 136—197. [ротапринт].

И. Ботош. Текст Повести о разорении Рязани Батыем по Волоколамскому списку XVI в. (No. 523). [Отд. отт. из «Studia slavica». VI, 1—2. 1960].

H. Bräuer. Slavische Sprachwissenschaft. I, 1191/1191a. — Berlin, 1961. 221 стр.

O. Duchâček. Au problème de la migration des mots d'un champ conceptuel à l'autre. [Отд. отт. из «Lingua». X, 1. 1961. Стр. 57—78.]

Z. Klemensiewicz. Historia języka polskiego. I.— Warszawa, 1961. 264 стр.

H. Kronasser. Vorgeschichte und Indogermanistik.— б. м., 1961. Стр. 117—140. [Отд. отт. из кн. «Theorie und Praxis

der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen — Symposion 1959».]

W. Merlingen. Sprachwissenschaft und Urgeschichte.— б. м., 1961. Стр. 141—164. [Отд. отт. из кн. «Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen — Symposion 1959».]

R. Mikuš. Prostorni podatak događaja: teorija i govorni izraz.— Zadar, 1960, Стр. 7—29. [Отд. отт. из «Radovi» (Zveučilišta u Zagrebu).]

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1961 г.

Передовая

Языкознание и советское общество. . . . . № 5.

Статьи

Боровков А. К.— Изучение тюркских языков в СССР. . . . № 5.
Виноградов В. В.— Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. . . . . № 4.
Елизаренкова Т. Я.— Дифференциальные элементы согласных фонем хинди . . . . . № 5.
Жирмунский В. М.— О границах слова. . . . . № 3.
Журавлев В. К.— Формирование группового сингармонизма в праславянском языке. . . . . № 4.
Леман У. Ф.— Выводы о протоиндоевропейской глагольной системе, основанные на внутреннем анализе санскрита . . . . . № 2.
Мареш В. Ф.— Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве. . . . . № 2.
Ольдерогге Д. А.— Современное состояние и проблемы изучения языков Африки . . . . . № 4.
Орлова В. Г.— К вопросу об интерпретации изоглосс. . . . . № 1.
Панов М. В.— О разграничительных сигналах в языке. . . . . № 1.
Поспелов И. С.— О некоторых закономерностях в развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX в. . . . . № 6.
Сорокин Ю. С.— Об общих закономерностях развития словарного состава русского литературного языка XIX в. . . . . № 3.
Ташицкий В.— Место ономастики среди других гуманитарных наук. . . . . № 2.

Дискуссии и обсуждения

Адмони В. Г.— О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю. . . . . № 2.
Акуленко В. В.— Существует ли интернациональная лексика? . . № 3.
Белич Я., Гавранек Б., Едличка А., Травничек Ф.— К вопросу об «обиходно-разговорном» чешском языке и его отношении к литературному чешскому языку . . . . . № 1.
Бенвенист Э.— Проблемы армянского консонантизма. . . . . № 3.
Заброцкий Л.— Замечания о развитии армянского консонантизма. . . . . № 5.
Зайончковский А.— К вопросу о структуре корня в тюркских языках. . . . . № 2.
Исаченко А. В.— О грамматическом значении. . . . . № 1.
Климов Г. А.— Опыт сравнительно-исторической реконструкции системы склонения общекартвельского языка-основы. . . . . № 6.
Клычков Г. С.— Об основных приемах лингвистической реконструкции . . . . . № 6.
Лекомцев Ю. К.— Замечания к вопросу о двустороннем языковом знаке . . . . . № 2.
Леман У. Ф.— Об армянской системе смычных и ее соотношении с протоиндоевропейской системой № 4.
Лиз Р. Б.— Что такое трансформация? . . . . . № 3.
Лиз Р. Б.— О переформулировании трансформационных грамматик . . . . . № 6.
Макаев Э. А.— К вопросу об изоморфизме . . . . . № 5.
Макаев Э. А.— Передвижение согласных в армянском языке . . . . № 6.
Мартынов В. В.— К лингвистическому обоснованию гипотезы о висло-одерской прародине славян . . . . . № 3.
Мухин А. М.— Функциональные лингвистические единицы и методы структурного анализа языка № 1.
Николаева Т. М.— Письменная речь и специфика ее изучения № 3.
Об образовании восточнославянских национальных литературных языков . . . . . № 1, 2, 5.
Об общеславянском лингвистическом атласе . . . . . № 2, 3, 4, 5, 6.
Оссовецкий И. А.— О составлении региональных словарей (Некоторые вопросы русской диалектной лексикографии) . . . . . № 4.
Отрембский Ян — По поводу армянского консонантизма . № 3.
Пизани В.— Об армянских отражениях индоевропейских взрывных. . . . . № 4.
Седельников Е. А.— Еще о синтагматической теории. . . . № 1.
Серебренников Б. А.— К проблеме классификации тюркских языков . . . . . № 4.

Толстой Н. И.— К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян . . . . . № 1.
Успенский Б. А.— Типологическая классификация языков как основа языковых соответствий (Структура языка-эталона при типологической классификации языков) № 6.
Фейди Ф.— Заметки по армянскому консонантизму . . . . . № 5.
Фогт Г.— Заметки по армянскому консонантизму . . . . . № 3.
Шахрай О. Б.— К проблеме классификации заимствованной лексики . . . . . № 2.

Материалы и сообщения

Барсова О. М.— О трех степенях слитности именного предложения. . . . . № 3.
Богдан Д. П.— Славянские надписи в Валахии, Молдове, Трансильвании и Добрудже . . . . . № 6.
Быкова Е. М.— Предложения с инфинитно-глагольными оборотами в бенгальском языке . . . . . № 3.
Вейхман Г. А.— К вопросу о синтаксических единствах. . . № 2.
Венедиктов Г. К.— О морфологических средствах имперфективации в русском языке . . . . . № 2.
Григорьев В. П.— О взаимодействии словосложения и аффиксации . . . . . № 5.
Грюнберг А. Л.— О месте татского среди иранских языков № 1.
Добромыслова А. Н.— К интерпретации одного явления падежного синкретизма в древнем новгородском говоре. . . . . № 6.
Иллич-Свитыч В. М.— Один из источников начального *x* в праславянском (Поправка к «закону Зибса»). . . . . № 4.
Иофик Л. Л.— Об основах английской пунктуации в связи с проблемой сложносочиненного предложения . . . . . № 4.
Колшанский Г. В.— К вопросу о содержании языковой категории модальности. . . . . № 1.
Крейнович Е. А.— Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке . . . . . № 2.
Лебедева Г. Г.— К проблеме относительного будущего в итальянском языке . . . . . № 3.
Маковский М. М.— Об определении автохтонности синтаксических моделей при анализе «отклонений от оригинала». . . . . № 1.
Москальская О. И.— Устойчивые словосочетания с грамматической направленностью. . . . . № 5.
Панфилов Е. Д.— О синтаксической паронимии (На материале испанского языка). . . . . № 6.
Попов П. С.— О логическом ударении . . . . . № 3.
Попова Т. В.— К вопросу о типологической характеристике болгарских диалектов . . . . . № 5.
Уханов Г. П.— О грамматической природе «придаточного предложения». . . . . № 2.
Черкасский М. А.— Опыт формального описания гармонии гласных в тюркских языках. . . . № 5.

Прикладное и математическое языкознание

Кауфман С. И.— Об именном характере технического стиля (На материале американской литературы). . . . . № 5.
Падучева Е. В. и Шумилина А. Л.— Описание синтагм русского языка (В связи с построением алгоритма машинного перевода). . . . . № 4.
Пап Ф.— Количественный анализ словарной структуры некоторых русских текстов. . . . . № 6.

Из истории языкознания

Из неопубликованного наследства С. О. Карцевского. . . . . № 2.
Карцевский С. О.— Бессоюзие и подчинение в русском языке . . . . . № 2.
Леонтьев А. А.— И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа русской лингвистики . . . № 4.
Макеева В. Н.—М. В. Ломоносов — составитель, редактор и рецензент лексикографических работ № 5.
Письма А. А. Шахматова к В. Ягичу . . . . . № 1.
Шприницин Н. Г.— Из материалов по языку ботокудов . . . № 6.

Из лингвистического наследства

Конрад Н. И.— О тангутском языке и тангутской письменности № 3.

Консультации

Ахманова О. С.— К вопросу об основных понятиях метаязыка лингвистики . . . . . № 5.
Фрумкина Р. М.— К вопросу о так называемом «законе Ципфа» № 2.

Критика и библиография

Обзоры

Адрианова-Перетц В. П.— Картотека Н. К. Никольского . . № 1.
Гельгардт Р. Р.— О стилистическом анализе языка писателей . . . . . № 6.
Крупаткин Я. Б.— Новое о происхождении фризского языка № 4.
Николаева Т. М. — О русском языке в зарубежных работах по машинному переводу. . . . . № 5.

Рецензии

Арутюнова Н. Д.— *W. E. Bull.* Time, tense, and the verb № 6

Белозерцев Г. И.— *C. H. van Schooneveld.* A semantic analysis of the Old Russian finite preterite system. . . . . № 4.

Бернштейн С. Б.— *M. Romportl.* Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku. Fonetická studie . . . . . № 1.

Благова Г. Ф.— Sovietico-Turcica. Beiträge zur Bibliographie der türkischen Sprachwissenschaft in russischer Sprache in der Sowjetunion 1917—1957 . . . . . № 5.

Гак В. Г.— *J.-P. Vinay, J. Darbelnet.* Stylistique comparée du français et de l'anglais . . . . . № 3.

Городникова М. Д., Розен Е. В.— *E. Riesel.* Stilistik der deutschen Sprache. . . . . № 4.

Григорьев В. И.— *M. Halle.* The sound pattern of Russian. . . . . № 1.

Дебец Н. П.— *M. Kahla.* Bibliografinen luettelo neuvostoliitossa vuosina 1918—1959 julkaistusta suomalais-ugrilaisesta kielitieteellisestä kirjallisuudesta. . . . . № 5.

Иллич-Свитыч В. М.— Сб. «Evidence for laryngeals» . . . № 6.

Климов Г. А.—*A. H. Kuipers.* Phoneme and morpheme in Kabardian (Eastern Adyghe). . . . . № 3.

Ковтунова И. Н.— *L. Doležel.* O stylu moderní české prózy № 2.

Лурье С. Я.— *A. Thumb.* Handbuch der griechischen Dialekte . . № 2.

Никонов В. А.— *V. Šmilauer.* Osídlení Čech ve světle místních jmen. . . . . № 2.

Подольская Н. В.— Новые библиографические справочники по ономастике . . . . . № 4.

Реформатский А. А.— «Словарь лингвистики пражской школы». . . . . № 3.

Тарасова Г. А.— *A. G. Oettinger.* Automatic language translation. . . . . № 3.

Тенишев Э. Р.— Новые труды по уйгурике . . . . . № 1.

Трубачев О. Н.— Об одном опыте популяризации этимологии . № 5.

Фоминцев В. И.— Библиографический справочник языковых словарей. . . . . № 1.

Шмелев Д. Н.— *Н. Ю. Шведова.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. . . . . № 1.

Шмелев Д. Н.— *Б. В. Томашевский.* Стих и язык; *Б. В. Томашевский.* Стилистика и стихосложение . . . . . № 2.

Письма в редакцию

Ахметьянов Р. Г.— К вопросу о природе звуковых переходов в тюркских языках (о переходе *r*~*z*) № 6.

Ковский В. Е.— Письмо в редакцию. . . . . № 1.

Скребнев Ю. М.— К вопросу об «ортологии» . . . . . № 1.

Чаадаевская Е. И.— О «вставочном» словообразовании № 4.

Научная жизнь

Баррет П. М.— Проект нового английского алфавита. . . . . № 2.

Бауэр Я. Конференция по славянскому синтаксису в Брно . . . № 6.

Вопросы африканистики на XXV Международном конгрессе востоковедов. . . . . № 3.

Вопросы иранистики, алтаистики, кавказоведения и языков Юго-Восточной Азии на XXV Международном конгрессе востоковедов. . . . № 1

Вопросы китаеведения и корееведения на XXV Международном конгрессе востоковедов . . . . . № 2.

Гринавецкене Э. И., Сенкус Ю. Ю.— Собирание и исследование топонимики в Литовской ССР . . . . . № 6.

Демирчизаде А. М., Тагизаде З. Х.— Азербайджанское советское языкознание за 40 лет № 5

Конференция по структуркой и математической лингвистике . . . № 1.

Над чем работают ученые. . .№ 3, 4

Проблематика V Международного съезда славистов. . . . . № 1.

Совещание Международного комитета славистов в Софии. . . . . № 1.

Фаска Г.— Исследовательская работа по серболужицкому языку в Институте серболужицкой этнографии (ГДР). . . . . № 3.

Хроникальные заметки. . . . № 1—6.

Ширалиев М. Ш.— Западная группа диалектов и говоров азербайджанского языка . . . . . № 2.

Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию. . . . . № 1—6.

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

Т-12639. Подписано к печати 24. XI. 1961 г. Тираж 5465 экз. Зак. 2354.
Формат бумаги 70×108 1/16. Печ. л. 9. Бум. л. 4 1/2. Уч.-изд. листов 15,6

2-я типография Издательства АН СССР. -Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

SOMMAIRE

Articles: N. S. Pospelov (Moscou). Sur quelques lois du développement des types-structures hypotaxiques dans la langue russe littéraire du XIX siècle; **Discussions:** G. A. Klimov (Moscou). Essai de reconstruction historique et comparée du système de déclinaison dans la langue-mère kartvelienne; E. A. Makajev (Moscou) La mutation consonantique en arménien; G. S. Kyčkov (Moscou). Sur les méthodes principales de reconstruction linguistique; R. B. Lees (Urbana, EUA). Sur la reformulation des grammaires transformationnelles; B. A. Uspenskij (Moscou). Classification typologique des langues-comme base des correspondences linguistiques; Sur l'atlas linguistique slave; **Matériaux et notices:** D. P. Bogdan (Bucarest). Inscriptions slaves en Valachia, Moldova, Transilvania et Dobroudja; A. N. Dobromyslova (Moscou). Sur l'interprétation d'un phénomène de syncrétisme des cas dans le vieux parler de Novgorod; E. D. Panfilov (Léningrade); Sur la paronymie syntaxique (fondé sur le matériel espagnol); **Linguistique appliquée et mathématique:** F. Pap (Debrecen, Hongrie). L'analyse quantitative de vocabulaire de quelques textes russes; **De l'histoire de la linguistique:** N. G. Šprinzin (Léningrade). Quelques matériaux sur la langue des botokoudes; **Critique et bibliograpie; Lettres à la rédaction:** R. G. Akhmetianov (Ufa). Sur la nature des changements phonétiques en turque (sur le changement *r*~*z*); **Vie scientifique:** E. I. Grinaveckene, Y. Y. Senkus (Vilnius). La collection et l'étude des toponymes dans la République Soviétique de Lithuanie; J. Bauer (Brno). La conférence consacrée à la syntaxe slave à Brno.

CONTENTS

Articles: N. S. Pospelov (Moscow). On some laws in the development of structural types of complex sentences in the Russian literary language of the XIX century; **Discussions:** G. A. Klimov (Moscow). Contribution to the comparative and historical reconstruction of the declension-system in the Kartvelian parent-language; E. A. Makayev (Moscow). The consonant-shift in Armenian; G. S. Kyčkov. (Moscow). On the principal methods of linguistic reconstruction; R. B. Lees (Urbana, USA). On reformulating transformation-grammars; B. A. Uspenskii (Moscow). Typological classification of languages as a basis of linguistic correspondences; On the Slavonic linguistic atlas; **Materials and notes:** D. P. Bogdan (Bucharest). Slavonic inscriptions in Valachia Moldova, Transilvania and Dobrudja; A. N. Dobromyslova (Moscow). On the interpretation of one phenomenon of case-syncretism in the old Novgorod dialect E. D. Panfilov (Leningrad). On syntactic paronymy (with illustrations from Spanish) **Applied and mathematical linguistics:** F. Pap (Debrecen, Hungary). Quantitative analysis of vocabulary-structure in some Russian texts; **From the history of linguistics** N. G. Šprinzin (Leningrad). From the materials on the language of the Botokuds **Critics and bibliography; Letters to the editorial-office:** R. G. Akhmetianov (Ufa). On the nature of sound-changes in the Turk languages (concerning the sound change *r*~*z*); **Scientific life:** E. I. Grinaveckene, Y. Y. Senkus (Vilnius) Collection and study of toponyms in the Lithuanian SSR; J. Bauer (Brno). A conference on Slavonic syntax in Brno.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов, Н. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К—31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
X

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1961